

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

О-5А

## СЫН ПОЛКА

182046

Повесть

Это многих славных путь.  
Некрасов:

Посвящается  
Жене и Павлику Катаевым.

1

Лунная глухая осенняя ночь. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных выходов поднимался густой туман.

Луна повисла над головой. Она светила слабо. Однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял под деревьями косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом, являлись космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный дом; то, вдруг, в отдалении появлялась белая колоннада берез; то на мгновение, на фоне белого лунного неба, расплывалась на ветках, как простокваща, тонко рисовалась голубая ветка осины, унизанная радужным сиянием.

И вездю, где только лес редел, лежала на земле больше холсты лунного света.

В общем это было красиво той дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Иван-Царевича в маленькой ланочке на беренях и с пером Жар-Птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избившего на курьих ножках — да мало ли еще чего.

Но меньше всего в этот глухой, мертвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отмерить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа оказалась трудной и очень опасной.

Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху замаскированными желтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только перебраться словечком, но нельзя было даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Щорох неосторожно задетых листьев наносил все вокруг сухим, громким шумом, а звук треснувшего под сапогом сучка, раздавался как пистолетный выстрел.

Луна тоже сильно мешала. Птии приходилось очень медленно, гуськом, зметрах в трипяти шагов друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Вперед пробирались старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет ру-

ку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложилось; махнет рукой вперед — все двигались вперед; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днем, после боя, немцы отступили. И теперь здесь — в этом лесу — повидимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики, — хотя их было только трое, — не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать было нельзя никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя.

Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако любой бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осени и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных словыми ветками, стояли, как поленицы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они, или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Иногда дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны, иногда развешенные на глубоккой извилистой ход сообщения или на основательный командирский блиндаж накатов в шесть с дверью обращенной на запад. И эта дверь, обращенная на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он, или в нем кто-нибудь есть — было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный прогибогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озаренной лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов.

Один раз взлетела осветительная ракета она долго висела над верхушками деревьев, и ее плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная, разветвленная, и было похоже, что лес вдруг встал и ходул. И пока ракета не погасла, три солдата недвижно стояли среди кустов, сами не дыша на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, желто-зеленых плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы.

Так разведчики медленно продвигались к своему расположению.

Вдруг старший остановился и нажал руку. В этот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старший долго стоял, откинув с головы каску и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старший был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом, товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлек внимание сержанта Егорова — такова была фамилия старшего, — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характера и значения.

«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шолох? Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повзгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что он выходит откуда-то из-под земли.

Послушав еще минуту-другую, Егоров, поворачиваясь, потянул знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приближались

нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел уходить.

Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое желтое лицо, уныло освещенное луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

В некоторое время они втроем стояли и слушали, положив пальцы на звуковые рычажки автоматов. Звук продолжался и был так же непонятен. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем трем показалось, что слышится выходящее из земли пенье. Они перестали слушать. Но тотчас же звуки сделались прежние.

Тогда Егоров сделал решительный знак ложиться и лег сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот книжку и пополз бесшумно подтягиваясь на локтях попластунски.

Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника, а еще через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов толкая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, темные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей ямке и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмятанными тухлою воспаленными губами вылетали злые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и снычками. На переносице виднелся сгусток запекшейся крови.

Мальчик спал и видел страшные сны. По его измученному лицу судорожно пробежали отражения комаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие, глубокие черты безысходного горя прорывались вокруг его впалого рта, брови поднимались доныком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впились в ладони и глухие, хриплые звуки вылетали из напряженного горла.

А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и шо-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Соп мальчика был так тяжел, так глубок, душа его, блуждавшая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего — ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подросло. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку и закрыть ладонью рот мальчика.

— Тише! Свой, — шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что племы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские и лица, наклонившиеся к нему, тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши..

И потерял сознание.

## 2

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой расчатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между стволом и крепкими сучьями. С трех сторон площадка была открыта. С четвертой стороны — с западной — на нее было положено несколько толстых шпал, защищавших от пули. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К ее окулярам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсею-

да надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитала Енакиева, на площадке находились два телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны. Находилась здесь также начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырех человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой.

Карты эти, меченные-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зеленый шлем и наклонив хмурый, почти каричневый, широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев перелистывал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку в то же время быстро, искоса поглядывая в лицо Енакиева, как бы говоря: «Ну, что ж ты, друг милый, тянешь. Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, — а может быть, даже минуты, — перед боем все казалось ему слишком медленным. Он внутренне кивал.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерется батальон Ахунбаева, там значат, дерется и батарея Енакиева.

Славный путь проделали илечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Были они немцев под Духовщиной; были под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два, даже не три раза столица наша Москва от имени родины озаряла вечерние тучи над Кремлем огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе за одним походным столом боевые друзья. Немало вод выпали они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейше побряжки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характер у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчетлив, как и подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенеся на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился закончить с этим делом и поскорее отлучиться связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности. Они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении еще не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнется очень скоро. А до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить боевую готовность.

Однако, как быстро ни скользила карандашная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наводил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и толубеньких излучек рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как бы хотелось капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался нанести на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твердым движением небольшой сухощавой руки в потертой, коричневой, замшевой перчатке.

— Прошу вас. Одну минутку повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

— Здесь.

— Посмотрите у себя. Квадрат 19—5. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не конаясь, лейтенант Седых подвигал к себе планшетку, лежащую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращенный неприятелем в неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— По доносению разведки.

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывая и завязывая на шее тесемки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не



— **М**ожет быть двух мнений. Смело можно напо-

— Все же одну минуточку невремените, —  
сказал капитан Енакиев, подумав.

Он наклонился и заглядывал за край пло-

щадки вниз.

— Сержант Егоров!

— Здесь, товарищ капитан, — откликнулся

сержант Егоров с лестницы.

— Что это у вас там за подбитый танк на

аэрате 19—5? Вы не сочиняете?

— Никак нет.

— Лично видели?

— Так точно.

— Собственными глазами?

— Так точно, собственными глазами. Туда  
ли — видел и на обратном пути видел. На том  
и месте стоит.

— Так они, что? Выходит — превратили  
его в неподвижную огневую точку?

— Так точно. В неподвижную огневую  
точку.

— Откуда это известно?

— Они вокруг него производят земляные  
работы.

— Закапывают?

— Так точно.

— А может быть, они хотят его вывез-

ти? — Никак нет. Они к нему как раз, когда  
и там были, беспримасы на полуторке при-  
ехали.

— Сами видели?

— Так точно. Собственными глазами. Они  
цикл выгружали. Тогда же мы и засекали.

— Хорошо. Больше ничего.

— Точно! Точно! — радостно восклицал  
возь зубы капитан Ахунбаев и уже беспре-  
пятственно выставлял на карте маленький  
каменный ромбик.

А то вдруг уточняя положение какой-ни-  
будь цели, капитан Енакиев, сделав свой учти-  
тый, но твердый останавливающий жест, ста-  
вился на колени перед стереотрубой и, как  
залось капитану Ахунбаеву, очень долго  
искал по туманному слоистому горизонту, то  
дело справляясь с картой и прикладывая к  
ней целлулоидный круг.

В это время Ахунбаев тотчас был от нетер-  
пения скрестить зубы и не скрипел только  
тому, что слишком хорошо знал своего друга.  
Скрипел он или не скрипел — все равно ниче-  
го не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капита-  
на Енакиева, на его старенькую, но исключи-  
тельно спрятую, ладно пригнанную шинель с  
черными петлицами и золотыми пуговицами,  
на его твердую фуражку с лаковым ремешком  
и черным околышком и прямым квадратным  
козырьком, несколько надвинутым на глаза,

на его фляжку, аккуратно обшитую солдат-  
ским сукном, на электрический фонарик, при-  
цепленный ко второй пуговице шинели, на его  
крешки, но тонкие и во всякую погоду начи-  
щенные до глянца сапоги, чтобы понять всю  
добросовестность, всю точность и всю непре-  
клонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпав-  
ший на рассвете, хрупко лежал на земле и  
долго не таял. Он медленно испарялся в сыром  
синем воздухе.

Деревья на опушке не шевелились. Но это  
впечатление было обманчиво. Верхушка сос-  
ны раскачивалась по кругу, а вместе с ней  
раскачивалась и площадка, словно это был  
плот, который плавно несет течением вокруг  
широкого, медленного водоворота.

Воздух все время вздрагивал от пушечных  
выстрелов и разрывов. Это постоянное и не-  
равномерное состояние воздуха можно было не  
только чувствовать. Его можно было как бы  
видеть. При каждом ударе в лесу встряхива-  
лись деревья и желтые листья начинали сы-  
паться гуще, крутясь и махая.

### 3

Человеку непривычному могло показаться,  
что идет большое сражение и что он находит-  
ся в самом центре этого сражения. На самом  
же деле была обычная артиллерийская пере-  
стрелка, не слишком даже сильная. Какая-ни-  
будь батарея, наша или немецкая, желая при-  
стрелять новую цель, выпустила несколько  
снарядов. Эту батарею сейчас же засекали на-  
блюдатели противника, и тотчас по ней из  
глубины ударил какой-нибудь специальный  
контрбатареинный взвод. За этим взводом в  
свою очередь началась охота.

Таким образом, очень скоро на участке за-  
варивался постоянный бой. Со всех сторон  
били орудия мелких калибров, еще бо-  
лее мелких калибров, средних, калибров по-  
крупнее, наконец крупных, очень крупных,  
самых крупных, а иногда и сверхмощные пуш-  
ки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и  
вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вих-  
рем низвергавшие свои колоссальные снаряды  
в какой-нибудь на вид невнятный песок, над  
которым поднималась в воздух вместе с куста-  
ми и деревьями и обваливалась вниз скали-  
стая туча, черная, как антрацит, и прорерну-  
тая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны,  
врывался осколок, с силой ударялся в землю,  
делал рикшет, кружился, трещал, звенел, ныл,  
как волчок, и с отвратительным стоном уно-  
сился прочь, сбивая по пути ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на  
верхушке сосны, казалось, ничего этого не  
слышат и не видят. И только изредка, когда в

каком-нибудь месте огонь особенно учащался. телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

— Дай фляжку. Это фляжка? Говорит стуж. Проверка линии. Что у вас там делается? Пока все тихо? Ну, ладно. У нас тоже все тихо. Войдите дальше. До свиданья.

Когда, наконец, работа была кончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на шею тесемки плащ-палатки и вскочил на свои короткие, крепкие, немного крытые ноги и крикнул вниз вестовому:

— Коня!

Затем он посмотрел на часы.

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

— Девять четырнадцать, — сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий, торжествующий, гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули гляцевой чернотой.

— Отстаешь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь по своему обыкновенно.

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

— Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевел стрелки.

— Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он одним духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил из коня и умчался, осыпаясь желтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугой резиновый поясok и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны еще лучше. Ему хотелось любить, чтобы, в случае надобности, его батарея могла сразу, с первых же выстрелов перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройти по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперед на линию пехоты и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капи-

тана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, порожую молодым дубляком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. На нем не было ни опасных точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них и задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, и у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз, рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и загибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой пенал вперед, закрепляется на оборонительном склоне высоты против развилки дороги и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается: он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты и главное перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но все же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А то, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счет не имел. Так говорил ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании манера и на том особом математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, все же рискнуть, попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивал по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно-четкую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расплослась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно-волнисто выделялись верхушки того

Такого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближенный, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игол и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулеметных гнезд.

По верхнему же краю поля, так же отчетливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам, тянулись немецкие.

И мертвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, что его и вовсе не было.

Еще дальше капитан Енакиев видел волнистую панораму немецких тылов. Он пробирался по ней несколько. Быстро замелькала оголенные рожицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И, наконец, капитан Енакиев вернулся к тому самому месту — между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем «дальномер 17».

Он напряженно вematривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение — в который раз за сегодняшнее утро! — населяло его движущимися целями Ахунбаева и маленькими сплутами немецких танков, которые вдруг начинали одна за другой вынолзать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» — думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание, нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел пойти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчет в том, что же для него все-таки выгоднее: с наибольшей точностью прицелиться целью номер семнадцать, хотя бы для того пришлось пойти на риск — преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздался голоса, лестница зашаталась, послышалось пробное поздравление шпор, и на площадку выскочил, тя-

жело дыща, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносом лицом и очень черными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, тотчас оторвал ее с силой вниз и подал капитану Енакиеву пакет.

— Приказ по полку... — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: — ...о наступлении!

— Когда? — спросил Енакиев.

— В девять часов сорок пять минут. Сигнал—две ракеты синих и одна желтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

— Идите, — сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал ее вниз, повернулся кругом с такой четкостью и шегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о шерекладны и весело чертыхаясь.

— Лейтенант Седых, — сказал Енакиев.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Вы слышали?

— Так точно.

— Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами — телефонная. При движении вперед наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте два человека — один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Никак нет.

— Действуйте.

— Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошел на одну ступеньку ниже, но остановился.

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

— С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

— Ах, да.

Ему же докладывали о мальчике, но он еще не принял решения.

— Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

— Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

— Очухался малый?

— Будто ничего.

— Что же он рассказывает?

— Много чего говорят. Да вот сержант Егоров лучше знает.

— Давайте сюда Егорова.

— Сержант Егоров! — крикнул лейтенант Селых вниз командиру батареи.

— Здесь! — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, накрытый ветками, появился над площадкой.

— Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Расскажите.

Капитан Енаклев сказал: не «докладывайте», а «расскажите». И в этом сержант Егоров, — всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, — уловил позволение говорить по-семейному. Его утомленные, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьезными.

— Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров, — отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову, мать убили. Бабка и маленькая сестренка умерли с голоду, остался один. Потом деревню спалили. Пошел с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили в какой-то лхний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился лихорадкой, поймал чесотку, болел сыпным тифом — чуть не умер, — но все же кое-как выжил. Потом убежал. Почитай два года бродил, прятался в лесах, все хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одиночал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий воякачок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздем какого-нибудь фрица убить. А еще в сумке у него мы нашли букварь — рваный, потрепанный. — Для чего тебе букварь? — спрашиваем. — Чтоб грамоте не разучиться, — говорит.

— Сколько ж ему лет?

— Говорит — двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, огощал. Одня кожа да кости.

— Да, — задумчиво сказал капитан Енаклев. — Двенадцать лет. Стало быть, когда все это началось, ему еще девяти не было.

— С детства хлебнул, — сказал Егоров, вздыхая.

Она помолчала, прислушиваясь к звукам

артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряженная, обманчивая тишина.

— И что же, хороший паренек? — спросил капитан Енаклев.

— Замечательный мальчишка. Шустрый такой, смывленный, — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Было когда-то и у капитана Енаклева мальчик, сын Костя, правда, немного поменьше возрастом. Теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енаклева молодая жена и мать. И всего-этого он лишился в один день, три года назад. Вышел из своей квартиры в Бараповичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не увидел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое поехали по дороге в Минск в то странное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енаклеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не пересказывал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енаклев и не спрашивал. У него нехватало духу распространяться. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его. Она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулеметные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, кошельками, узлами и маленький, четырехлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, расклевывая восковые руки, между корнями вывороченной из земли сосны.

Особенно отчетливо виделась капитану Енаклеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, поинятая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тринадцать два года, капитан Енаклев немного поседел в висках, стал суше, скучней. Он стал страше. Мало кто в полку знал об его горе. Он никому не говорил о нем. Но, оставаясь в одиночестве с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда, как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас

его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комод, среди других вещей, из которых его Косяк уже вырос, и, возможно, из нее бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суколку для чистки ботинок.

— Как его звать? — спросил капитан Енакиев.

— Ваня.

— Просто Ваня?

— Просто Ваня. — с веселой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. — И фамилия такая подходящая — Ваня Солнцев.

— Ну, так вот что, — подумав, сказал Енакиев, — надо будет его отправить в тыл.

Лицо Егорова вытянулось.

— Жалко, товарищ капитан.

— То есть как это жалко? — строго намурлылся Енакиев. — Почему жалко?

— Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадет.

— Не пропадет. Есть специальные детские дома для сирот.

— Так-то оно, конечно, так, — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже послышались твердые, командирские нотки.

— Что?

— Так-то оно так, — сказал Егоров, переминываясь на шатких ступенях лестницы. — А все-таки, как бы это сказать, мы думали его у себя оставить, при звезде управления. Уж больно смысленный паренек. Прирожденный разведчик.

— Ну, это вы фантазируете, — сказал Енакиев раздраженно.

— Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно как взрослый разведчик. Даже еще лучше. Он сам просится: «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся.

— Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

— Так точно.

— Вот видите. Нет, нет. Рапо ему еще воевать, пусть прежде подрастет. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл.

Егоров домыслил.

— Убежит, товарищ капитан, — сказал он неуверенно.

— То есть как это убежит? Почему вы так думаете?

— «Если, говорит, вы меня в тыл начнете отправлять, я от вас все равно убегу по дороге».

— Так и заявил?

— Так и заявил.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сухо сказал капитан Енакиев, — приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся.

— Слушаюсь.

— Все, — сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

— Разрешите идти?

— Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледносиняя звездочка. Она еще не успела потаснуг, как по ее следу выкатилась другая синяя звездочка, а за нею третья звездочка — желтая.

— Батарея, к бою! — сказал капитан Енакиев громко.

— Батарея, к бою! — крикнул звонок телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

#### 4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошонку из свиной тушонки, картошки, луку, перцу, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожеванные куски мяса то и дело оставались у него в горле. Острые, твердые угли двигались от напряжения под косичками серых, давно не стриженных волос.

Военная жизнь в степной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Прилично требовало, чтобы он ел не спеша, изредка обтирая ложку хлебом и на сливочном масле и чавкал.

Прилично требовало также, чтобы он времени от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт вдоволь», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте еще».

Все это Ваня понимал, но ничего не мог с собою поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.

Иногда его синие, как бы немного помятые от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один — костистый великан с добродушным шербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «Скелет», ефрейтор Биденко, а другой тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь — гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с каленым румянцем на голстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой, поросычьею петинкой на розовой голове — по прозвищу «Чалдон».

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае им приходилось сплюснуть ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был добасским шахтером. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его темную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежесколотыми березовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, березовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стеганках, накинутах на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уплетает крошечку.

Иногда, заметив, что мальчик смущен своей непривычной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

— Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А нехватит, мы тебе еще подбросим. У нас насчет харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живет в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что еще совсем недавно — вчера — он пробирался по страшному холодному лесу, один во всем мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади было три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь желтое полотно проникал ровный, веселый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов, в палатке было тесновато, но зато как все было аккуратно, разумно разложено и развешено.

Каждая вещь помещалась на своем месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на желтых палочках, изнутри подширавших палатку. Шляпки и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевельновых ветках. Противогазы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми, суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой.

На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щетки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щетки, воткнутые друг в друга щетинной, и возле них коробка ваксы.

Конечно, имелся там же фонарь — «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окантована рейском, чтобы не затекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Все было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахарку, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курено имелося в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и легкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курали в самых крайних случаях и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали также сведения, что иной раз даже в штабе дивизии только руками разводили. А начальники впереводку

дела иначе их не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.

Зато и отдыхать после своей тяжелой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами, через два дня в третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Ниче отдыхали Горбунов и Биденко, закаленные дружки и постоянные напарники. И хотя с утра шел бой, воздух в лесу ходил ходунгом, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашеных луковичной шелухой, в рваной кавказке, с торбой через плечо, босой, протеревший мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его — темное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шалкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избышки, — было точь-в-точь, как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня сухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтер ложку, корку съел, встал, медленно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

— Премного благодарны. Много вами доволь.

— Может, еще хочешь?

— Нет, сыт.

— А то мы тебе еще один котелок можем наложить, — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. — Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

— В меня уже не лезет, — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнувшись из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило — мы никого насильно не заставляем, — сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

— Хороший харч, — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с

газеты «Суворовский патрик», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

— Верно, хороший? — оживился Горбунов. — Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадешь. Будешь за нас держаться?

— Буду, — весело сказал мальчик.

— Правильно. И не пропадешь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе отстрижем. Обмундирование какое-никакое справим, чтобы ты имел надлежащий воинский вид.

— А в разведку меня, дяленька, будешь брать?

— И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

— А, дяленька, маленький. Я всюду пролезу, — с радостной готовностью сказал Ваня. — Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

— Это и дорого.

— А из автомата палить меня научишь?

— Отчего же. Придет время — научим.

— Мне бы, дяленька, только один разок стрельнуть, — сказал Ваня, жадно поглядывая на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной палбы.

— Стрельнешь. Не бойся. За этим не стоит. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

— Как это, дяленька?

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи, капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Приятно тебе?

— Понятно, дяленька.

— Вот как оно делается у нас, у разведчиков... погоди. Ты это куда собрался?

— Посуду помыть, дяленька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

— Правильно приказывала, — сказал Горбунов строго, — то же самое и на военной службе.

— А на военной службе швейцаров нету, — пазидательно заметил справедливый Биденко.

— Однако еще погоди мыть посуду. Мы сейчас чай пить будем, — сказал Горбунов самодовольно. — Чай пить уважаешь?

— Уважаю, — сказал Ваня.

— Ну и правильно делается. У нас, у разведчиков, так положено — как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! — сказал Биденко, — конечно, в накладку, — прибавил он равнодушно. — Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский папик» громадную горсть рафинада.

Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две больших грудки сахара, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков.

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в необыкновенном, сказочном мире.

Все вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещенная солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды удовольствия — вещевое, приварок, денежное» и даже слова «свянная тушонка», большими черными буквами напечатанные на кружке.

— Правится? — спросил Горбунов, горделиво любясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он остается жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал, высоко поднял брови тоном и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

— Ребенок ведь, — жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными губами, как будто законченными пальцами хорошенкую козью ножку и осторожно насыпая в нее из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые все сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молоты по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

— Наши пикируют, — заметил веколыз Биденко, прислушавшись среди разговора.

— Хорошо бьют, — одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось тоже довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчетливо слышался твердый, настойчивый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась такая тишина, все молчали, прислушиваясь.

Потом издали допеселась винтовочная трескотня. Она все усиливалась, кренчала.

Ее отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест часто застрочили пулеметы. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пушенная самым полным ходом.

И в этом беспорядочном механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших а-а-а...

— Пошла парня полей в атаку, — сказал Горбунов, — сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

— А нашей батарее не слышать, — сказал он наконец.

— Да, молчит, — сказал Горбунов.

— Небось, наши камштан выжидают.

— Это как водится. Зато потом как ахнут...

Ваня переводил слухи, испуганные глаза одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

— Дяденька, — наконец, сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — кто кого побеждает: мы немцев или немцы нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по затылку:

— Эх, ты!

Биденко же серьезно сказал:

— Ты бы, Чадон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались терзающие шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошел сержант Егоров.

— Горбунов.

— Я.

— Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убили. Заступай на его место.

— Нашего Кузьминского?

— Да, очередь из автомата. Одинадцать пуль. Побьстрее.

— Есть.

Иска Горбунов, согнувшись, торопливо на-



дезал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался, убитый теперь, разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно — без единой морщинки — застлано зеленой плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольные письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», помещенные полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомола.

От шинели Кузьминского грубо и врасно пахло солдатскими пами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушел. Он ушел, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернется. Теперь все знали, что он уже никогда не вернется, и молчаливо смотрели на его освобожденное место.

В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, гибкий номер «Красноармееца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню. Мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

## 5

— Ты еще здесь?—сказал Егоров.

— Здесь.— виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Придется его отправить,—сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев.— Биденко!

— Я.

— Собирайся.

— Куда?

— Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставив его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдать командиру под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

— На, тебе!—сказал Биденко с пескрявым огорчением.

— Капитан Енакиев распорядился.

— А жалко. Такой шустрый мальчик.

— Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров еще больше нахмурился.

Ему и самому было жаль расстаться с мальчиком. Про себя он еще ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обжалованию. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано — исполняй.

— Не положено,— еще раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчеркивая, что вопрос решен окончательно.— Собирайся, Биденко.

— Слушаюсь.

— Ну, стало быть, так и так,—сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмякшей, потертой до глянца кобуры нагана.— Не туши, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнить. Такова воинская дисциплина. По крайней мере хоть на машине прокатиться. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но неторопливо вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорченный, растерянный. Покусывая губы, обметанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полускрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Они оба прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, все было так хорошо, так прекрасно, и вдруг все сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь началась для Ваня: дружить с храбрыми, великодушными разведчиками, вместе с ними обедать и пить чай в накладку, вместе с ними ходить в разведку, нарваться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной палатке; получить обмундирование — сапожки, гимнастерку с погонами и пушечками на погонах, шинель, может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами.

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и все время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашел добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, все стало так замечательно, когда он, наконец, попал в родную семью — крах!— и всего этого нет. Все это рассеялось, как туман.

— Дяденька,—сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель.— А дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.

— Дяденька Егоров... товарищ сержант. Не везите меня отправлять. Пусть я у вас буду жить,—сказал мальчик с отчаянием,—

я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено, не положено, — устало сказал Егоров. — Ну, что же ты, Биденко! Готов?

— Готов.

— Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стрелянными гильзами уходит обратным рейсом. Еще захватите. А то напи на четыре километра вперед продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

— Диденка! — закричал Ваня.

— Не положено, — отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые еще так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но также наверняка он чувствовал и другое. Он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся в нее головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздернулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

— А я не поеду, — сказал мальчик дерзко.

— Небожь, поедешь, — добродушно сказал Биденко. — Ишь ты, какой злощип. Не поеду. Посажу тебя в машину и повезу. Так поедешь.

— А я все равно убегу.

— Ну, брат, это вряд ли. От меня еще никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался.

— Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Поваж в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранью.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось.

Преследуя немцев, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шел бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, там сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где еще вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нем, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз компания разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж — прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми бревнами в четыре наката и обложенное сверху дерном.

Хозяиственные разведчики высмотрели этот блиндаж еще тогда, когда он находился в немецком расположении и в нем еще жила немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не спрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьем разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатило гремело, рычало. Там непрерывно величались и подергивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые снолохи.

Спустившись дальние вниз по земляным ступеням, обшитым тесом, Биденко вошел в просторный блиндаж.

Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, левшая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы стараясь не успели ее увести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратными рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посредине стоял крепкий оббитый стол, вбитый в землю. В углу тапчалась раскаленная чугунная немецкая пухотная печка и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устроились здесь прочно, по-хозяйски — разжигали печь. Во всяком случае они даже повесили на стене

картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окруженного ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг им Дейчланд», что значило — весна в Германии.

Во всем же остальном блиндаж уже имел вполне обжитой, русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зеленые вещевые мешки, покрытые чистыми утиральничками, на печке грелся знаменитый маленький чайник, на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба, в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелеными русскими шлемами.

В блиндаже оказалось много народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Биденко также заметил и много посторонних.

Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным, зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку в накладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве.

Почти все куряли, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить: «хоть топор всшай».

— А, здорово, Вася! — увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом — угощал гостей.

Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба.

— Ну как, едал мальчика? Садись к столу. Аккурат к чаю попал.

Он был без гимнастерки, в одной бязевой сорочке, в расстегнутый ворот которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

— А мы, брат, пинче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я ее убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошел к своей койке, сердито кинул на нее снаряжение и шинель, принес на корточках перед печкой и протянул к ней большие черные руки.

— Ну, что там слышать в штабе фронта, Вася? Немцы еще мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

— Может, закуришь? — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

— А, пошло оно все к чорту! — неожиданно пробормотал Биденко, зашпгал опять к своей койке и вяло повалился на нее животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз, человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет — сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батареяцам о том, как его вчера чуть не убило в пешотной цепи, где он заступил на место погибшего Кузьминского.

— Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зеленую, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной как хватит. Прямотаи под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанет. Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля — вот она, тут, возле самого глаза. Выходит дело — лежу.

Горбунов захохотал счастливым смехом.

— Чувствую — весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встарау. Осматриваю себя — ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землей побило. По зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. — И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторван. Как его и не было. Все равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле — как насмех! — ни одной царапины. Вон оно, как снесло каблук. Смотрите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям пороченный сапог. Гости его внимательно осмотрели. А некоторые даже вежливо потрогали его руками.

— Да, собачье дело, — заметил один деловито.

— Это бывает, — сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который выкладывал Горбунов на стол. — И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Теткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Это никогда не учтешь.

— Кузьма, — сказал вдруг Биденко со своей койки натуженным голосом тяжело боль-

ного человека, — слышишь, Кузьма, а где же сержант Егоров?

— Сержант Егоров нынче дежурный, — ответил Горбунов, — пошел посты проверять.

— Поди, скоро вернется?

— Грозился к чаю поспеть.

— Так, — сказал Виденко и закричал, как от зубной боли.

Он захныкал довольно громко, и в этом крик-теньи явно послышалась просьба посочувство-вать.

— Ты что маешься? — равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой холодной вежливости.

— А, пошло оно все к черту, — вдруг опять сказал Виденко мрачно.

— Выпей чаю, — сказал Горбунов. — Может, полегчает.

Виденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, по-вернув глаза к мечке.

— Понимаешь, какая получилась петрушка, — наконец, сказал он неестественно высо-ким голосом, стараясь придать ему наемный-ый оттенок, — не знаю прямо, как и докла-дывать буду сержанту Егорову.

— А что?

— Не выполнил приказанье.

— Как так?

— Не довез малого до штаба фронта.

— Шутить?

— Верно говорю. Прохлелал. Ушел.

— Кто ушел?

— Да малый же этот. Ваня наш. Пасту-шок.

— Стало быть, убежал по дороге?

— Убежал.

— От тебя?

— Ага.

Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим, жирным телом.

— Как же это ты так сплеховал, Вася, а? Ну, погоди. Придет Егоров, он тебе даст дроз-да. Как же это получилось?

— Так и получилось. Убежал, да и все.

— Вот тебе и знаменитый разведчик. От меня — хвалился — еще никто не уходил, а мальчишка ушел. Ай да Ваня! Ай да пасту-шок!

— Толковый ребенок, — с вялой улыбкой сказал Виденко.

— Да уж видно, что толковый, коли тако-го профессора обвегорил. Ты все же расска-жи, Вася, путем, как дело-то было.

— Убежал и убежал. Чего там рассказы-вать.

— А все-таки. Ты, брат, всю правду докла-дывай. Все равно дознаемся.

— А, пошло оно к черту, — сказал Ви-денко, безнадежно махнув рукой, отправился на свою койку, лег к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.

И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происше-ствия.

## 7

Едва грузовик, позванивая пустыми гиль-зами и подпрыгивая по корням, проехал по ле-су километров пять, как Ваня вдруг схва-тился руками за высокий борт, сделал отчаян-ное лицо и сиганул из машины, кубыркнув-шись в мох.

Это произошло так быстро и так неожида-но, что Виденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчи-ка вытрахнуло на повороте.

— Эй, там, полегче! — крикнул Виденко, застучав кулаками в кабину водителя. — Остановись, черт! Мальчишка потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся ма-шину, Виденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, схватил свою торбу и побежал что есть мочи в лес.

— Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал ефрейтор.

Но Ваня даже не оглянулся.

Мелкая руками и ногами, как мельница, он лупил с себя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще.

— Ваня-а-а! — крикнул Виденко, прило-жив громадные свои руки к рту. — Пастушо-ок! Погоди-и-и!

Но Ваня не откликнулся, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, при-летело назад откуда-то сбоку — а-ой! а-ой!

— Ну погоди, чертенок, — сердито сказал Виденко и, попрощав водителя чутко подо-ждать, большими шагами, треща по валежни-ку, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчишка очень скоро. В самом деле, много ли труда стоило старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых «профессоров» капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего маль-чишку? Сменю об этом и говорить.

На званый случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Виденко приступил к поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего он определился по компасу для того, чтобы в любой момент без труда най-ти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направле-нию, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Виденко не лопал, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, маль-

чик поспешно начал забирать вправо. Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и сообразовавшись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошел мальчику на перехват.

«Там-то я тебя, голубчика, и спалаю», — не без удовольствия думал Биденко. Он живо представлял себе, как он бесшумно вылезет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу, и будет. Пойдем-ка обратно в машину. Да смотри у меня больше не балуй. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Биденко. Так себе это и замечь раз и навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвезить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, нистошный пастушок.

Ваня вызывал в душе у Биденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его самого, когда он был еще совсем маленький и его посылали пасти коров.

182046  
Смутно вспоминалось раннее утро, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зеленому лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы — ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, огненно-красные — и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины.

«Смелый чертенок. Ничего не боится. Настоящий солдат, — думал Биденко, — жалко, очень жалко его отвезить. Да ничего не поделаешь. Приказано».

Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Биденко различал в лесу множество разнообразных, еле уловимых звуков. Но среди них ни

разу не слышал он звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.

Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде — ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный, разведчик не прошел бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унился до того, что маленько покричал живым, бабьим голосом:

— Ванюшка-а-а! Ау-у-у! Полно балова-ать! Пора еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.

Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернуть.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего. Засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться.

Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший.

Биденко справился с компасом и, бряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, — как он того и ожидал, — уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться столько времени. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

По прежнему было тронуться в обратный путь, Биденко решил покурить и перемотать портянки.

Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потрихивая кисет, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Биденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке среди зеленых кистей знакомые корячковые, домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.

В тот же миг Биденко вкочил, как ужаленный, швырнул на землю кисет с махоркой, не

доделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суке, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким, детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немножко похрамывал.

Биденко сразу понял все. Пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того чтобы бежать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот. Он сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху. А потом спокойно опуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распрорванной торбы, несомненно, так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь — сидел!» — с восхищением подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал:

— Пойдем-ка, брат пастушок, вниз.

Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.

— Ладно уж! — сказал он сумрачным голосом, хриповатым со сна.

## 8

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они уже шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на почтовую машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шел впереди, а Биденко на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.

— Хватит, дружок, — говорил Биденко назидательно, — погулял в лесу, и будет. Потому что все равно ничего не получится. Не родился еще на свете такой человек, который бы от меня ушел. Так себе это и запомни.

— Неправда ваша, — сердито отвечал Ваня, не оборачиваясь, — кабы не мой букварь, вы бы меня сразу не поймали.

— Небось! Поймал бы!

— Неправда ваша.

— Верно говорю. От меня еще никто не уходил.

— А я ушел.

— Не ушел бы.

— Если бы да кабы.

— Вот тебе и да кабы.

— Неправда ваша.

— Заладил одно.

— Неправда ваша. Неправда ваша, — упорно повторял Ваня.

— Весь лес бы прочесал, а нашел.

— Чего же вы не прочесали?

— Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать — язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашел.

— Чего же вы меня не нашли?

— Я тебя нашел.

— Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали и то не нашли.

— Чего языком треплешь! Когда я тебя по компасу искал?

— А вот искали. Вы меня не видели, а я с дерева все видел.

— Чего же ты видел?

— Видел, как вы на мой след компас направляли.

«Вот черенок, все он замечает», — подумал Биденко почти с восхищением. Но сказал строго:

— Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.

И тут Биденко немного покривил душой. Но это ему все равно не помогло.

— Неправда ваша, — сказал Ваня неумолимо. — Вы меня по компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашел в каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью.

— Ну, браток, это ты чересчур хватил.

— Давайте спорить.

— Стану я еще с тобой спорить. Молод.

— Ну давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через пять начну вас искать.

— Ну и не найдешь.

— А вот найду.

— Никогда!

— Испытаем.

— Ау ну, давай! — воскликнул Биденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. — Ничо чем не найдешь. Погоди... — сказал он вдруг подозрительно. — Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Э, нет, малый. Больно ты хитер, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся.

— Бойтесь, что уйду?

— Ничего не боюсь. — хмуро сказал Биденко. — А просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.

— Вы не бойтесь, — сказал мальчик весело, — я от вас и так все равно уйду.

И такая глубокая уверенность, такое не-

преклонное решение послышалось ефрейтору Биденко в этих веселых словах, что он, хотя и промолчал, но решил про себя все время быть на-чеку.

А мальчику как всегда попала под хвост. Он бодро топил вперед Биденко своими крепкими боевыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики, вызывающе повторял:

— А вот уйду! Хотя вы меня привяжете к себе, все равно уйду.

— А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдешь.

Биденко задумался.

— А, ей-богу! — вдруг решительно сказал он. — Вот возьму веревку и привяжу.

У Биденко, действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и крепкой веревки. И он начал подумывать всерьез, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло довольно далеко. В дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнешь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт.

«А что, в самом деле, — думал Биденко, — привяжу — и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с ним не сделаешь».

И действительно. Когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Биденко достал из кармана аккуратно свернутую веревку.

— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду, — весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчишка.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шуточный тон и ответил в таком же духе:

— Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только делайте узел покрепче, чтобы я не развязал.

— Моего, брат, узла не развяжешь. У меня двойной морской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно, привязал концы веревки двойным морским узлом к ваниной руке powyше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

— Теперь, брат пастушок, плохо твое дело. Не убежишь.

Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неслось прыгали синие черны.

Грузовик оказался очень хороший, большой, крытый брезентом — новенький американский «Студебекер». Он шел порожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нем единственные пассажиры. Они очень удобно

устроились на пустых мешках у самой кабинки водителя, где совсем не трясло.

Биденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.

«Смотрите, пожалуйста, какой гордый, — думал с умлением Биденко. — Маленький, а злой. Самостоятельный у дяденька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».

И ему опять стали представляться далекие картины своего детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались все новые и новые люди. Скоро машина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади узлом.

Было два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погонычками и в новеньких, твердых фуражках.

Была девушка из военторга в макинтоше, коротких кожаных сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько веселых летчиков-истребителей. Они все время курили папиросы, доставая их из толстых прозрачных порепагаров, сделанных на авиационном заводе из отходов броне стекла.

Была женщина, врач, — военный хирург — толстая, пожилая, в круглых очках и в сляком береге, плотно натянутом на седую коротко остриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.

По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было еще далеко. И люди стали маленькую засыпать, устроившись кто как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову кулак с намотанной на него веревкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и подергивал за веревку.

— Ну, что вам надо? — сонно отзывался Ваня. — Я еще тут.

— Спишь, пастушок?

— Сплю.

— Ладно. Спи. Это я так. Проверка лжи.

И Биденко засыпал опять.

Один раз ему почудилось вдруг, что Ваня возле него нет. Сел торопливо, подергал за веревку. Но не получил никакого ответа. Холодный пот прошёл ефрейтора. Он выключил на колени и заветил электрический фонарик, который все время держал наготове.

Нет. Ничего. Все в порядке. Ваня попрежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко осветил ему в лицо. Оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже осветили в лицо фонариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, больное, косящее, страшное. Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в них.

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что значит попасть, наконец, к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены лечат.

Биденко лег и под мерное подкакивание грузовика снова задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но все же, проснувшись, не забыл подергать за веревку. Ваня не откликнулся.

«Спит, небось, — подумал Биденко, — слава богу, утомился».

Биденко повернулся на другой бок, немножко опять послал, а потом опять подергал за веревку.

— Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это, наконец, кончится? — раздался в темноте сердитый женский бас. — Почему ко мне привязали какую-то веревку? Почему меня дергают? Кто мне все время не дает спать?

Биденко похолодел.

Он зажег электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было. А веревка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещенными электрическим фонариком.

— Эй, водитель! Остановись! — заорал Биденко страшным голосом, изо всех сил барабанив кулаком в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам, ногам и головам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу. Он одним махом перескочил через борт и очутился на шоссе.

Ночь была черная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далекого артиллерийского боя.

По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовых и легковых машин, транспортеры, тягачи, пушки, бензоэлектрички. Они бегло освещали своими фарами черные лужи, покрытые белыми, свержающими кругами и пузырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время, слегка

расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

— А, пошло оно все к черту!

И, не торопясь, побрел назад к ближайшему регулировщику для того, чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края.

## 9

— А ну, хлончик, отойти от калитки. Здесь посторонним стоять не положено.

— Я не посторонний.

— А какой же ты?

— Я свой.

— Какой свой?

— Советский.

— Мало что советский. Говорю — не положено. Стало быть, не положено. Проходи своей дорогой.

— А здесь, дяденька, штаб?

— Что бы ни было.

— Мне к начальнику надо.

— К какому тебе начальнику?

— К самому главному.

— Ничего не знаю. Проходи.

— Пустите дяденька. Что вам стоит?

— Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится. Не видишь — я на посту.

— А вы со мной, дяденька, и не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику, и ладно.

— Ишь ты, какой шустрый, — сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: — Пету здесь никакого начальника!

— А вот неправда ваша. Есть начальник.

— Ты почему знаешь?

— Сразу видать. Изба хорошая. Лошади под седлами во дворе стоят. Самовар в сени тетенька понесла. Часовой у калитки.

— Все он видит. Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю.

— Пустите, дяденька.

— А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберет.

— Куда заберет?

— Куда надо. Ну! Кому я говорю? Отойди от калитки. Не положено. Вот тебе и весь сказ.

Ваня отошел в сторону. Он сел на старый мельничный жернов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки.

Часовой же поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперед по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой кожей.

Убедившись второй раз от Биденко, Ваня стал размышлять тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определенного плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям — раз-



ведчикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только еще раз хорошенько попросить.

Однако, как ни хорошо умел мальчик различать местность и находить дороги, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком все передвинулось на запад. Слишком все переменилось, стало неузнаваемым.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом. Но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст и палатка в нем не находилась.

Двое суток бродил мальчик по каким-то не известным ему новым военным дорогам и частям, по сожженным деревням, расширявая встречных военных, как ему найти чалатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, молчаливые.

Чаще всего на вашины вопросы они отвечали:

— Не знаю.

— А тебе зачем?

— Ступай к коменданту.

— Не положено.

И все в таком же духе.

Ваня совсем было стесался и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город и не попроситься ли там в детский дом.

Он бы, наверное, в конце концов, так и сделал, несмотря на все свое упрямство, если бы однажды не встретился с одним мальчиком.

Мальчик этот был не на много старше Вани. Ему было лет четырнадцать. А по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик!

Среду еще не видя Ваня такого роскошного мальчика. На нем была полная походная форма гвардейской кавалерии. Шинель — длинная до вят, как рубаха, круглая кубинская шапка черного баранка с красным верхом, погоны с маленькими стременами, перекрещенными двумя клинками, пюры и, — как венец всего этого воинского великолесья, — ярко-алый башлык, небрежно закинутый за спину.

Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шапку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако

Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.

Но военный мальчик бровью не повел. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал свое воинственное занятие. Изредка он сзабоченно елывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

— Чего стоишь? — сказал он сумрачно.

— Хочу и стою, — сказал Ваня.

— Иди откуда пришел.

— Сам иди. Не твой лес.

— А вот мой, —

— Как?

— Так. Здесь наше подразделение стоит.

— Какое подразделение?

— Тебя не касается. Видишь — наши кони.

Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, черные бурки и алые башлыки конников.

— А ты кто такой? — спросил Ваня.

Мальчик небрежно, со щегольским стуком, кинул клинок в ножны, сплюнул и растер сапогом.

— Знаки различия понимаешь? — сказал мальчик каменливо.

— Понимаю! — дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.

— Ну, так вот, — строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперек которого была нашита белая лычка. — Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?

— Да! Ефрейтор! — с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. — Видали мы таких ефрейторов.

Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.

— А вот представь себе — ефрейтор, — сказал он.

Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастерке большую серебряную медаль на серой полковой ленточке.

— Видал?

Ваня был подавлен. Но он и виду не подавал. — Великое дело! — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти.

— Великое не великое, а медаль, — сказал мальчик, — за боевые заслуги. И ступай себе откуда пришел, пока цел.

— Не больно модничай. А то сам получишь.

— От кого? — прищурился роскошный мальчик.

— От меня.

— От тебя? Молод, брат.

— Не моложе твоего.  
— А тебе сколько лет?  
— Тебя не касается. А тебе?  
— Четырнадцать, — сказал мальчик, слегка прикивая.

— Ге! — сказал Ваня и свистнул.  
— Чего — ге?  
— Так, какой же ты солдат?  
— Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.

— Толкуй! Не положено.  
— Чего не положено?  
— Больно молод.  
— Постарше тебя.  
— Все равно не положено. Таких не берут.

— А вот меня взяли!  
— Как же это тебя взяли?  
— А вот так и взяли.  
— А на довольствие зачислили?  
— А как же.  
— Забываешь.  
— Не имею такой привычки.  
— Побойжись.  
— Честное гвардейское.  
— На все виды довольствия зачислили?  
— На все виды.  
— И оружие дали?

— А как же. Все, что положено. Выдал мою шашечку? Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что! У меня еще бурка есть. Бурочка что надо. На красоту. Но я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.

— А меня не взяли, — убито сказал Ваня, — сперва взяли, а потом сказали — не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

— Стало быть, ты им не показался, — сухо сказал роскошный мальчик, — раз они тебя не захотели принять за сына.

— Как это за сына? За какого?  
— Известно, за какого. За сына полка, а без этого не положено.

— А ты — сын?  
— Я сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня еще под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглая сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском срядным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казаки ночью большой шум в тылу у немцев сделали. Как ворвутся в одну деревню, где

стоял немецкий штаб! А немцы как выскочат на улицу в одних подштанниках. Мы их там больше чем полторы сотни набили. Рубали все равно как капусту.

Мальчик вытащил из кожен свою шашку и показал Ване, как они рубали немцев.

— И ты рубал? — с дрожью восхищения спросил Ваня.

Мальчик хотел сказать «а как же», но, как видно, гвардейская совесть удержала его.

— Не, — сказал он смущенно, — правду сказать, я не рубал. У меня тогда еще шашка не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулеметом. Пу и, стало быть, или откуда пришел, — сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся, довольно-таки подозрительным гражданином.

— Прощай, брат!

— Прощай, — уныло сказал Ваня и побрел прочь.

«Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет! Сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакнев, который его даже в глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти — добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакнева.

Таким-то образом он, в конце концов, и набрел на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.

Он спел на мельничном жернове и, не спуская глаз с псы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:

— Соболев, лошадь!

10

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух оседланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник если не самый главный, то во всяком случае достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакневым.

Это же подтверждали и звездочки на погонах. Их было очень много. По четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек.

— Хотя и не старый, а, небось, генерал, — решил Ваня, с почтением рассматривая тонкие хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнан-

ную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полезную сумку с компасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошел к лошади, но прежде чем на нее сесть, весело потрепал ее по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.

Когда пытке его вызвал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разгрома, хотя никаких упреждений по службе за собой не чувствовал.

Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек десять артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник, человек суховатый и скупой на похвалы, высоко оценил именно тот взвешанный сокрушительный огневой налет на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который, в конечном счете, решил дело.

Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он провёл капитана Енакиева до сени и на прощанье сказал еще раз:

— В общем хорошо воюете. Молодцом, капитан Енакиев.

На что капитан Енакиев, смущенно покраснев, ответил:

— Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!

Все это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он передаст своим офицерам мнение командира полка об их батарее.

— Дяденька,— услышал он вдруг чей-то голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и, не мигая, смотрел стоячими зрачками глазами.

— Разрешите обратиться,— сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.

— Ну, что ж, обратись,— сказал капитан весело.

— Дяденька, вы начальник?

— Да. Командир. А что?

— А вы над кем командир?

— Над батареей командир. Над солдатами своими командир, над пушками своими.

— А над офицерами вы тоже командир?

— Смотря над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.

— А над капитанами вы тоже командир?

— Над капитанами я не командир.

Глубокое разочарование выразилось на лице мальчика.

— А я думал, вы и над капитанами командир.

— Для чего тебе это?

— Надо.

— Ну, а все-таки?

— Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.

— А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.

— Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.

— Кому же именно?

— Енакиеву, капитану.

— Как, как ты сказал?—воскликнул капитан Енакиев.

— Енакиеву.

— Гм... Что ж это за капитан такой?

— Он, дяденька, над разведчиками командует: Он у них самый старший. Что он им велит, то они все исполняют.

— Над какими разведчиками?

— Известно, над какими. Над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?

— То-то и беда, что не видел.

— А он тебя видел?

— И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и комедианту сдать.

Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика.

— Постой... погоди. Звать-то тебя как?

— Меня-то? Ваня.

— Просто — Ваня? — улыбнулся офицер.

— Ваня Солищев,— поправился мальчик.

— Пастушок?

— Верно!—с изумлением воскликнул Ваня.— Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почему знаете?

— Я, брат, все знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули сильные озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.

— А я убежал,— скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?

— Взят да и убежал.

— Так сразу взял да сразу и убежал?

— Нет, не сразу,— сказал Ваня и поче-

сал пога об ногу,— я два раза от него убежал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашел.

— Кто это он?

— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик шкий. Может, знаете?

— Слышал, слышал,— хмурясь еще сильнее, сказал офицер.— Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочиняешь. А?

— Никак нет,— сказал Ваня, вытягиваясь.— Ничего не сочиняю. Петлиная правда.

— Слышал, Соболев?— обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчиком.

— Так точно, слышал.

— И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчик убежал от Биденко?

— Да никогда в жизни!— с широкой, блаженной улыбкой воскликнул Соболев.— От Биденко ни один взрослый не убежит, а не то что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало загибает.

Ваня даже поблелел от обиды.

— С места не сойти!— твердо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.

Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, пятое через десятое рассказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошел до места с веревкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким, басистым смехом, что лошади наворочили уши и стали дружно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко,— это было не положено,— только крутил головой и прыскал в кулак и все время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал грустный.

— Они меня, говорит, за своего сына приняли,— возбужденно рассказывал Ваня про военного мальчика,— я у них теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ним один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со ствольным пулеметом. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, говорит, верно, не показался. Вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно хлопнул воздух и жадоб-

но посмотрел в глаза капитану своими наивными, прелестными глазами.

— Только он это врет, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался. Верно говорю. Они меня жалели. Да только они ничего поделать не могли против капитана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что ты всем «показался», только одному капитану Енакиеву «не показался»?

— Да, дяденька,— сказал Ваня, виновато мигая ресничками.— Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу и не видел. Разве это можно судить человека, не видевши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я ему тоже показался бы. Верно, дяденька?

— Ты так думаешь?— сказал капитан, усмехнувшись.— Ну, да ладно! Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь.

— В ночное с ребятами ездил?— строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая поводья.

— Как не ездил! Ездил, дяденька.

— На лошади удерживаться? А ну-ка, Соболев, бери его к себе.

И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошадь.

— К разведчикам!—скомандовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.

— От Биденко ушел, а от меня, брат, не уйдешь!— сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.

— А я сам не хочу,— сказал Ваня всело.

Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду.

— Дождитесь!— сказал он и быстро, брэнча шпорами, сбегал по ступенькам вниз.

## 11

Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в косяла. Они с таким азартом хлопали косярами по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов.

— Встать, смирно!— крикнул дежальный, увидав входящего командира батареи.

Разведчики резко встали на ноги, побросав кости на стол. А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурный по отделению, как положено,— в головном уборе и при оружии,— чортгом подоковылял к капитану и отпартовал:

— Товарищ капитан! Команда разведчиков

звода управления вверенной вам батарее. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор — Биденко.

— Здравствуйте, артиллеристы!

— Здравия желаем, товарищ капитан! — дружно крикнули разведчики.

После этого капитан Енакиев обычно командовал вольно и разрешал продолжать заниматься своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии».

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинами, и твердые губы, сложенные под короткими усами в неопределенную, холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего «дрозда» нынче дело аз обойдется.

— Стало быть, никаких происшествий не случилось? — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнет командир батареи.

— Что ж вы молчите?

— Разрешите доложить...

— Можете не докладывать. Известно. Хэрош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел. Командиру отделения докладывали?

— Так точно. Докладывал.

— Ну и что же?

— Командир отделения мне четыре паряда не в очередь дал.

— Сколько парядов?

— Четыре.

— Мало. Доложите ему, что я приказал от себя еще два паряда прибавить. Итого — шесть.

— Слушаюсь.

Капитан Енакиев некоторое время не слезая с табурета, вытаскивал перед ним солдат.

— Садитесь, ораы, — наконец, сказал он, расстеливая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. — Отдыхайте. Слышал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас заведет какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли!

Не успел он это сказать, как пять кнсетов протянулись к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вынуть по первому его знаку. Отовсюду слышалась голоса:

— Моего возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже.

— Моего попробуйте! Мой с можжевельником.

— Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Прогив меня тоньше никто не скрутит.

— Может быть, легкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик.

— Богато живете, богато живете, — говорил капитан; неторопливо примеряясь, у кого бы взять табачку. — А ты, Биденко, ты зря свой кнсет подставляешь. У тебя я все равно не возьму. Накурьшься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишь все на свете.

— Верно, — подмигнул Горбунов. — Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и надушка нашего пропятил.

— Про это я и намекаю, — сказал капитан.

— Товарищ капитан, — жалобно сказал Биденко. — Кабы он был обыкновенный мальчишка! А ведь это не мальчишка, а настоящий чертенок. Право слово.

— А что, верно хороший малый? — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадам. — Как он вам, братцы, показался?

— Паренек хоть куда! — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой, своейкой улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Васе. — Самостоятельный мальчишка. И уж одно слово — прирожденный солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

— Жалко? — сказал капитан Енакиев.

— Да нет. Что же! Жалко не жалко! Он, конечно, и в тылу не пропадет. А сказать правду, то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место.

— А не сочиняешь?

— Чего ж тут сочинять. Это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее.

— А вы, ребята, почему молчите? — сказал капитан Енакиев, пылливо всматриваясь в солдатские лица. — Как вам показался мальчишка?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна большая на всю команду и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

— Глядите, думайте! Вам с ним жить, а не мне.

— Подходящий паренек. Одно слово — пастишок, солинышко, — заговорили разведчики, все еще не вполне понимая, куда гнет их капитан.

А он строго посмотрел на них и после не-

которого, довольно продолжительного раздумья твердо сказал:

— Ну, ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа. Эй, Соболев!— крикнул он, подойдя к двери.— Давай сюда пастушка!

И когда на пороге к общему изумлению появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

— Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живет. А там увидим.

## 12

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом все это получилось.

— Пастушок! Друг сердечный!— воскликнул Горбунов.

— Ну, парень, докладывай!— строго сказал Биденко.— Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашел капитан Енакиев?

— Какой капитан Енакиев?— сказал Ваня с недоумением.

— А тот самый, кто тебя к нам привез.

— Так нешто это был капитан Енакиев?

— Он самый.

— Батюшки!

— А ты и не знал?

— Откуда ж!— воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами.— Кабы я знал!.. Нет, кабы я только догадывался!.. Правда, дяденька, самый это и был капитан Енакиев?

— Разумеется.

— Командир батареи?

— Точно. Самый он.

— Ох, дяденька, неправда ваша.

— погоди, пастушок.— сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов.— Ты не восклицай, а лучше нам все по порядку рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищенно сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он первый раз ночевал с ними.

Те же аккуратно разостланные шнели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники.

Даже медный чайник на печке и рафиянд, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.

Правда, трофейная карбинная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик шурился на нее, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова.

На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев. Только и виду не показал.

Недаром же солдаты сразу разглядели в нем прирожденного разведчика. А первое правило настоящего разведчика— лучше знать, да молчать, чем не знать, да болтать.

Так судьба Вани трижды волшебным образом жужжала за столь короткое время.

## 13

Темный, поздневый рассвет чуть брезжил над болотами. Среди черных, гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но не убранного льна, болота светились бело и слепо, как озеро.

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснувшись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости.

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Прозрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана.

Вокруг, насколько охватывал глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо.

Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мякло, но очень сильно хлестали большой дверью.

Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы.

Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в тонкую землю и чуть приподняв головы, они напряженно всматривались каждый в свою сторону.

Иногда они перекидывались короткими фразами:

— Что-нибудь просматривается?

— Пусто.

— И у меня пусто. Ни живой души.

— Плохо дело.

— Да. Неважно.

Они находились в тылу у немцев, километрах в тринадцать от линии фронта. С каждой минутой их лица делались все серьезнее, озбоченнее.

— Не видать?

— Не видеть.

— Давно бы, кажется, пора.

— Слышь, глянь на часы. Моя стали, чорт. Должно, обо что-нибудь стукнул. Сколько времени мы уже дождасемся?

Горбунов поднес руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, как осторожная, что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка.

— Семь тридцать две. Стало быть, ждем уже больше трех часов.

— Ого!

Минут пятнадцать — если не больше — они молчали.

— Слышь, Васи!

— Да.

— А что как его там захватили немцы?

Горбунов, наконец, высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Биденко. Но Биденко сумрачно сжал челюсти, от чего темные его скулы обозначались еще резче. Глаза сузились, стали злыми.

— Не каркай! Чем зря языком трепать — наблюдай.

— Я и так наблюдаю. Да что ж, когда пусто.

И снова они надолго замолчали, но всех сил напрягая зрение. Вдруг Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову.

Это движение было едва заметно. Но оно выражало крайнюю степень волнения. Как у очень дальновзоркого человека, зрачки его глаз сразу резко сократились, стали маленькими, как булавочные головки.

Биденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное.

— Что там такое, Кузьма? — тихо, одними губами, спросил Биденко.

— Лошадь, — так же тихо ответил Горбунов.

— Наша?

— Кажись, наша. Погоди. Зашла в кусты — не видеть. Сейчас выйдет! Машет хвостом. Идет. Вот вышла. Так и есть — наш Серко!

— Что ты говоришь! — почти крикнул Биденко.

— Серко. Теперь ясно видеть.

— Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется. Я ж тебе говорил. А ты каркал.

Не в силах сдержать радостного волнения, Биденко сделал то, чего ни за что не позволял себе сделать при других обстоятельствах. Он резко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг.

Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался приподвинутым совсем близко. И по горизонту, среди дымчато-

го кустарника, медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом.

Действительно, это был Серко. Но пастушка возле него не было.

— Отстал малый. Верно, притомился. Сейчас покажется.

— Небось!

И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопотом разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, уловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было.

Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук.

— Не услышал. Ты давай попромче.

Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Биденко со всевозможной осторожностью, необычайно медленно подтялся, стал на колени.

Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве, открывшемся перед глазами, попрежнему не было заметно ни одной живой души.

— Валуется парень. Незаметно хочет подобраться, — сказал Биденко, тревожно поглядывая из Горбунова, как бы ища у него подтверждения догадки, которой сам не верил.

Горбунов молчал.

— А ну-ка, Кузьма, покрячь еще. Может, отзовется.

Горбунов снова покрякал. И снова никто не отозвался.

— Ваня-а! Пастушок! — позвал Биденко, забывая всякую осторожность.

— Кричи не кричи... — сумрачно сказал Горбунов, — дело ясно.

Между тем серая кляча продолжала приближаться. Через каждые два шага она останавливалась и опускала длинную худую шею для того, чтобы уцепиться желтыми зубами хоть несколько гнилых травинок. С ее морды, поросшей редким седым волосом, висела длинная резинка слюны.

Костлявые ноги дрожали. И над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мякче глубокле ямкины.

— Серко, Серко! — тихо позвал Горбунов и осторожно пошевелился.

Лошадь устало наострила одно ухо и, хромая, побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина.

— Где же пастушок, Серко? — спросил Биденко. — Где ты его потерял?

Серко стоял неподвижно, согнув большую ногу. Его разбитые бабки были облиты черной болотной грязью. Старая кожа, поросшая

желтовато-белой шерстью, водрагивала на ребрах. Мерлуновое, перламутровое белмо с ступой покорностью слепо смотрело в землю. И только сухой хвост на облысевшей репнице тревожно помахивался из стороны в сторону.

Серко была старая, умная обозная лошадь. Если бы он умел говорить, он многое бы рассказал разведчикам. Но они и так поняли многое. Во всяком случае они поняли главное: с пастушкой случилась беда.

Позавчера в сумерках Биденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню. Они взяли его впервые, не дожив по команде, что берут с собою мальчика.

У них было задание как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым, в случае продвижения, можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болота вперед.

Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодные места будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, а главное, собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привести с собою хорошего «языка» — штабного или артиллерийского офицера. Но это как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, трудно проходную местность.

Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели поместить в баньке, остричь и обмундировать, его бы вряд ли взяли в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, — как это всегда бывает на фронте, — батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять все смешалось. Тылы отстали. Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своем натуральном виде — заросший, нечесаный, босой, с холщевой торбой — прямой деревенский пастушок.

Какому немцу, встретившему такого мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь.

Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой. Ну что вам стоит? Я здесь каждый кустику знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете. Дяденька!»

Он ходил за разведчиком по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми ясными глазами. Он так

робко трогал за рукав... Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто.

Прежде они, — как и подобало хорошим разведчикам, — обдумали это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводник, и поставили ему точное, строго ограниченное задание.

Это боевое задание заключалось в том, что пастушок должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об опасности.

Для этого, чтобы Ваня еще больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собою лошадь, явобы убежавшую и теперь найденную.

Нескользящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая, рваная кляча серой масти, то есть белого цвета, давно уже поддежавшая исключительно из спянок. Звали ее Серко.

Ваня свил себе из веревки настоящий пастушеский мунд, сделал для своего Серко веревочный повод и после полудня, ближе к рассвету, трое разведчиков — в их числе и Ваня со своей клячей — без особого труда перешли линию фронта.

Ваня с лошадью, не таясь, шел впереди, а метрах в ста сзади, один за другим, след-в-след, осторожно ползли Горбунов и Биденко.

Пройдя таким образом километра четыре, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет.

Было бы неправдой сказать, что он не испугался, когда он вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, три темных фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы. Ваня почувствовал не то что страх, — его охватил просто ужас. Слишком свежо еще было в его памяти все то, что он пережил за время своего пребывания «под немцами».

Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами.

Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую косящую клячу, стоявшую во тьме, как привидение.

— Ну, какого чорта ты здесь шляешься ночью, мерзавец! — крикнул немецкий, грубый, простуженный голос.

И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе с какими-то самодовольными горловыми придыханиями мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему посты-



лых немецких голосов всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получил столько пинков и затрещин.

Он быстро вдавил голову в плечи и закрыл голову, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Смерг больно пихнул его в зад, и каркающий голос с придыханием крикнул по-немецки:

— Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают. А то еще раз как дам!

Мальчик не понимал по-немецки. Но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо на своей шкуре изучил этот немецкий смысл.

И вдруг страх исчез. Всею его душу охватила и потрясла ярость. Как! Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Енаклева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванница?

Ваннины глаза налились кровью. Еще миг — и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз его горло. Он знал, что он не один. Он знал, что рядом — друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат немцев всех до одного. Но мальчик также твердо помнил, что они находятся в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания.

Тогда си могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошадейю.

— Ой, дяденька, не бейте! — жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. — Я коня своего искал. Насилу нашел. Целый день и целую ночь мотался. Запутал. У, холера! — закричал он, замахиваясь кутом на Серко. — Погибели на тебя нету!

Он опять стал хныкать.

— Пустьте меня, дяденька. Я больше никогда не буду. Меня мамка дома дожидается. — И даже, как ему это ни было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет ее поцеловать.

— Пошел к черту, дурак! — сказал немец, смягчаясь. — Забирай свою дохлятину и проваливай. Да не смей больше шататься по ночам. Повесим!

Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом, и немецкий пикет скрылся в темноте.

Тогда Ваня осторожно покрякал по-утинному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.

В общем все обошлось благополучно.

Дальше дело пошло еще лучше.

Настало утро. День прошел без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно замечательно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника.

Пока Виленко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в курстаринке, Ваня уходил со своей клачей вперед и осматривал местность, потом он возвращался и крикал, давая знать, что путь свободен.

Так работать было гораздо удобнее и быстрее.

Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту все, что им удалось разведать по дороге. До быча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведенный батарее капитана Енаклева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрытно переправить орудия на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны. Это давало возможность капитану Енаклеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперед и громить отступающие немецкие колонны почти с тылу.

Но прозвезсти эту сложную разведку днем — особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки — было невозможно. Надо было дожидаться ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу, посреди болот, с тем чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было уже возвращаться домой.

Так и сделали. Переночевали на лугу, а часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего Серко и пошел, как обычно, вперед.

Виленко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было недалеко, и по их расчету Ваня должен был воротиться самое большее через час.

Но прошел час, потом два, потом три. А Ваня не возвращался. Вместо него пришел Серко один. Тогда разведчики поняли: с Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку.

Виленко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Все было

слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать пастушка немедленно, хотя бы это стоило им жизни.

Горбунов, как старшой, сделал Биденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу, от кочки к кочке, иногда останавливаясь для того, чтобы осмотреться.

На их счастье, туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот. Он даже как будто еще больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже, если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел разведчиков. Место было глухое, пустынное. Оно казалось непроходимым.

Вдруг позади Биденко и Горбунова послышалось какое-то хлопанье. Они обернулись. За ними плелся, припадая на раненую ногу Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным.

— Ступай назад, Серко. Не обнаруживай нас, — сказал Биденко с добродушной улыбкой. — Кому говорю, старый? Поворачивай. Гать.

Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать: «Не бросайте меня, люди добрые. Что я здесь буду делать один среди этого гнилого, мокрого луга, в этом страшном молочном тумане? Пожалейте старого коня».

И разведчики это поняли. Но как ни жалко им было бросать добрую и смирную животину — делать было нечего. Лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их.

— Эх, сердечная, — сказал Биденко со вздохом, подползая к Серко.

Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые, распухшие ноги клячи.

— Жалко нам, брат, тебя. Да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь. Жируй. Авось еще увидимся.

И разведчики поползли.

Серко попытался побежать вслед за ними. Но пути были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась прыгнуть. Она напрягла все свои силы. Но сил было слишком мало. Серко только сумел немного подвинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, поводя раздувшимися копытными боками.

Он жалобно посмотрел вслед разведчикам, слабо махнул хвостом, мигнул крупными белыми ресницами и растаял в тумане, как призрак.

Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушел Ваня. В иных местах на

топкой почве были еще довольно ясно заметны следы его босых ног.

Биденко смотрел на эти следы и думал: «Эх, ведь как же мы, право, непутевые. До сих пор не успели для парнишки обуви расстараться. Ну, да уж ладно. Найдем его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним. Будет у нас ходить красавчиком».

Когда началось болото, следы вовсе пропали. Теперь двигались по камышу, в направлении речки. Вокруг попережнему было туманно, безлюдно. Речка действительно оказалась недалеко.

Скоро разведчики увидели низкий луговой берег, кое-где поближе к воде пороеший густыми камышами. На противоположном высоком берегу сплел лес.

Прежде чем двинуться дальше, Горбунов и Биденко долго лежали, внимательно изучая местность. Берег речки хотя и был пуст, но внушал опасение. На поверхности еще довольно яркого, мокрого луга были видны многочисленные следы грузовиков. Судя по тому, что они были свежие, черные, как вакса, грузовики проезжали здесь совсем недавно. Возможно, они привозили сюда какой-то груз, вероятней всего — строительный лес, так как в некоторых местах на лугу валялись кучи свежих щепок.

Было похоже, что где-то недалеко совсем недавно строили мост. Несомненно, мост был тут. Только его срывали камыши. Но раз был мост, значит, была и охрана. И этого следовало опасаться. Что же касается леса на противоположном берегу, то в нем явно стояла воинская часть или находились штабы: в нескольких местах над лесом подымались дымки, а в одном месте на опушке, между корнями деревьев, просматривалось какое-то инженерное сооружение, тщательно затянутое зеленой маскировочной сетью. Это мог быть оружейный блиндаж, запасный наблюдательный пункт или бруствер нехотного окопа полного профиля.

Видно, немцы здесь сильно укрепились и подготовились к долговременной обороне.

Это было очень важное открытие, и разведчики напряженно всматривались в местность, стараясь запомнить все подробности для того, чтобы позже, когда представится возможность, нанести их на карту по памяти.

Однако, как бы то ни было, дольше оставаться здесь было невозможно. Надо было поскорее уходить. Но они медлили. Разве могли они бросить товарища в беде и вернуться в часть без Вани? А с другой стороны, что они еще могли сделать?

Вот они дошли до той речки, куда до них от-

правился мальчик. Вот они видят эту речку. Но что же дальше?

Следы мальчика потеряны. Если его действительно захватили немцы, то они его, конечно, уже давно отвели в какую-нибудь полевую комендатуру. Но, с другой стороны, на что бы понадобилось немцам задерживать маленького, оборванного деревенского мальчика, ведущего большую клячу? Мало ли их, этих нищих, голодных советских детей бродит у них в тылу? Всех не переловишь. А потом — куда их девать, кто будет с ними возиться? Теперь не до них, свою шкуру надо спасать.

Нет, было положительно невероятно, чтобы Ваню схватили немцы. А даже если и схватили. Какие улики могли найтись против мальчика? Ровным счетом никаких. Дырявая торба и в ней старый рваный бужвар. Только и всего.

В таком случае куда же он делся? Почему лошадь вернулась одна? Может быть, Ваня просто от них ушел, не выдержал, надоело? Но это было уже совсем невозможно. Не таков был Ваня.

Вернее всего, он дошел до речки, повернул назад, заблудился... Ваня заблудился. Нет, об этом смешно было думать.

Между тем время шло. Надо было принимать какое-нибудь решение.

Биденко и Горбунов лежали в небольшой заросли молодого дубняка, не сронившего еще своей жесткой коричневой листвы. Они лежали и напряженно думали.

Вдруг Биденко у самых своих глаз увидел на земле предмет, который заставил его чуть не крикнуть. Это был химический карандаш, тот самый маленький химический карандашик с маркой «Химуроль», который Биденко недавно подарил Ване и который Ваня постоянно таскал в своей торбе.

— Кузьма, — шепотом сказал Биденко, показывая глазами на карандаш.

Горбунов посмотрел и ахнул.

И тотчас множество мелких и даже мельчайших подробностей, на которые солдаты не обратили внимания именно потому, что эти подробности были так близко, сразу со всех сторон бросались им в глаза.

Они увидели пучок белого конского волоса, повисший на сучке. Они увидели втоптанную в землю недокуренную немецкую сигарету. Они увидели целый ворох листьев, сбитых с поломанного куста. Наконец они увидели немного подалее веревочный клут Вани.

Земля вокруг была истоптана, изрыта солдатскими сапогами, подбитыми железом.

Из всех этих подробностей перед ними вдруг встала страшная картина того, что здесь произошло несколько часов тому назад.

Теперь все стало ясно.

Они выбрали правильное направление. Именно по этому направлению шел сюда Ваня со своей лошастью. Они дошли до этих кустов. И именно тут, на том самом месте, где сейчас лежали Горбунов и Биденко, Ваню схватили немцы. Судя по всему, они схватили его внезапно и грубо.

Потоптанная земля, сломанные кусты, выпавший из торбы карандаш и отброшенный в сторону клут, недокуренная сигаретка — все говорило, что мальчик отчаянно сопротивлялся. А потом они его поволокли. Теперь разведчики ясно увидели на земле следы, показывающие в какую сторону потащили Ваню.

Следы вели по направлению к камышам, туда, где, по предположению Биденко и Горбунова, должен был находиться мост. Значит, немцы повели мальчика через мост, на ту сторону в лес, где по всем признакам у них был штаб или комендатура.

Тогда разведчики стали обсуждать предложение.

Они обсудили его быстро, но основательно, со всех сторон, как и подобало разведчикам-артиллеристам. Оставалось принять решение.

Биденко и Горбунов были между собой равны по званию, по заслугам и по сроку службы. Но в этой разведке начальником был назначен Горбунов. Стало быть, за Горбуновым оставалось последнее слово. И это последнее слово был приказ, не подлежащий обсуждению.

Прежде чем сказать свое решение, Горбунов крепко задумался. Биденко не сомневался в своем друге. Он был уверен, что решение будет наилучшее. Но когда Горбунов его высказал. Биденко опешил. Он мог ожидать всего, но только не этого.

— Вот что, Василий, — сказал Горбунов твердо. — Обстановка требует, чтобы мы с тобой рассредоточились. Попятно? Ты пойдешь обратно в часть. Собирайся. А я останусь здесь.

— Как? Как ты приказываешь? — переспросил Биденко.

— Приказываю тебе ворочаться в часть. А я останусь.

— Кузьма! — почти крикнул Биденко.

— Кончено, — коротко сказал Горбунов, сдвинув брови.

И Биденко понял, что больше говорить не о чем. Все же он сделал попытку объясниться:

— А как же пастушок?

— Я здесь останусь. Буду выручать.

— А я?

— Ты пойдешь в часть.

— Я, Кузьма, так располагаю. Мы здесь останемся вместе.

— Сказано, — сухо обрезал Горбунов.

— Да как же я вернусь без пастушка?— взмолился Биденко.— Нет, брат. Это дело не выйдет. Как хочешь, а я паренька не брошу. Голову положу, а выручу. Ведь это что же такое? Ведь он мне вроде как родной сын!..

— Он нам все как родной сын. А служба на первом месте. Знаешь, кому служим? Советскому Союзу. Небось, знаешь. Пойдешь в часть. А я здесь останусь.

— Не пойду в часть,— сказал Биденко, зло сунув глаза.

— Приказываю,— сказал Горбунов.— А не подчинишься, тогда я знаю, что мне с тобой делать. Понятно тебе? Слышь, Вася,— сказал он вдруг мягко.— Нешто я не понимаю? Я, друг, понимаю. Да что поделаешь? Батарея жлет наших данные. Ужели ж мы оставим ее слепой, без маршрута? Не дури, Вася. Я здесь останусь, а ты отправляйся в часть. Доставишь наши данные. Гляди, чтоб дошел благополучно. Берегись, пробирайся толково, чтоб не нарваться на немцев. На тебя— как на каменную гору. Доложишь командиру обстановку. Понятно?

— Понятно,— сказал Биденко, нутужив скулы.

Ему не надо было долго толковать. Был бы он на месте Горбунова, он бы поступил точно так же. Он понимал, что один из них обязан доставить данные разведки в часть. А то, что Горбунов отправил с документами его, было тоже понятно. Горбунов был командир группы. Он отвечает за каждого своего человека. Могли он вернуться в часть, не употребивши всех усилий для спасения пастушка?

— Исполни,— сказал Горбунов, передавая Биденко карту с отметками.

— Счастливо, Кузьма.

— Действуй, Василий.

— Слушаюсь.

И, не сказав больше ни слова, Биденко стал отползать. Наконец он пропал из глаз, слившись с бурой землей, растаял в тумане.

Горбунов остался один.

«Что же случилось с пастушкой?— думал он, ломая голову над неразрешенным вопросом.— Ну, что ж такое,— успокаивал он себя.— Его задержали немцы. Потащили в комендатуру или в штаб. Ку, допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани никаких нет. Мальчик и мальчик. Подержат и отпустят. Надо его, главное, не пропустить, когда он от них выйдет. Тогда вместе и вернемся в часть. Вот и ладно».

Но, утешая себя таким образом, Горбунов в глубине души чувствовал, что дело обстоит совсем не так просто, а гораздо хуже.

Было что-то, чего Горбунов не знал и не предвидел, но что именно?

И действительно, Горбунов не знал одной вещи. Если бы он ее знал, он бы похолодел от ужаса. Он не знал характера Вани Солнцева, всей живости его ума, всей силы его воображения и всей глубины его чистого, детского самолюбия, которые чуть не привели его к гибели.

Ване Солцеву было мало того, что его берут в разведку проводником. Он знал, что быть проводником — почетное, ответственное задание. Но ему этого было мало. Его слишком горячее, несчастное сердце требовало большего. Ему захотелось прославиться, как настоящий разведчик, и удивить всех.

Перед тем как отправиться в разведку, Ваня тайне от всех раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дурного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поносить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик у Вани уже был. А вместо записной книжки он решил воспользоваться букварем.

Таким образом, снарядившись по всем правилам, пастушок и стал действовать как настоящий разведчик.

Во время разведки, дожидаясь Вани, ушедшего вперед, Горбунов и Биденко попытки не имели, чем без них занимается мальчик. Они думали, что он просто идет со своей лошадкой, «изучает» местность, потом возвращается и докладывает, свободен ли путь.

Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вел самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливал азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры и цели.

Наконец он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, роши, реки, болота.

Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварем в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведет в камышах.

Нетрудно себе представить, что случилось потом.

Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поделать мальчик против двух солдат немецкого комендантского патруля?

Скрутив Ване за синюю руку и толкая его прикладами, они повели его через новый мост на гору, в лес.

Здесь они втолкнули его в глубокий, темный блиндаж и заперли.

15

Через некоторое время за Ваней пришел солдат и отвел его в другой блиндаж на допрос.

Блиндаж этот, над которым снаружи, между стволами сосен висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, теплый и освещался электричеством. В углу мурлыкало радио.

Посредине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина.

Мужчина был немецкий офицер в тесном френче, с просторным отложным воротником черного бархата, обшитым серебряным басоном, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы и сплющенное мясистое ухо.

Офицер имел вид человека, крайне утомленного бессонницей и раздраженного слишком ярким светом. Его черная суконная фуражка с широкими, остро выгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка, висела сзади на гвозде.

Эта фуражка, в особенности это старое, запылившее ухо с волосами в середине, произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого.

Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал ее про себя «учительницей».

На ней была старая кротовая кофта с лучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная, растянувшаяся на коленях юбка и серые резиновые сапоги. Белокурые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный след очков, которые она держала в руках и протираала кусочком замши. У нее были выпуклые жидко-голубые глаза с острыми зрачками.

Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развернутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей, той самой рощей, где он теперь находился.

Женщина быстро надела очки — золотые очки с толстыми стеклами без оправы — высморгалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом ученого скворца на деланно правильном русском языке:

— Подойди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя

спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились?

Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него еще гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях.

— Мальчик, ты страдаешь?

Ваня молчал.

— Развяжите паршивцу руки, — быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб. — Развяжите ребенку руки. Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился. Не так ли, мальчик?

Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг исподлобья быстрые взгляды.

— А теперь, — сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб, — а теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас. Мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать. Не так ли? Итак, скажи нам, кто ты таков, как тебя зовут, где ты живешь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укрепленном районе?

Ваня угрюмо опустил глаза.

— Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал, — сказал он всхлипывая. — Я коня своего искал. Насилу нашел. Целый день и целую ночь мотался. Заблудился. Сел отдохнуть. А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?

— Ну, ну, мальчик. Не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились. Не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители — отец, матушка?

— Я сирота.

— О! Бедный ребенок. Твои родители умерли, не так ли?

— Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили, — сказал Ваня со страшной, застывшей улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.

Немка засуетилась и стала вытирать платочком пористый нос.

— Да, да. Такова война, — быстро сказала немка. — Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик. Но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом. В хороший детский дом. А потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь? Не так ли?

— Фрау Мюллер, — с раздражением сказал офицер по-немецки желудочным, сварливым голосом, нетерпеливо барабанил пальцами по веснушчатому лбу. — Перестаньте разводить ан-

тимонии. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его яослал снимать схему нашего укрепленного района.

— Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребенка. А я ее хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоеваю его доверие, а потом он мне все скажет. Можете мне поверить. Я десять лет жила среди этого народа.

— Хорошо. Только не разводите антимонию. Мне это надоело. Скорей проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Я здесь вижу профессиональную работу. Действуйте!

— Итак, мальчик,—сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб,—ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители — мой папа и моя мама — долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более десяти лет. Ты видишь, как я говорю по-русски? Значительно лучше, чем ты. Я совсем, совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тетушкой. Не бойся. Называй меня своей тетушкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?

— Нашел.

— Ай-ай-ай! Нехорошо обманывать свою тетушку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай еще раз и скажи, откуда у тебя этот компас?

— Нашел,—с тупым упрямством повторил Ваня.

— Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы.

— Кто-нибудь потерял, а я нашел.

— Кто же потерял?

— Солдат какой-нибудь.

— Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?

Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.

— Ну, как же это получилось?

— Не знаю.

— Ты не знаешь? Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас,—нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником? Не правда ли? Скажи же нам, кто дал тебе компас?

— Никто.

— А как же?

— Нашел.

— Хорошо. Я тебе верю. Допустим — ты говоришь правду. Но в таком случае скажи: кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?

— Чего рисунки? Я не понимаю, про чего вы спрашиваете? — сказал Ваня тупо, утирая рукавом нос.

— Подойди-ка сюда. Пoblйже. Не бойся. Я тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?

— Чего — принадлежит? — сказал Ваня и захныкал. — Чего вы меня спрашиваете, не пойму.

— Чья это книга, — теряя терпение, сказала немка.

— Букварь-то?

— Да. Букварь. Чей он?

— Мой.

— А рисовал на нем кто?

— Чего-й-то рисовал?

— Эй, мальчик, ты не прикидывайся. Кто делал эту схему?

— Которую схему? — снова захныкал Ваня. — Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днем и ночью мотался. Отпустите меня, тетенька. Что я вам сделал?

— Иди сюда, говорю тебе! — крикнула немка, и ее глаза в очках сделались резкими, как у галки.

Она схватила мальчика за плечо пальцами, твердыми, как щипцы, рванула к столу, тынула носом в букварь.

— Вот это. Кто рисовал?

Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом, Ваня смотрел на обтрепанную страницу букваря, где поверх прописей и картинок была неумело, но довольно толково нарисована химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами.

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведал и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, означающая глубину — один метр, — а под палочкой буква, обозначающая качество дна — Т — твердое.

Теперь же Ваня понял, что против этого отпереться невозможно и он пропал.

— Кто это рисовал? — повторила немка, голосом, задрожавшим, как сильно натянутая металлическая струна.

— Не знаю, — сказал Ваня.

— И ты не знаешь? — сказала немка, и лицо ее сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь темнорозовое, как земляничное мыло.

И вдруг она проворно схватила мальчика за уши своими железными пальцами, с силой повернула его лицо вверх.

— Открой рот. Я тебе приказываю. Сию же минуту открой рот и покажи язык.

Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, всунула ему за щеку указательные пальцы и стала, как крючками, раздражать ему рот.

Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него и сказала весело.

— Теперь мы знаем.

Весь ванин язык был в лиловом анилине, потому что, рисуя схему, он все время брал в рот и старательно слюнявил химический карандаш.

— Итак, мальчик, — сказала немка, брезгливо вытирая о вязаную юбку свои толстые красные пальцы, — мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай. Не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь трех опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу.

— Я не знаю, про что вы меня спрашиваете, — сказал Ваня.

Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы между черной картинкой, изображающей топор, воткнутый в дерево, и красной прописью в сетке косых линеек: «Рабы не мы. Мы не рабы».

— Говори, — тихо сказала немка и задышала носом.

— Не скажу, — еще тише промолвил Ваня.

И в тот же миг он увидел, как рука офицера, с тонким обручальным кольцом на пальце, медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо нездорового цвета с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком.

Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули и оглушительная пощечина отбросила мальчика к стене.

Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил вторую пощечину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть.

Он стоял, шатаясь, перед столом, и теперь на букварь из его носа калала кровь, заливая пропись «Рабы не мы. Мы не рабы».

Перед глазами мальчика лежали ослепительно белые и ослепительно черные значки, слившиеся попарно. В ушах гудело, как будто бы он находился в пустом котле и по этому

котлу снаружи били молотком. И Ваня услышал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далеким.

— Теперь ты скажешь?

— Тетенька, не бейте меня, — закричал мальчик, в ужасе закрывая голову руками.

— Теперь ты скажешь? — нежно повторил далекий голос.

— Не скажу, — еле двигая губами, прошептал мальчик.

Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа и как немка кричала ему вслед:

— Подожди, мой голубчик! Ты у нас еще заговоришь, после того как три дня не получишь воды и пищи.

## 16

Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, трясших землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки, качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными массами. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже полузасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выкопаться. Он обдирал себе ногти. Он не знал, сколько времени он был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чувствовал голод, сильный до тошноты.

Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью.

Его зубы стучали. Пальцы окоченели, еле разгибались. Голова еще болела, но сознание было ясное, отчетливое.

Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда его заперли перед допросом, и что вокруг бомбежка.

С большим трудом, ятыкаясь на трясущиеся стены, мальчик пополз отыскивать дверь. Он искал ее долго и, наконец, нашел. Но она была заперта снаружи и не поддавалась.

Вдруг совсем близко, над самой головой, раздался удар такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать. Сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько бревен.

Досчатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. Сквозь раскиданные бревна наката ярко ударил в глаза едкий дневной свет. Послышался слитный звук множества пулеметов, работающих совсем близко, как бы наперегонки.

Бомба, разметавшая блиндаж, где сидел Ваня, была последняя. В наступившей тишине отовсюду отчетливо слышалась машина боя, пущенная полным ходом. В ее беспощадном, механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный, согласный хор че-

ловческих голосов, как будто бы где-то певших: а-а-а-а-а!

И в ваином сознания повторилась фраза, уже однажды слышанная им у разведчиков: «Пошла парца полей в атаку».

По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из блиндажа и припал к земле.

Он увидел лес, тот самый лес, в который его так недавно приволокли немцы. Тогда в этом лесу был полный порядок, спокойствие, тишина. Всюду, как в парке, были проложены дорожки, посыпанные речным песком; через канавы были перекиннуты хорошенькие мостики с перильцами, сделанными из белых березовых сучьев; над штабными блиндажами висели маскировочные сети с нашатыми на них зелеными квадратиками и шишками; под полосатыми грибами стояли неподвижные часовые; во всех направлениях тянулись черные и красные телефонные провода, где-то в чаще дрожала походная электрическая станция; в специальных, глубоко вырезанных ямах помещались прикрытые ветками штабные автобусы и легковые «опшель-адмиралы».

Теперь же этот удобно оборудованный немецкий штабной лес был изуродован до неузнаваемости.

Вокруг рыжих дымящихся воронок лежали вырванные с корнем сосны, разноцветные обломки автомобилей, трупы немцев в обгоревших и еще дымящихся шинелях. Высоко на ветках болтались клочки маскировочных сетей. В воздухе стоял удушающий пороховой чад.

Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели пули, сбивая кору и отрубая ветки.

Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши еще в него не вошли. Это была короткая и вместе с тем томительно долгая пауза, во время которой батареи поспешно меняют позиции, минометчики взваливают на плечи свои минометы, телефонисты бегут, разматывая на бегу катушки, офицеры связи проносятся верхом на граненых броневиках, минеры водят перед собой длинными щупами и стрелки с винтовками наперевес пробегают, уже не ложась, по земле, где пять минут назад был неприятель.

С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же, наконец, покажутся свои.

И вот они показались.

Первым показался большой солдат в грязной разорванной, развеваемой плащ-палатке. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменял диск в автомате, потом лег и прицелился.

Ване подумалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился все-

го несколько секунд. Его лицо зорко и беспощадно всматривалось из-под откинутого капюшона в глубины леса. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с крутым черным диском затрясся от короткой очереди.

И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но, боже мой, как он изменился. Это был все тот же богатырь — плотный, широкий, даже толстый, но куда девалась его добродушная, свойская, щербатая улыбка. Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъяренное боем, темное от копоти, смотрело грозно.

Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть чистым выбритым, белым, розовым, добродушным.

Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен.

— Дядя Горбунов! — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекрыть шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.

На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка — та, прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.

— Пастушок! Ванюшка! — крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим высоким голосом. — Будь ты неладен! Гляди — жив! А я думал, ты и вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь, — говорил он, одним махом отившись рядом с Ваней, — ну, брат, задал же ты нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал его к себе, потом взял горячими руками за щеки и два раза поцеловал в губы жесткими, солдатскими губами.

Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его большого потного тела, распаренного боем.

Все, что с ним происходило, казалось Ване сном, чудом. Ему хотелось еще крепче прижаться к Горбунову, спрятаться под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно — хоть пять часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат и что солдату не подобают такие глупости.

— Дядя Горбунов, — сказал он быстро, — тут в лесу есть один штабной блиндаж, где они меня допрашивали. Куда лучше, чем тот наш с карбидной лампой. Раза в два больше.

— Да что ты говоришь!

— Честное батарейское.

— А теплый? — озабоченно спросил Горбунов.

— Ого! Теплей не надо. И там у них еще радио было. Все время играло.

— Радио? Это нам очень надо, — засуетился Горбунов, почувствовав прилив хозяйственной деятельности, — а ну, где этот блиндаж, показывай!



— Тут недалеко.

— Так давай, будем занимать. А то другие для себя захватят. А я уж давно интересовался достать для команды такой блиндаж. Чтобы в нем и радио было. Наша батарея ахурат должна идти по этому направлению.

Они бросились к блиндажу.

— Этот?—спросил Горбунов.

— Этот, — сказал Ваня, презрительно сузив глаза.

Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально принесенный для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами: «Занято командой разведчиков взвода управления первой непобедимой батареей Н-ского артполка. Ефрейтор Горбунов».

А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади легкими семидесятишестимиллиметровыми пушками.

Это меняла огневую позицию батарея капитана Енаклева.

## 17

— Ну, пастушок, конечно твое дело. Погулял и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем.

С такими словами ефрейтор Биденко бросил на койку объемистый сверток с обмундированием.

Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был тутو стянут этот сверток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастерку с погонами, бязевое белье, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треухую шапку с красной звездой, а главное—сапоги. Превосходные маленькие юфтевые сапоги на кожаных подметках, со светлыми точками деревянных гвоздей, ажуратно сточенных рашпидем.

Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней все время. Он предвкушал ее. Но, когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам.

У него захватило дух.

Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые новенькие вещи — громадное богатство—теперь принадлежат ему.

Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдергивался, словно пушечки были раскаленные.

Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Биденко.

— Это все мне? — наконец, сказал он робко.

— Безусловно.

— Нет, скажите правду, дядя Биденко.

— Правду говорю.

— Честное батарейское?

— Честное батарейское.

— И честное разведчиковое?

— Это само собой понятно, — сказал Биденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. — Я даже вместо тебя в ведомости расписался.

— Ух ты, сколько вещей!

— Вещевое довольствие, — строго заметил Биденко. — Сколько положено, столько и есть. Ни больше, ни меньше.

Только теперь, услышав магические слова: «ведомость», «вещевое довольствие», а главное «положено», Ваня, наконец, понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему.

Тогда он, не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет.

Наконец, все перебрав и всем насладившись, Ваня сказал:

— Можно уже надевать обмундирование?

Но Биденко покачал головой и засмеялся.

— Ишь ты какой скорый. Одеваться. Попробуешь. Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим, затем патлы твои снимем, а уж потом и воина из тебя делать будем.

Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему ни хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и, наконец, превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему; он уже чувствовал, хотя еще и не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самостоятельный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Биденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, заявившись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулем и поплатиться жизнью, скрывался в немецком «штабном лесу», разыскивая Ваню.

Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твердо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня так же не знал, что когда Биденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, то капитан Енаклев пришел в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Сидых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыск мальчика группу разведчиков в пять человек. К счастью, в этот же день началось повое наступление, и все решилось само собой.

На этот раз немецкий фронт был прорван

более чем на сто километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более тридцати километров вперед, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок.

Потому, к исходу этого славного дня, «штабной лес» — так его именовали на картах и в донесениях — оказался у нас в глубоком тылу, а наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для его команды, не понадобился.

Все же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже все осталось, как было. Даже черная фуражка висела на тесовой стене.

Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, попрежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы», запачканной высохшей кровью.

Наступление развивалось быстро. Тылы отстали. Поэтому прошло довольно много времени, пока получилось ваняно обмундирование. Затем обмундирование нужно было еще перешить и подогнать по росту мальчика.

В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили все свое влияние для того, чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное, парикмахера с машинкой.

Хозяйственный Горбунов не поспешил на угощение. В ход пошла и свиная тушювка и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и флажка чистого авиационного спирта.

За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскиали во втором эшелоне у гвардейских минометчиков, ухаживали, как за любимыми родственниками, не щадя продуктов.

Зато все ваняно обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало единодушное восхищение разведчиков. Такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголки.

А посмотреть на ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей.

Теперь все стояло только за баней и парикмахером.

Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер, наконец, явился, предшествуемый Горбуновым.

— Ну-ка, друзья. Попрошу вас. Не раскидывайтесь. Освободите лишнее место. А то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия, — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посредине тесной, маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. — Иди сюда, Ваня. Садись. Не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь.

Чувствуя необыкновенно сильное волнение

человека, вступающего в новую, прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени.

Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого пастушка, готового к превращению в солдата.

Парикмахер был молодой человек с добрыми воспаленными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погонов его не было видно, так как на нем поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький, совсем детский вязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребенка.

Он был военторговый парикмахер. Фамилия его была Глазс. Но по фамилии его называли редко. А большей частью называли его «Восемь Сорок».

Это прозвище утвердилось за сержантом Глазс еще под Орлом, после того как он однажды побрил приезжего писателя.

Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени, как «безыменная высотка к северо-западу от железнодорожного виадука».

Бритье происходило метрах в пятистах от немецкого переднего края. Немцы все время вели по «безыменной высотке» так называемый тревожащий огонь из миномета.

Но сержант Глазс любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более что, как известно, немецкий тревожащий огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских.

Сержант Глазс брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в Военторге на должную высоту.

Он побрил писателя очень тщательно два раза — один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел протереть еще и третий раз, но писатель сказал:

— Не надо.

Затем Глазс подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает — прямые, косые или севастопольские полубачки?

— Все равно, — сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безыменной высотки.

— В таком случае я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-минометчики предпочитают косые.

— Ну, пусть будут косые, — сказал писатель.

— Вас не беспокоит? — спросил Глазс,

некоторое раздражение в голосе писателя.

— Я тороплюсь, — сказал писатель.

— Пять минут. Не больше, — сказал Глазс. — Я должен вам сделать виски как следует быть, для того чтобы и вы могли иметь представление о работе военоторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи.

В это время, когда Глазс делал писателю второй висок, довольно близко от них разорвалась мина.

— Не беспокойтесь, — сказал Глазс, — он падает наобум. Это никого не волнует. Разрешите поинтересоваться?

— У вас есть и пудра? — удивился писатель.

— Разумеется. У нас есть все, что положено для культурной парикмахерской.

— Как, даже одеколон? — еще больше изумился писатель.

— Разумеется, — сказал Глазс. — Разрешите освежить?

— Освежите, — сказал писатель.

Глазс вынул из кармана склянку, сунул в нее трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо вафельным полотенцем, как вдруг прислушался и сказал:

— А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель.

И едва они успели спрыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глазса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало.

Когда ветер унес коричневый дым, писатель заметил не без юмора:

— Сколько прикажете?

Тогда парикмахер поднял свои воспаленные глаза к небу, некоторое время шевелил губами и, наконец, сказал:

— Восемь сорок.

Писатель этого не ожидал. Он никак не предполагал, что за бритье берут деньги даже на фронте.

— Дороговато, — сказал он довольно мрачно.

— Такие цены, — вздохнул парикмахер, пожимая плечами. — Если угодно, могу вам показать прейскурант, утвержденный Военторгом. Но если вы почему-либо не при деньгах, — не беспокойтесь. Я могу подождать. Вы мне отдадите после. Какая разница?

Вот каков был человек, явившийся брить пастушка.

Он развернул вафельное полотенце, где у него были завернуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке, полотенце же завязал Ване вокруг шеи.

— Давно не был в бане? — деловито спросил он мальчика.

— С сорок первого года, — сказал Ваня.

— Сравнительно не так давно, — сказал Восемь-Сорок.

Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что Восемь-Сорок человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом.

— Сто грамм сейчас будете пить или после работы? — спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушочки.

— До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать, а уже потом выпивать, — сказал парикмахер меланхолично. — Что будем делать с молодым человеком? — спросил он, поднимая двумя пальцами волосы мальчика на затылке.

— Постричь надо ребенка, — жалостным, бабьим голосом сказал Виденко, с нежностью глядя на пастушка.

— Это ясно, — сказал Восемь-Сорок, — но возникает вопрос: как именно стричь? Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребенку, есть под бокс, есть с чубчиком.

— С чубчиком, — сказал Ваня.

— Почему именно с чубчиком?

— Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста. У ихнего сына полка. У ефрейтора Вознесенского. Красивый чубчик.

— Знаю. Моя работа, — сказал парикмахер.

— Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит, — строго сказал Виденко. — Для конника — да. А для батарейца — нет. Батарейца надо стричь под ноль-ноль. Чтоб, как шаром покати.

— Ну, брат, не думаю, — сказал Горбунов. — Под ноль это скорее всего годится для пехотяника. А для артиллериста — никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы — шаром покати? Скорее всего артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходящее.

— Под бокс это для авиации, — глухо сказал кто-то из угла.

— Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребенку.

— Это уж будет слишком по-танкистски.

— Верно, братцы. Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видно, что малый — артиллерист.

Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о ванной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, Восемь-Сорок сказал со снисходительной улыбкой:

— Хорошо. Теперь я его буду стричь так, как я то сам себе мыслю. Мальчик, натни голову.

И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребенку.

— Только с чубчиком, — жалобно сказал Ваня.

— И височки не забудьте покосее, — добавил Горбунов.

— Не беспокойтесь, — сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы.

На вафельное полотенце посыпались густые хлопья ванильных волос.

Восемь-Сорок был великий мастер своего дела. Это знали все. Но тут он превзошел самого себя. Он стриг мальчика и так и так, всеми способами и на все фасоны.

С ловкостью фокусника в его руках менялись инструменты. То мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния, бритва, прикасаясь к вискам.

И по мере того как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебю изменялась.

Ваня ежился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголенной голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их пастушок на глазах превращается в маленького солдатика.

Его острые уши, освобожденные из-под волос, казались несколько великоваты, шейка несколько тонка, но зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый — прямой солдатский лоб, но только с небольшой, хорошенькой челочкой.

Челочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская челка.

— Ну, брат, конечно дело! — воскликнул в восторге Горбунов. — Сняли с нашего пастушка крышу.

Ване страсть как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, но парикмахер, как истинный артист и выскательный художник, еще долго возился, окончательно отделявая свое произведение.

Наконец он обмахнул ванину голову веничком и подул на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться. Глаза жгуче зашипало. Из глаз брызнули слезы.

— Готово, — сказал парикмахер, сдерживая с Вани полотенце, — любуйся.

Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, облеенное позати обоями, а в зеркале чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика, со светлой голой голов-

кой, крупными ушами, крошечной льняной челочкой и радостно раскрытыми синими глазами.

Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони и голове стало щекотно.

— Чубчик, — восхищенно прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики.

— Не чубчик, а челочка, — наставительно сказал Биденко.

— Пускай челочка, — с нежной улыбкой согласился Ваня.

— Ну, а теперь, брат, в баньку!

180

Пока знаменитый мастер заворачивал инструмент в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные сто граммов и закусывал, Горбунов и Биденко повели мальчика в баню.

Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печи, сделанной из железной бочки и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного пахла бензином, но для Вани, не мывшегося уже три года, эта банька показалась раем.

Оба дружка, Горбунов и Биденко, знали толк в банях.

Они сами любили париться, да и других любили хорошенько попарить.

Они вымыли мальчика пасту.

Для такого случая Горбунов не пожалел куска душистого мыла, которое уже два года лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Биденко разжился у земляков из батальона капитана Ахунбаева рогожей и нацинал из нее отличной мочалы.

Что касается березовых веников, то, к немалому изумлению Вани, они тоже нашлись у запасливого Горбунова.

В бане горел фонарь «летучая мышь».

В жарком, туманном воздухе, насыщенном крепким духом распаренного березового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика, наклоня головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок.

Их богатырские тени, как балки, пробивали туман.

В капле-нибудь полчаса они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и светился насквозь, как раскаленная железная печка.

Но, конечно, добиться этого было не так то легко.

Биденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы для того, чтобы смыть с мальчика трехлетнюю грязь. Они по очере-

ли терли ему спину рогожной мочалой, они покрывали его тело горячей душистой мыльной пеной, они обливали его кипятком из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлепали его в два веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку «мужик и медведь», причем в особенности напоминал медведя голый Горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы.

В пяти водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили.

Первая вода потекла с него до того черная, что даже показалась синей, как чернила. Вторая вода была просто черная. Третья вода была серая. Четвертая — нежно-голубая. И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.

— Ну, брат, намучились с тобой, сил нет, — сказал Горбунов, выгирая с лица ст, — тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а скорее всего наждачной бумагой.

— Или даже рашпилем, — добавил Биденко, с удовольствием разглядывая хотя и худую, но стройную, крепкую фигурку папушка с прямыми, сидальными ногами и по-детски острыми ключицами.

Особенно же умилили разведчиков ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорик.

Ваня вытирался собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное белье — рубаху и подштанники с оловянными пуговицами.

И вот наступила великая минута. Ваня, наконец, надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастерку с воротничком, аккуратно подшитым белым полотняным воротничком. Ваня почувствовал на своих плечах твердые картонки погонов и шнурочки, которыми эти погоны были привязаны к гимнастерке сквозь специальные дырочки.

Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии.

Он стоял с мокрой челочкой босиком на полу предбанника, усталого можжевельником. Он смотрел, подняв глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая: «Ну как? Правильно я обмундирываюсь?»

Но они молчали, внимательно наблюдая, как он одевается. Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами стал застегивать толстый воротник и тесные рукава.

С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звездочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из паль-

цев. Но мальчик, упрямо сжав губы, все-таки, наконец, справился с ними.

Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застегнутый воротник плотно облегал шею, делал ее твердой, прямой.

Оставалось только надеть пояс и обуться.

Мальчик был в затруднении. Он не знал, что «положено» — надевать сначала пояс или сапоги. Он вопросительно посмотрел на Биденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги.

— Правильно, — сказал Биденко.

Ваня натянул белые нитяные носки и нерешительно взял портянки. Он совсем забыл, как с ними надо обращаться.

Горбунов легонько толкнул локтем Биденко. Ваня сердито нахмурился и покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбунов и Биденко молчали. Ваня взял сапог и сумел в него обмотанную ногу, но она застряла в голенище. Ваня стал тянуть ее назад и с трудом вытягивал.

— Не лезет, — сказал он отдуваясь.

Разведчики молчали. Ваня покраснел еще больше.

— А, черт! — сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог.

— Не лезет? — сказал Биденко сочувственно.

— Не лезет, — сказал Ваня кряхтя.

— Значит, узкие, — сказал Горбунов.

— Да, — сказал Биденко и вздохнул. — Никуда не годятся сапоги. Испортил проклятый сапожник. Придется их выкинуть. Верно, Чалдон?

— Не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину.

Ваня испуганно посмотрел на Горбунова.

— Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, налезут.

— Без портянки нельзя. Не положено.

Неумолимое слово «не положено» привело мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог. Не это тоже не вышло. Нога прочно застряла. Ни туда, ни сюда.

— Плохо дело, — сказал спокойно Биденко.

— Погоди, — сказал Горбунов. — А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась?

— Ага! Чересчур толстая! — неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что дело тут совсем не в сапоге и не в портянке и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Биденко отлично знают, да только не хотят ему сказать; пытаются его,

Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить.

— Так что, пастушок, — сказал Биденко строго, назидательно, — выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть, как положено? Никакой ты не батареец, друг сердечный. Стало быть, одно. Переодеть тебя обратно в гражданское и отправить в тыл. Верно?

Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл.

— Такие-то дела, Ванюшка, — продолжал Биденко. — Но я сказал это только так, к примеру. В тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошел приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть, одно. Придется тебе научиться заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину. И это будет твоя первая солдатская наука. Гляди.

С этими словами Биденко разостлал на полу свою портянку и твердо поставил на нее босую ногу. Он поставил ее немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подсунил под пальцы. Затем он сильно натянул длинную сторону портянки так, что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем и вдруг, с молниеносной быстротой, легким, точным, воздушным движением, запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки.

Теперь его нога туго, без единой морщинки, была спеленута, как ребенок.

— Куколка! — сказал Биденко и надел сапог.

Он надел сапог и, не без щегольства, притопнул каблучком.

— Красота, — сказал Горбунов, — можешь сделать так?

Ваня во все глаза, с восхищением смотрел на действия Биденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить все это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться.

— А ну-ка, дядя Биденко, покажи мне еще один раз.

— Изволь, брат.

И Биденко обернул портянкой вторую ногу, и надел на нее сапог, и притопнул с еще большей быстротой и точностью.

— Заметил?

— Заметил, — сказал Ваня, став необыкновенно серьезным.

Он разостлал на лавке свою портянку, совершенно так же, как это сделал Биденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на нее ногу. Вид у него был смущенный, даже робкий. Но Ваня притворился. В его опущенных глазах нет-нет да и продвигивалась сквозь ресницы синяя озорная искорка.

Для того чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купанья.

И вдруг в один миг он обернул ногу портянкой по всем правилам — туго, почти без единой морщинки.

— Куколка! — крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком.

— Спылен! — сказал Горбунов, обменявшись с Биденко многозначительным взглядом.

С каждым днем мальчик правился им все больше и больше. Они не ошиблись в нем. Это действительно был толковый, смысленный парнишка, который все схватывал на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат.

Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким, скрипучим ремнем, оба разведчика даже захохотали от удовольствия — такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли.

— Хорошо, — сказал Биденко. — Молодец, пастушок. Вот теперь ты настоящий вояка!

Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен.

— А ну-ка подойди. Два шага вперед! — командовал он.

И когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак.

— Никуда, брат, не годится. У тебя пояс болтается, как на корове седло. Целый кулак вошел. А положено, чтобы два пальца входили. Отставить.

Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Биденко достал из необъятного кармана своих шаровар ножик и проколол в вашином поясе еще одну дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню, как положено.

Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастерку и все складки сгнал назад.

— Верно, — сказал Горбунов. — Теперь молодец.

Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели еще разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошел сержант Егоров.

Он окинул мальчика быстрым, внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания.

— Пастушок, — сказал он, — живо соберайся. К командиру батареи.

На войне все совершается быстро. Судьба солдат меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть.

И через две минуты Ваня в новой шинели и новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной, скользкой голове, уже шел по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.

## 19

Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха, капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы.

Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боев. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени.

Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. Об его несчастьи и об его одиночестве почти никто в полку не знал и лишь немногие догадывались.

Батарея сделалась семьей капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние, семейные дела. Этими-то семейными делами батарея капитан Енакиев обычно занимался в дни своего отдыха.

К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева.

Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном, деревенском пастушке с холщевой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих, ясных глазах.

Капитан Енакиев, так же как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика.

Но разведчики полюбили Ваню как-то весело, может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внесшим так много разнообразия в их суровую, боевую жизнь.

Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растрогал в его душе еще не зажившую рану.

Разрешив разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Енакиев не забыл о нем. Каждый раз, как лейтенант Седых докладывал о делах взвода управления, капитан Енакиев непременно спрашивал и о мальчике.

Он часто о нем думал. И, думая о нем, привлекать его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы семь лет, но которого уже нет и больше никогда не будет на свете.

Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет. Он ничуть не был на него похож — ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был еще слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определенный характер. А Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику.

Мальчика уже давно не было, а любовь все не умирала.

Когда капитану Енакиеву донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в «штабном лесу», он очень рассердился. Только тогда он понял, как ему дорог этот веселый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту Седых, если бы дело не кончилось благополучно.

Капитан Енакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную.

По множеству мелких признаков, которые всегда отличало место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого по обычаю разведчиков не расспрашивая, сам быстро нашел блиндаж капитана Енакиева.

Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подметками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж.

Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, которые всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира.

Капитан Енакиев сидел по-домашнему, без сапог, в расстегнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка, на походной койке, застланной попоной.

Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке.

Без шинели и без фуражки, с несколькими потертыми орденскими ленточками на кителе, с небольшою проседью в темных висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз.

Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал:

— Здравствуйте, дяденька!

Капитан Енакиев посмотрел на него темными глазами, окруженными суховатыми морщинами, и слегка прищурился. В первую минуту он не узнал пастушка, Ваню, в этом стройном и довольно высоком солдате — сапоги прибавляли ему роста — с круглой, крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами.

— Здравствуйте, дяденька, — повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду.

Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик, подтянул голенища сапог и положил на колени руки с шапкой.

— Ты кто такой? — наконец сказал капитан с холодным любопытством.

Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия.

— Это же я, Ваня, пастушок, — сказал мальчик, широко улыбаясь. — Не узнали меня разве?

Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив. Лицо его стало еще холодней.

— Ваня? — прищурился, сказал он. — Пастушок?

— Ага.

— А во что это ты нарядился? Что это у тебя на плечах за штучки?

Ваня слегка растерялся.

— Это погоны, — сказал он неуверенно.

— Зачем?

— Положено.

— Ах, положено. Для чего же положено?

— Всем солдатам положено, — сказал Ваня, удивляясь неосведомленности капитана.

— Так ведь это солдатам. А ты разве солдат?

— А как же! — с гордостью сказал Ваня. — Приказом даже прошел. Вещевое довольствие нынче получил. Новенькое. На красоту.

— Не вижу.

— Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны — глядите, какие пушечки на погонах. Видите?

— Пушки на погонах вижу, а солдата не вижу.

— Так я же самый и есть солдат, — окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана прошептал Ваня, глупо улыбаясь.

— Нет, друг мой, ты не солдат.

Капитан Енакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол истори-

ческий журнал, заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул:

— Так солдат не является к своему командиру батареи. Встать!

Ваня вскочил, вытянулся и обмер.

— Отставить! Явиться сызнова.

И тут только мальчик сообразил, что, всецело занятый своим обмундированием, он забыл все на свете — и кто он такой, и где находится.

Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложивший за хлястик, и снова вошел в блиндаж, но уже совсем по-другому.

Он вошел строевым шагом, шельнул сапогами, коротко бросил руку к козырьку и коротко оторвал ее вниз.

— Разрешите войти? — крикнул он пискливым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным.

— Войдите.

— Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев.

— Вот это другой табак, — смеясь отливил глазами, сказал капитан Енакиев. — Здравствуйте, красноармеец Солнцев.

— Здравия желаю, товарищ капитан! — тихо ответил Ваня.

Теперь уже капитан Енакиев не скрывал веселой, добродушной улыбки.

— Силен! — сказал он то самое, очень распространенное на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Биденко, и от других разведчиков. — Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюшка. Давай садись. Потолкуем. Соболев, чай поспел? — крикнул капитан Енакиев.

— Так точно, поспел, — сказал Соболев, появляясь с большим чайником, охваченным паром.

— Наливай. Два стакана. Для меня и для красноармейца Солнцева. А то он подумает, что мы с тобой живем хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев?

— Это уж как водится, — сказал Соболев, тоном своим давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках как о людях, хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим утешением.

Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат.

И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь.

Сахар, правда, был не рафинад, а желкий, но зато Соболев подал его в стеклянной вазочке. Свиной тушонки с картошкой тоже не было. Но зато капитан Енакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный Октябрь» и вы-



ложил плитку шоколада «Спорт», что заставило пастушка почти онеметь от восхищения.

Капитан Енакиев с веселым, оживлением смотрел на Ваню.

— Ну, пастушок, говори, где лучше — у нас или у разведчиков?

Ваня чувствовал, что здесь лучше. Но ему не хотелось обижать разведчиков и отзыватьсь о них дурно, в особенности за глаза.

Он подумал и сказал уклончиво:

— У вас богаче, товарищ капитан.

— А ты, Ванюша, хитрый. Своих в обиду не даешь. Верно, Соболев? Не дает своих в обиду?

— Точно. Разве солдат своих в обиду даст?

— Ну, ладно, Соболев. Пока можешь быть свободен. А мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душе. Такие-то дела, Ванюша, — сказал капитан Енакиев, когда Соболев ушел к себе за перегородку. — Что же мне с тобой дальше делать, вот в чем вопрос?

Ваня испугался, что его снова хотят отправить в тыл. Он вскочил с ящика и вытянулся перед своим командиром.

— Виноват, товарищ капитан. Честное батареиское — больше не повторится.

— Чего не повторится?

— Что явился не как положено.

— Да, брат. Явился ты, надо прямо сказать, неважно. Отвратительно явился. Но это дело поправимое. Научишься. Ты парень смысленный. Да ты что стоишь? Садись. Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному.

Ваня сел.

— Так вот я и говорю. Что мне с тобой делать? Ты ведь хотя еще и не большой, но все же вполне человек. Живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак вельзя промахнуться. А?

Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души.

Как непохож был этот маленький, стройный солдатик с нежной, как у девочки, шей, натертой грубым воротником шинели, на того простоволосого, босого пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка. Как неизвестнаемо он переменялся за такое короткое время. Изменилась ли так же и его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла ли, возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит?

И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьезен. Он стал так серьезен, что даже его чистый выпуклый детский лоб покрылся морщинами, как у взрослого солдата.

Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной,

веселый пастушок. Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни.

И это сделали не слова капитана Енакиева — простые, серьезные слова о жизни — и даже не суровый, нежный взгляд его немного усталых глаз, окруженных суховатыми морщинами, а это сделала та живая, деятельная, стовеская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, в сущности, очень опустошенной душой. А как ей была необходима такая любовь, как душа ее бессознательно жаждала!

Они оба долго молчали — командир батареи и Ваня, — соединенные одним могущественным чувством.

— Ну так как же, Ваня? А? — наконец сказал капитан.

— Как вы прикажете, — тихо сказал Ваня и опустил ресницы.

— Приказать мне не долго. А вот я хочу знать, как ты сам решишь.

— Чего же решать? Я уже решил.

— Что ж ты решил?

— Буду у вас артиллеристом.

— Вопрос серьезный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да ведь у тебя, кажишь, никого не осталось?

— Да. Круглый сирота. Всех родных немцы истребили. Никого больше нету.

— Стало быть, сам себе голова?

— Сам себе голова, товарищ капитан.

— Вот и я сам себе голова, — неожиданно для самого себя, с грустной улыбкой сказал капитан Енакиев, но тотчас спохватился и прибавил шутливо: — Одна голова хорошо, а две лучше, верно, пастушок?

Капитан Енакиев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щеточку усов, как имел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение.

— Ладно, — сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу. — Раню тебе еще в разведку ходить. Будешь у меня связным. Соболев! — крикнул он весело и решительно. — Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева.

И судьба Вани опять переменялась с той быстротой, с которой всегда меняется судьба человека на войне.

## 20

С этого дня Ваня стал в основном жить у капитана Енакиева.

Но капитан Енакиев взял его к себе вовсе не для того, чтобы действительно сделать из мальчика связного. У него было гораздо более широкие намерения. Он хотел лично воспитать Ваню.

Со свойственной ему основательностью капитан Енакиев составил план воспитания. Он продумал его во всех подробностях, так же как он продумывал для своей батареи решение боевой задачи. Но, обдумав план всесторонне, не торопясь, он приступил к его осуществлению быстро и решительно.

Прежде всего по этому плану Ваня должен был постепенно научиться выполнять обязанности всех номеров оружейного расчета.

Для этого, посоветовавшись со своим старшиной, капитан Енакиев прикомандировал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Первые дни мальчик очень скучал по своим друзьям-разведчикам. Сначала ему показалось, что он лишился родной семьи. Но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Эта семья сразу приняла его, как родного.

Ваня еще не знал, что нет людей, более осведомленных, чем солдаты. Солдатам всегда все известно. Все новости узнаются мгновенно, как принято говорить, «по солдатскому телеграфу».

Когда Ваня явился в первое орудие, то, к его крайнему удивлению, там уже о нем было все известно.

Оружейный расчет прекрасно знал историю мальчика.

Знал, как его нашли разведчики в лесу, как он убежал от Биденко, как ходил со слепой лошадию в разведку, как попался немцам, как был освобожден и вообще абсолютно все, вплоть до компаса и букваря с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы».

В особенности оружейному расчету нравился случай с Биденко.

Они все время заставляли Ваню рассказывать эту историю с самого начала, они хохотали, как дети, когда рассказ доходил до места с веревкой.

Они валялись на плечи друг другу головой, хлопали друг друга по спине кулаками, вытирали слезы рукавами. Они еле могли говорить от смеха, душившего их.

— Слышь, Никита, он его дергает за веревку, а этот притворяется, что спит. Чуешь?

— Ах, чтоб ты пропал.

— Вполне, как говорится, связался черт с младенцем.

— Точно. Именно что связался. Тот его дергает, а этот задает храпака. А потом тот его обратно дергает, а этого уж след простыл. Ниши ветра в поле.

— Ай, пастушок! Ай, друг милый! Такого знаменитого разведчика обдурил. Это ж надо уметь.

— Да. Ничего не скажешь. Силен!

Разведчики принадлежали к батарейной аристократии. Слов нет, они жили богато, по-

хозяйски. Один их знаменитый чайник чего стоил! Но и оружейный расчет жил тоже не худо. Правда, такого исключительного чайника у них не было и расчет трофеев дело тоже обстояло куда хуже, чем у разведчиков, которые всегда были впереди.

Но зато они владели превосходной, громадной эмалированной кастрюлей, в которой готовили себе сами необыкновенно вкусные ужины. Они оставляли от обеда мясные порции и жарили их с гречневой кашей на коровьем масле.

Жили оружейцы тесной, дружной семьей. Они жили, пожалуй, еще дружнее, чем разведчики. Да это и понятно. Разведчики редко собирались все вместе. А оружейцы постоянно находились все вместе возле своей пушки. Тут они и воевали, тут они и отдыхали, тут они и пятались, тут они, как говорится, и песни пели.

— А песни они песни действительно замечательно, потому что на редкость удачно подбирались по голосам.

Кроме того, у них был еще один козырь против разведчиков.

У них был замечательный, очень дорогой баян — подарок шефов, которые приезжали в гости к батарейцам с Урала в 1942 году.

И, кроме того, был знаменитый на всю дивизию баянист Сеня Матвеев, сержант, командир орудия. Так что, когда, бывало, во время наступления батарея меняла позицию, то первое орудие мчалось вперед с музыкой. Оружейный расчет сидел на грузовике и пел хором, а Сеня Матвеев, в фуражке, надвинутой на самые брови, в расстегнутой шивели, с черными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах, с подарочным баяном и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, останавливалась и, глядя вслед веселому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричала:

— Здорово, бог войны! Дай ему там жизни! Подбавь огоньку!

— Сейчас дадим, — отвечал Сеня Матвеев, еще шире растягивая свой баян. — Ваш табачок, наш огонек. Прощай, царяца полей. До скорого свиданья на полях сражений!

Но это, конечно, было не главное. Главное заключалось в том, что оружейный расчет первого орудия первого взвода батареи капитана Енакиева в своей области был так же знаменит на всю дивизию, как и команда разведчиков.

Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Там, где другие орудия, даже самые лучшие, успевали выпустить два снаряда, первое орудие выпускало — три. А это свидетельствовало об отличной

работе всего оружейного расчета в целом и каждого номера в отдельности.

В особенности же был знаменит Бовалев, лучший наводчик фронта, Герой Советского Союза.

Стало быть, новая семья, принявшая Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это сразу почувствовал, хотя оружейцы были народ скромный и о своих боевых делах говорил мало.

И Ваня стал гордиться первым орудием так же сильно, как он раньше гордился командой разведчиков. И это яснее всего показывало, что у него душа настоящего солдата. Ибо какой же хороший солдат не гордится своим подразделением.

Но что особенно поразило воображение мальчика, что помогло ему сравнительно легко пережить разлуку с разведчиками — было орудие.

Уже самое это слово — орудие — всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное из всех военных слов, окружавших Ваню.

Было много военных слов: блиндаж, пулемет, атака, бой, разведка, азимут, авиация, винтовка, дзот, да мало ли их было! Но ни в одном из них с такой отчетливостью не слышался грохот боя, вой снаряда, звон стали. Ваня знал, что артиллерию называют богом войны. И смутно представляя себе этого могущественного, громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог: орудие.

Ваня часто слышал слово орудие, но редко ему удавалось посмотреть вблизи, а тем более потрогать руками само орудие. Было что-то неудобное, таинственное в существовании орудия, особенно на поле боя. Вокруг гремели сотни, даже тысячи орудий. Все небо горело от оружейных залпов, не погасая ни на минуту. Люди должны были кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанными. Снаряды непрерывным потоком текли над головой с шумом гигантского точильного камня. Взрывы кидали вверх тонны черной земли. А самих орудий, которые все это делали, не было видно. Они были везде и нигде.

Теперь же Ваня не только увидел орудие вблизи, не только мог его потрогать, но он должен был помогать из него палить.

Это было первое орудие первого взвода, а значит, оно было отчасти и его, ванино.

На всю жизнь запомнил пастушок этот дивный, ни с чем не сравнимый день, когда он в первый раз подошел к орудью.

Их было всего четыре орудия батареи капитана Бнакиева. Они стояли в ряд, метрах в сорока друг от друга. Они все были в точности похожи одно на другое. И все же то орудие,

к которому робко приблизился Ваня, было совсем особенное, единственное в мире, ни на какое другое не похожее орудие. Оно было «свое».

Пушка стояла в небольшом полукруглом окопчике; стволом на запад, крепко упираясь сошником в подкопанную землю. Не опуская с пушки очарованных глаз, Ваня робко обошел вокруг нее. Хотя на дульную часть ствола был надет маленький брезентовый чехол вроде крышечки, но Ваня, проходя мимо, на всякий случай ускорил шаги и нагнулся, боясь, как бы орудие нечаянно не пальнуло.

Впрочем, у пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид. Было сразу заметно, что ее лубят и ходят. Она была чисто вытерта, смазана. Все на ней было хорошо, ладно, пригнано, как на исправном солдате. А если и были кое-где дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны, заглажены и покрашены.

Кроме чехла, на дульной части ствола на пушке было еще два других брезентовых чехла. Один покрывал замок, а другой какую-то странную, очень загадочную штуку, которая торчала вверх, возле щита.

Были на пушке еще какие-то маховички, колесики, ящички. Были туго притороченные к лафету лопаты, кирка, топор. Видать, пушке было положено иметь при себе множество самых разнообразных необходимых вещей.

Но это было не все.

Вокруг пушки, как вокруг главного дома в хорошем исправном колхозном хозяйстве, в большом порядке размещались различные службы, пристроек и флигельки. Зарядный ящик, вкопанный в землю по ступицу колеса рядом с пушкой, представлялся Ване главной конторкой; откупоренные плоские деревянные ящички, в которых выднелись тесно уложенные патроны с медными гильзами и разноцветными полосками на снарядах, были, несомненно, пожарным сараем; окопчик телефописта казался баней; ровки для номеров были земляным валом, окружавшим гумно; несколько затоптанных снарядных гильз, валившихся в стороне, были сельскохозяйственным инвентарем, собранным для ремонта; елочки маскировки напоминали палисадник.

И вместе с тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее.

Сначала мальчик никак не мог понять, что же это такое, это угрожающее, и где оно. Но потом понял. Это были воронки, на которые он по привычке сначала не обратил внимания. Их было несколько десятков в разных местах вокруг орудия.

Это были свежие, совсем недавние воронки. Земля и глина, выброшенные из них на почер-

невшую траву, еще не успела слежаться, была пухлой и даже казалась теплой. Значит, совсем недавно, может быть утром, сюда прилетали немецкие снаряды. Конечно, они метили в пушку.

Раньше Ваня почти не обращал внимания на воронки, попадавшие ему на пути. Они его не касались, он равнодушно проходил мимо, знал, что «это» уже совершилось, что снаряды уже сделали свое дело, что опасность миновала.

Теперь же он вдруг увидел их и почувствовал совсем по-новому. Немецкие снаряды только что прилетали на батарею. Они разорвались вокруг пушки, оставив зловещные следы. Но ведь батарея не ушла. Пушка стояла на прежнем месте. Ничто на фронте не изменилось. Значит, немецкие снаряды в любой миг могли прилететь снова и на этот раз принести смерть.

Казалось, сам воздух — холодный, осенний воздух — дышит вокруг смертью. Тень смерти лежала на тучах, на елочках, на земле. А между тем орудийный расчет ничего этого как будто не замечал.

Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, притроившись к сосновому ящику со снарядами, писал письмо, сляпывая химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету; кто, скрутив цыгарку, высекал искру и раздувал самодельный трут, из которого валил белый дым.

Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегаящую пехоту, минеров, конницу, накапливающуюся в баках.

Здесь, на батарее, тоже была война, но война сужившаяся, ограниченная маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме орудийного хозяйства (даже соседних пушек не было видно), елочек и маскировки и склона холма, близко обрезанного серым осенним небом. А что было там дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно отсюда время от времени слышались робкие звуки перестрелки.

Ваня стоял у колеса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косой орудийный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

— Ну, Ванюша, как тебе нравится наше орудие? — услышал он за собой тустой, добродушный бас.

Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалева.

— Так точно, товарищ Ковалев, очень нравится, — быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Видно, урок капитана Енакиева не прошел зря. Ваня его крепко запомнил. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопросы отвечал бодро, с веселой готовностью. А перед наводчиком Ковалевым он даже переусердствовал. Он, как взял руку под козырек, так и забыл ее опустить.

— Ладно, опусти руку. Вольно, — сказал Ковалев, с удовольствием оглядывая ладную фигушку маленького солдата.

Наружностью своей Ковалев меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшим наводчике фронта.

Прежде всего он был не молод и в представлении мальчика он был уже не «дяденька», а скорее принадлежал к категории «дедушка». До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем.

Во время первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Поэтому и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием, уж слишком у него была добродушная, ступо гражданская внешность.

Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают — выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то еще больше в нем окреп. Новая война поставила артиллерии много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалеве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске.

Он не имел соперников в стрельбе прямой наводкой.

Вместе со своим расчетом он выкатывал пушку на открытую позицию и под градом пуль спокойно, точно и вместе с тем с необыкновенной быстротой бил картечью по немецким цепям или бронебойными снарядами по немецким танкам.

Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно ни стояло. Здесь требовалось

беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою плечем не замечательную гражданскую внешность, Ковалев был лег дарно храбр.

В минуту опасности он пр ображался. В нем загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он лежал рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал одну за другой, пока немцы не отступали.

Среди людей часто попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалев был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех ее врагов.

Немцев он ненавидел еще с прошлой войны. У него с немцами были особые счеты. В шестнадцатом году под Сморгонью они отравили его удушливыми газами. И с тех пор Ковалев всегда немного покашливал. О немцах он говорил коротко:

— Я их хорошо знаю. Это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор — беглым огнем. Другого они не понимают.

Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Его жена, по профессии врач, тоже была в армии. Дома никого не осталось.

Его дом была армия.

Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ковалева на более высокую должность. Но каждый раз Ковалев просил оставить его паводчиком и не разлучать его с орудием.

«Наводчик—это мое настоящее дело,— говорил Ковалев,— с другой работой я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте. За чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком и теперь, до конца войны, хочу быть наводчиком. А для командира я уже не годюсь. Стар. Надо молодым давать дорогу. Покорнейше вас прошу». В конце концов командование оставило его в покое. Впрочем, может быть, Ковалев был и прав. Каждый человек хорош на своем месте. И в конце концов для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода.

Все это было Ване известно, и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалева.

Ковалев был высокий, худощавый человек, в новом, но уже промасленном орудийном салом вагнике, накинутом на плечи. Он был домашнему, без головного убора. Его голова была наголо обрита так, как иногда имеют обыкновение брить голову мужчины, начинающие лысеть. Шея у него была красная, обвет-

ренная, вся в крупных клетчатых морщинах, а русые усы и чисто выскобленный подбородок были подлинно солдатские.

Вообще все на нем было хоть и строгое, спортиллерийски опрятное, но несколько старомодное, «с той войны», и собственные черные суконные шаровары, которые он принес с собой в армию, и во рту крашеная трубочка с жестяной крышечкой, почерневшей от дыма.

Ване хотелось расспросить Ковалева о многом.

О том, как, например, наводится пушка? Как производится выстрел? Для чего колесико с ручкой? Что спрятано под чехлами? Что написано на бумажке, приклеенной к щиту? Скоро ли будут палить из орудия? И многое другое.

Но воинская дисциплина не позволяла ему первому начинать разговор со старшим.

## 21

— Это хорошо, что тебе нравится наше орудие, — сказал наводчик Ковалев, — славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга.

Он похлопал пушку по стволу, словно это была лошадь, затем посмотрел на ладонь и, заметив, что она запачкалась, вынул из кармана чистую, сухую ветошку и любовно обтер пушку.

Она у меня чистоту любит, — сказал он, как бы извиняясь за свою мелочность. — Так, стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал?

— Так точно, товарищ сержант.

— Не козыряй все время. Ничего. Не тянись. Ну что же. Это правильно. Коли хочешь быть хорошим артиллеристом, с малых лет учись работать возле пушки, а привыкнешь, так потом до седых волос доживешь — не забудешь, как что делается.

Он сел на лафет и стал плоскогубцами починять свои маленькие очки, поглядывая на Ваню необыкновенно добрыми и вместе с тем провицательными острыми глазами очень дальновозорного человека.

— Так-то, орел. Пушку надо смолду любить. Вот таким-то макаром, как ты сейчас, и я когда-то пришел на батарею. Было это, братец ты мой, не более, не менее, как тридцать годов тому назад. Не малое времечко. А я, как сейчас помню. Был я тогда, конечно, постарше тебя. Шел мне тогда девятнадцатый год. Я охотником на войну попал. Но все равно—мальчишка. И представь себе, какое чудо: наша батарея тогда стояла на позиции как раз где-то в этих же самых местах. Видал, какой круг моя жизнь описала? Сейчас, конечно, не узнать.

Он огляделся по сторонам и махнул рукой.

— Сильно земля с тех пор переменялась. Где были леса, там стали поля. Где были поля — там выросли леса. Но в общем где-то здесь. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Только и всего.

Эти слова крайне поразили Ваню. Он, конечно, много раз слышал разговоры о том, что армия наступает на Восточную Пруссию, что Восточная Пруссия это уже Германия, что скоро советские войска ступят на немецкую землю.

Ваня, так же как и все в армии, твердо верил, что так оно в конце концов и будет. Однако теперь, когда он услышал эти желанные и так долго ожидаемые слова «граница Германии», он даже как-то не совсем понял, о чем говорит Ковалев. Он был так взволнован, что даже не удержался и назвал Ковалева дяденькой.

— Где же Германия, дяденька? Где граница?

— Да вот же она. Тут и есть, — сказал Ковалев, показывая через плечо плоскогубцами с таким видом, как будто показывал заблудившемуся прохожему знакомый переулок. — За этой высоткой. Километров пять отсюда. Не больше.

— Дяденька, правда? Вы меня не обманываете? — жалобно сказал мальчик, знавший по опыту, что некоторые солдаты любят над ним подшутить.

Но глаза Ковалева были вполне серьезными.

— Верно говорю, — сказал он, — река, а за ней самая Германия и начинается.

— Честное батарейское? — живо спросил Ваня.

— Да зачем тебе честное батарейское, когда мы только что по ней пристрелку вели. Видел, сколько целей пристреляли?

И Ковалев показал плоскогубцами на бумажку с номерками на оружейном щите.

Но Ваня все-таки еще сомневался. Ему трудно было поверить, что вот тут, совсем близко, в каких-нибудь пяти километрах, начинается то страшное, кровавое, омерзительное, что навсегда соединилось в его оскорбленной, поруганной душе со словом «Германия».

— Дяденька, не обманывайте меня, — почти со слезами сказал Ваня.

— Фу, будь ты неладен, — рассмеялся Ковалев, — не веришь. А что же тут особенного? Да наши разведчики еще вчера в эту самую Германию ходили, нынче утром вернулись. Паника там, говорят, не приведи бог.

— Как! Разведчики были в Германии?

Ковалев даже не представлял, какой удар нанес он Ване в самое сердце. Оказывается, разведчики уже были в Германии. Весьма возможно, что в Германии уже побывали Биденко и Горбунов, а сержант Егоров наверняка побы-

вал. Значит, если бы Ваню не перевели в огневой взвод, он бы тоже мог уже побывать в Германии. Он бы упрямил разведчиков. Они бы его взяли. Это уж верно. И Ваня почувствовал жгучую обиду. Все-таки в душе он был разведчиком. Самолюбие его сильно страдало.

Конечно! Все разведчики уже были, а он еще не был. Он надулся, густо покраснел и, кусая губы, опустил ресницы, на которых блеснули слезы.

— Я бы им так дал, в Германии, — неожиданно сказал он сквозь зубы, и глаза его метнули синие искры.

Ковалев с любопытством посмотрел на мальчика, но не улыбнулся и не сказал того, что непременно сказал бы всякий другой солдат: «А ты, братец пастушок, злой!». Он понял, что в эту минуту делалось в душе Вани. Он вынул свою трубку, насыпал в нее махорку, зажег, зацелкнул крышечкой и, пустив через усы душистый белый дым, очень серьезно заметил:

— Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться. Твое место теперь у орудия. Вместе с орудием и введешь в Германию.

И для того чтобы его слова не показались мальчику слишком сухими, ярауочительными, прибавил улыбаясь:

— С музыкой!

И как раз в этот миг, где-то за елочками маскировки раздалась громкая команда:

— Батарся к бою! Стрелять первому орудю.

Из окончика телефониста выскочил сержант Сеня Матвеев, на ходу застегиваясь и управляя свою измятую шпательку с черными петлицами. Спя мелодым, возбужденным лицом, он изо всех сил крикнул, раскатываясь на бумве «р»:

— Первое орудие к бою! По цели номер четырнадцать. Гранатой. Взрыватель осколочный. Правее восемь ноль. Прицел сто десять.

И прежде чем были произнесены эти слова, показавшиеся Ване таинственными заклинаниями, все вокруг мгновенно переменялось — и люди, и само орудие, и вещи вокруг него, и даже небо над близким горизонтом. Все стало суровым, грозным, как бы отливающим хорошо отшлифованной и смазанной сталью.

Прежде всех изменился наволочник Ковалев.

Ваня не успел посторониться, не успел подумать: «Вот оно начинается!», как Ковалев уже перепрыгнул через станшу, одной рукой надевая бивесь откуда взявшийся шлем, а другой снимая брезентовый чехол с той высокой штучки возле щита, которую мальчик давеча заметил.

Теперь, когда с нее был сдернут чехол, она

оказалась еще более прекрасной и таинственной, чем можно было предполагать. Это было нечто среднее между биноклем, стереотрубой — их Ваня уже видел много раз — и еще чем-то невиданным, какой-то машинкой со множеством мелких и крупных цифр, насеченных на стальных кольцах и барабанчиках. Эта машинка сразу вызвала в представлении мальчика слово «арифметика». И еще было что-то черной вороненой стали с вышуклым стеклом, косым зеркальцем и плоской черной коробочкой с длинной прорезью. Это вызвало другое слово: «фотоаппарат».

Наклонившись и прильнув глазом к черной трубке, наводчик Ковалев неподвижно, как изваяние, стоял на крепко расставленных, согнутых ногах, в то время как его руки, мелкая длинными пальцами, с молниеносной быстротой бегали вверх и вниз по прибору, касаясь барабанов и колец.

А иногда Ковалев вдруг начинал быстро крутить какое-то колесо, и тогда поворачивался один только ствол, а сама пушка стояла на месте.

Но, кроме этого, произошло еще множество изменений,

У мальчика разбежались глаза. Он не знал, на что смотреть.

Во-первых, кем-то и как-то, в один миг, с пушки был сдернут второй чехол, и Ваня увидел оружейный затвор — массивный, тяжелый, сверкающий хорошо смазанной сталью с алюминиевой рукояткой и могучим стальным рычагом, кривым, как челюсть.

Но, главное, Ваня увидел спусковой шнур — стальную петличку, обшитую потертой кожей. Он сразу понял, что это такое. Стоило только потянуть за эту кожаную колбаску, как пушка выпалит.

Едва замковый — Ваня сразу понял, что этот солдат именно и есть замковый, — едва замковый потянул за рукоятку и пудовый замок маслянисто легко, бесшумно отворился, показав свой рубчатый стальной цилиндр с точкой бойка в самом центре и зеркальную, витую внутренность пустого оружейного ствола, как внимание мальчика привлекли патроны.

Они уже были вынуты из своих ящичков и стояли на земле правильными рядами, как солдаты в металлических касках, рассортированные по цветам своих полосок: черные к черным, желтые к желтым, красные к красным. Один патрон уже лежал на левом колене солдата, припавшего на правое колено, и солдат этот — ящичный — что-то делал с головкой снаряда, в то время как другой солдат уже нес другой приготовленный патрон к пушке и быстро сунул его в канал ствола и дослал ладонью.

Патрон не успел вылезть назад, как замковый прихлопнул его затвором.

Затвор щелкнул. Ковалев, не отрываясь глазом от черной трубки, взялся одной рукой за спусковой шнурок, а другую руку поднял вверх и сказал:

— Готово.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев, с силой рубанув рукой.

И не успел Ваня опомниться, сообразить, что происходит, как наводчик Ковалев со злым, решительным лицом, коротко рванул за колбаску, отбросив руку далеко назад, чтобы ее не стукнуло замком при откате.

Пушка ударила не особенно громко, однако с такой силой, что мальчику показалось, будто от нее во все стороны побежали красные, звенящие круги.

И Ваня почувствовал во рту вкус пороховой гари.

На один миг все замерло, прислушиваясь к слабому шуму снаряда, улетающего в Германию.

Потом Ковалев опять припал к панораме и забегал пальцами по барабанчикам, а замковый рванул затвор, откуда выскочила и со звоном перевернулась по земле медная дымящаяся гильза.

Ваня стоял, оглушенный и очарованный чудом, которое он только что видел, — чудом выстрела.

Потом ему сделалось неловко стоять среди занятых людей и ничего не делать. Он взял теплую, слегка потускневшую стреляную гильзу, отнес ее в сторону и положил в кучу других стреляных гильз. Богда он ее нес — всю очень тонкую и очень легкую, но с толстым и тяжелым дном, как Ванька-Встанька, ему казалось, что в его руках она еще продолжала тонко звенеть от выстрела.

— Правильно делаешь, Солнцев, — сказал сержант Матвеев, что-то записывая карандашиком в потрепанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда ожидал новую команду. — Пока что будешь прибираться стреляные гильзы, чтобы они не мешались под ногами.

— Слушаюсь, — радостно сказал Ваня и вытянулся, чувствуя, что теперь и он тоже причастен к тому важному и очень почетному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением: «артогонь».

— А после стрельбы сосчитаешь и уложишь в пустые лотки, — прибавил Матвеев.

— Слушаюсь, — еще веселее ответил Ваня, хотя и не вполне ясно представлял себе, что такое за вещь — лоток.

Ваня поставил все стреляные гильзы рядом, поправил их, полюбовался своей работой, но так как делать пока было нечего, то он подошел к Ковалеву.

— Дяденька, — сказал он, но, вспомнив, что находится при выполнении боевого задания, быстро поправился, — товарищ сержант, разрешите обратиться.

— Попробуй, — сказал Ковалев.

— Чего я вас хотел спросить: куда вы только что стрельнули? По Германии?

— По Германии.

— А сначала нацелились?

— Сначала нацелился.

— Вы глазом нацеливались? Через эту черную трубочку?

— Вот именно.

Ваня некоторое время молчал. Он не решился говорить дальше. То, что он хотел попросить, казалось ему слишком большой дерзостью. За такую просьбу, пожалуй, отберут обмундирование и отчислят в тыл. И все же любопытство взяло верх над осторожностью.

— Дяденька, — сказал Ваня, выбирая самые убедительные, самые нежные оттенки голоса, — дяденька, только вы на меня не кричите. Коли не положено, то и не надо. Я ничего не имею. Разрешите мне один раз — один только разок, дяденька! — посмотреть в трубочку, через которую вы нацеливались.

— Отчего же. Это можно. Загляни. Только аккуратно. Наводку мне не сбей.

Не смея дышать, Ваня подошел на цыпочках и стал на место, которое уступил ему Ковалев.

Расставив руки в стороны, чтобы как-нибудь случайно не сбить наводку, мальчик осторожно приложил глаз к окуляру, еще теплomu после Ковалева. Он увидел четкий круг, в котором светло и приближенно рисовался болотистый ландшафт с зубчатой стеной синеватого леса. Две резкие, тонкие черты, крест-накрест делившие круг по вертикали и по горизонтали, делали этот ландшафт отчетливым, как переводная картинка. Как раз на скрещении линий Ваня увидел отдельную верхушку высокой сосны, высунувшуюся из леса.

— Ну, как? Видишь что-нибудь? — спросил Ковалев.

— Вижу.

— Что же ты видишь?

— Землю вижу, лес вижу. Красиво как!

— А перекрещенные волоски видишь?

— Ага. Вижу.

— А замечаешь отдельное дерево? Его как раз пересекают волоски?

— Вижу.

— Вот я в эту самую сосну и наводил.

— Дяденька, — прошептал Ваня. — Это и есть самая Германия?

— Где?

— Куда я смотрю.

— Нет, брат, это отнюдь не Германия. Германию отсюда не видать. Германия там, впереди. А ты видишь то, что находится сзади.

— Как, сзади? Да ведь вы же, дяденька, сюда наводили?

— Сюда.

— Ну, стало быть, это и есть Германия.

— Вот как раз не угадал. Сюда я наводил, это верно. Отметился по сосне. А стрелял совсем в другую сторону.

Ваня во все глаза смотрел на Ковалева, не понимая, шутит он или говорит серьезно. Как же так: наводил назад, а стрелял вперед? Что-то чудно.

Он пылливо всматривался в лицо Ковалева, стараясь найти в нем выражение скрытого лукавства. Но лицо Ковалева было совершенно серьезно.

Ваня переступил с ноги на ногу, подавленный загадкой, которую не мог понять.

— Дяденька Ковалев, — наконец, сказал Ваня, изо всех сил наморщив свой чистый, ясный лоб. — А снаряд-то ведь полетел в Германию?

— Полетел в Германию.

— И там ахнул?

— И там ахнул.

— И вы через трубку видели, как он ахнул?

— Нет. Не видел.

— Э! — сказал Ваня разочарованно. — Значит, вы так себе снарядами кидаетесь, наобум господ бога!

— Зачем же так говорить, — посмеиваясь в усы и покашливая, сказал Ковалев. — Мы не наобум кидаемся. Там, на наблюдательном пункте, сидят люди и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь не ладно выйдет, они нам тотчас по телефону скажут — как и что. Мы и поправимся.

— Кто же там сидит?

— Наблюдатели, старший офицер. Иногда взводные офицеры. Когда как. Ныче, например, сам капитан Енакиев ведет стрельбу.

— И капитану Енакиеву оттуда видать Германию?

— А как же.

— И видать, как мы ахнули?

— Безусловно. Вот подожди. Он нам сейчас скажет, как там у нас получилось.

Ваня молчал. Его мысли разбегались. Он никак не мог их собрать и понять, как это все же получается, что наводят назад, стреляют вперед, а капитан Енакиев один все видит и все знает.

— Левее поль-поль три! — крикнул сер-



жант Матвеев. — Осколочной гранатой. Прицел сто восемнадцать.

Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону, а на месте Вани у панорамы уже попрежнему стоял Ковалев, прильнув глазом к черному окуляру.

Теперь все было сделано еще быстрее, чем в первый раз. И все же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалев успел повернуть к мальчику лицо и сказать:

— Видишь. Маленько отбились. Теперь будет ладно.

— Огонь! — закричал Матвеев и с еще большей силой рубанул рукой.

Пушка ажнула. Но этот выстрел уже не так ошеломил мальчика. Твердо помня свою боевую задачу, он проворно оббежал орудие, ствол которого после отдачи назад теперь плавно, маслянисто накатывался вперед на прежнее место, и успел подхватить горячую стреляную гильзу в тот самый миг, как она выскакивала из пушки.

— Молодец, Солнцев! — сказал Матвеев, снова торопливо записывая что-то в записную книжку, положенную на согнутое колено. — Какой расход патронов?

— Две осколочных гранаты! — лихо крикнул Ваня.

— Молодец! — сказал Матвеев.

Ваня хотел ответить «служу Советскому Союзу», но ему показалось совестно говорить такие слова по такому простому поводу.

— Ничего, — пробормотал он застенчиво.

— Держись, пастушок! — весело крикнул Ковалев, поправляя очки, — теперь успевай только подбирать. Сейчас мы тебе их накидаем гору.

И точно. В следующий миг из окопчика высузился зеленый шлем телефониста, и сержант Матвеев закричал таким зычным, таким высоким и таким торжественным голосом, что у Вани разом зазвенели все его стреляные гильзы.

— Четыре патрона беглых! По немецкой поганой земле. Огонь!

Четыре выстрела ударили почти подряд, так что Ваня едва успел поймать четыре выскользивших гильзы. Но он их все-таки не только поймал и поставил в ряд, но еще и подравнял.

С этого времени пушка стреляла, уже не останавливаясь ни на минуту, с непостижимой, почти чудесной быстротой.

Бегал безустали за гильзами, Ваня прислушался и понял, что теперь уже стреляет не только одно первое орудие. Отовсюду слышались громкие крики команды, звонко стучали затворы, ударили пушки. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Енакиева.

Бесперывно один за другим, а то и по два и по три сразу, с утихающим шумом уноси-

лись снаряды за гребень высоты в Германию, туда, где небо казалось уже не русским, а каким-то отвратительным, тускло металлическим, искусственным, немецким небом.

Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалеву, и он каждому давал раз или два дергать за шнур и выстрелить по Германии. Стреляя, они кричали:

— По проклятой немецкой земле, огонь!

— Держись, Германия! Огонь!

— За родину, за Сталина! Огонь!

— Смерть Гитлеру! Огонь!

— Что, взяли нас гады? Огонь!

Подбежав к Ковалеву, Ваня потянул его за спиной за ватник.

— Дядя Ковалев, дайте я тоже раз дам по Германии.

Он так боялся, что Ковалев ему откажет. Он крепко сжал от волнения рот. Он даже побледнел. Он часто, коротко дышал через позари, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалев его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито ударил в землю сапогами и требовательным, дрожащим голосом крикнул, стараясь перекричать выстрелы:

— Товарищ сержант, разрешите обратиться. Дайте мне стрельнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется.

Только теперь Ковалев заметил его.

— Давай, пастушок, давай. Пали. Только руку быстро убери, чтоб затвором не стукнуло.

— Я знаю, — быстро сказал Ваня и почти вырвал из рук Ковалева спусковой шнур.

Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту божаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой. — страх, как бы не дать осечку.

— Огонь! — крикнул Матвеев.

— Тани, — шепнул Ковалев.

Он мог этого не говорить.

— На, паршивая! Получай! — крикнул мальчик и с яростью, изо всех сил рванул колбаску.

Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая, подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело.

И по дальнему лесу пронесся шум ваншного снаряда, улетавшего в Германию.

## 22

Капитан Енакиев пошевелился от холода, сдержанно зевнул.

— Однако, как нынче поздно светает.

— Что вы хотите, — осень, — сказал Ахунбаев.

— Поздняя осень, трачи устели, лес обнажился, поля опустели, — сказал Енакиев, еще раз зевая.

— Красиво написано, — сказал Ахунбаев. — Очень художественное изображение осени.

Капитан Ахунбаев пропихнул эти слова между двумя быстрыми затяжками. Он торопливо докуривал мятую немецкую сигаретку и, морщась, разгонял рукой дым, чтобы он не слишком заметно поднимался над окопом. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Светать только еще начинало, вокруг было серо, туманно.

Старый немецкий окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля.

На почерневшей ботве, стоявшей на уровне глаз, холодно белели мельчайшие капли воды. Справа тянулось невидимое шоссе, обсаженное старыми вязами. Их толстые стволы и голые ветки туманно рисовались на белом предутреннем небе, как на матовом стекле.

Несколько разбитых острых готических крыш так же туманно виднелись слева.

Впереди же была черная, мокрая земля картофельного поля, полого опускавшегося в низинку, наполненную синеватым туманом. А еще дальше за низиной начиналась опять возвышенность, но сейчас ее совсем не было видно. На ней были немецкие позиции, которые с наступлением дня должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.

План атаки, разработанный Ахунбаевым со свойственной ему быстротой и горячностью, в самых общих чертах заключался в следующем.

Две роты должны были до света скрытно обойти немцев справа, перехватить немецкие коммуникации и ждать, по возможности не открывая огня и во всяком случае не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии открыто атаковать немецкие позиции в лоб. Одна рота должна была остаться в резерве. Капитан Ахунбаев рассчитывал, что, атакуя одной ротой позиции противника, у которого, по сведениям разведки, было около батальона, он заставит немцев выйти из окопов и перейти в контратаку. Именно в момент этой контратаки и должны были ударить с фланга, а даже, может быть, и с тыла, те две роты, которые были посланы в обход. Таким образом немцы оказались бы зажатыми в тиски и принуждены под сильным фланговым огнем перестраивать свои боевые порядки, что всегда ведет к огромным потерям и, в конечном счете,

к сдаче позиций. Либо они должны были продолжать бой в прежнем направлении, заслонившись с тыла резервом. Но тогда капитан Ахунбаев перебрасывает роту своего резерва на усиление двух действующих в тылу у неприятеля, добивается в этом месте численного превосходства и занимает немецкие позиции с тыла, посадив немцев в мешок.

План этот был хорош и, принимая в расчет плохое моральное состояние противника, а также отличные качества стрелков Ахунбаева, вполне осуществим.

Но для капитана Енакиева, привыкшего тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, была в этом плане одна неясная вещь. Было в точности не известно, какими резервами располагают немцы. По данным разведки, их резервы были невелики. Но кто мог поручиться, что в течение ночи они не перебросили сюда крупных подкреплений. Может быть, сейчас, в эту самую минуту, немецкая пехота выгружается из транспортеров где-нибудь за возвышенностью, которую собирается атаковать капитан Ахунбаев, тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо.

Но так как все эти сомнения капитана Енакиева были основаны не на точных фактах, а только на предположениях, и даже, вернее всего, на дурном предчувствии, то, выслушав план и получив боевое задание, он коретко и сухо проивнес:

— Слушаюсь.

А впрочем, ничего нельзя было и сделать. Роты Ахунбаева уже занимали исходные рубежи, машина атаки хотя еще и незаметно, но уже пришла в движение, а капитан Енакиев твердо знал, что принятое решение никоим образом не следует отменять. Он только понял, что дело будет горячее и что, если у немцев обнаружатся свежие резервы, то остается одна надежда на меткость и быстроту огня его пушек.

Он посмотрел в свою записную книжку, подсчитал общее количество имеющихся патронов, поморщился и приказал по телефону как можно скорее привезти на огневую позицию еще боевой комплект.

Теперь все это было сделано. Оставалось ждать.

— Ну, капитан... — сказал Енакиев, протягивая Ахунбасу руку в замшевой перчатке, — разрешите откланяться.

— Где вы будете находиться?

— На своем наблюдательном пункте. А вы?

— С ротой резерва.

Они крепко пожали друг другу руки. И, как всегда, перед тем как расстаться, сверили часы. У капитана Ахунбаева было шесть ча-

сов двенадцать минут. У капитана Енакиева — шесть часов девять минут.

— Отстаёте, — сказал капитан Ахунбаев.

— Торопитесь, — сказал капитан Енакиев с ударением.

Они немножко поспорили о том, у кого вернее часы. Но это было только так, скорее по старой привычке. Ахунбаев знал, что у Енакиева часы идут абсолютно верно.

— Уговорил, — сказал Ахунбаев, весело блестя своими черными, как жучки, жесткими глазами, и перевел свои часы на три минуты назад. — Итак, надеюсь на вас, как на каменную гору.

— Надеемся.

— Огоньку не жалейте.

— Дадим. Ваш табачок, наш огонек, — сказал Енакиев рассеянно и не совсем кстати солдатскую поговорку.

— Главное не отогавайте.

— Не отстану.

— Стало быть, до свиданья на немецкой оборонительной линии.

— Или раньше.

— Ну, счастливо, — решительно и уже командирски сказал Ахунбаев. — Действуйте.

— Слушаюсь.

Они еще раз пожали друг другу руки и разошлись.

Первым из окопа выбрался капитан Енакиев и, приказав своему телефонисту открепляться и тянуть провод на командирский наблюдательный пункт, сам отправился посмотреть, что делается на батарее.

Дул неприятный предрассветный ветер и кое-где под салогами уже потрескивал лед. Все вокруг было тихо, и лишь изредка на западе то там, то здесь трепыхал качающийся свет немецких осветительных ракет, уже совсем бледных на фоне отчетливо побелевшего неба.

Когда капитан Енакиев, за которым по пятам, с автоматом на шее, следовал Соболев, добрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел и ветер стал еще неприятней.

Огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада, за очень длинной и скучной стеной, сложенной из бурого плитняка. В нескольких местах стена была обвалена снарядами. Через одну из этих брешей капитан Енакиев прошел в сад.

Пушки, глубоко вкопанные в землю между старыми, симметрично рассаженными яблонями, далеко отстояли друг от друга и были затянуты маскировочными сетями. Их трудно было заметить даже вблизи. Но далеко отсюда голые ветви яблонь за садом виднелась длинная черепичная крыша бурого, скучного фольварка с вырванными рамами окон, и под этой

крышей утомленным утренним огоньком светился еще не погашенный фонарик — ночная точка отметки. Она показывала, что батарея здесь.

Автоматчик со смутным лицом, на котором еще лежала ночная тень, преградил капитану Енакиеву дорогу, но, узнав своего командира батареи, отступил в сторону и застыл.

Капитан подошел к первому орудью.

Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии, спали прямо на земле, каждый на своем месте, положив под голову кто стреляную гильзу, кто ящик из-под снарядов, кто котейку, кто просто руку.

Среди спящих капитан Енакиев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, в котором был крепко зажат дистанционный ключ. Его губы немного посинели от утреннего холода, но какая-то добрая душа набросила на него просаленный ватник, и мальчик во сне улыбался таинственной, блуждающей улыбкой.

При виде этой улыбки капитан Енакиев и сам было улыбнулся. Но заметив подходящего с рапортом сержанта Матвеева, согнал с лица улыбку и строго нахмурился.

— Ну, как мальчик? — спросил он, выслушав рапорт и поздоровавшись с командиром орудия, который в этот день дежурил на батарее.

— Мальчик ничего, товарищ капитан, — доложил сержант, почтительно и вместе с тем несколько щеголевато прикасаясь пальцами к своим новеньким черным усикам и новеньким черным «севастопольским» полубачкам.

— Работает?

— Так точно.

— Какие обязанности выполняет при орудии?

— До сего дня он у меня стреляные гильзы укладывал. А сегодня — или сказать точнее, вчера вечером — я его помощником шестого номера поставил.

— Ну и как? Справился?

— Ничего. Только снимает колпачки. Без задержки. Прикажете поднять орудийный расчет?

— Не надо. Пусть отдыхают. Нынче будет много работы. Патроны привезли?

— Так точно.

— Хорошо. Тут в некоторых местах нарушен забор. Вы не пробовали, через эти проломы в случае чего можно выкатить пушки?

— Так точно. Пробовал. Выкатываются.

— Хорошо. Учтите это. Связь с наблюдательными пунктами исправно работает?

— Исправно.

— Кто дежурит на правом божовом?  
— Не могу знать.  
— Узнаете и доложите. И пусть мне сюда подадут машину.  
— Слушаюсь.

Кроме сержанта Матвеева и телефониста, в первом орудии не спал еще один человек — наводчик Ковалев. Это был единственный человек в батарее, с которым капитан Енакиев позволял себе быть накоротке.

— Ну, как дела, Василий Иванович, — сказал капитан Енакиев, присаживаясь рядом с Ковалевым на край оружейной площадки.

— По-моему, не плохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уже и в Восточной Пруссии.

— Да, в Германии, — рассеянно сказал капитан Енакиев, рассматривая этот громадный скучный сад с выбеленными стволами и охашками соломой, приготовленной для обвертывания деревьев на зиму.

Собственно говоря, у капитана Енакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда перед боем у него являлась потребность хотя бы несколько минут побить в своем хозяйстве и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным.

Ему стоило только бросить беглый взгляд хотя бы на одно орудие, чтобы с точностью определить, в каком состоянии находится вся его батарея. И сейчас он уже определил это состояние. Оно было отличным. Он видел это по всему — и по тому, как спокойно спали его одетые и вооруженные люди, каждый на своем месте; и по тому, как были отрыты ровики, приготовлены для стрельбы патроны; и по тому, как была аккуратно натянута над орудием маскировочная сеть; и даже по тому, как ясно горел под крышей фольварка фонарик для почной заводки. Впрочем, фонарик он гут же приказал потушить, так как уже рассвело и холодный свет зари низко стлался по сквозному, оголешному саду, очень бледно и как-то болезненно жидко золотя землю, покрытую подмерзшими листьями и падалицей.

Чувствовалось, что солнце показалось из тумана на одну только минуточку и сейчас, уже на весь день, войдет в сплошные тучи.

Капитан Енакиев посмотрел на часы. Было уже время пробираться на наблюдательный пункт. Но на этот раз ему почему-то было жалко расставаться со своим хозяйством. Хотелось еще хоть минут пять посидеть у пушки рядом с Ковалевым, которого он любил и уважал. Он как бы предчувствовал, что нынче понадобятся все его физические и душевные силы, и он набирался их, пользуясь последними минутами.

— Товарищ капитан, разрешите доложить.

На правом наблюдательном — старший сержант Алейников, — сказал подошедший Матвеев. — Машина приехала.

— Хорошо. Пускай стоит. Идите.

## 23

Капитан Енакиев вынул из кожаного портсигара папиросу и дал одну Ковалеву. Они закурили.

— Так что же? Стало быть, мальчик — ничего? — сказал капитан Енакиев.

— Хороший мальчик, — сказал Ковалев серьезно, с убеждением, — стоящий.

— Вы думаете, стоящий? — быстро сказал Енакиев и, прищурившись, посмотрел на Ковалева.

— По-моему, стоящий.

— Ток из него выйдет?

— Обязательно.

— Вот и мне тоже так показалось.

— Я с ним давеча немножко возле панорамы позанимался. Представьте себе — все понимает. Даже удивительно. Прирожденный наводчик.

Капитан Енакиев рассмеялся.

— А разведчики говорят, что он прирожденный разведчик. Поди разберись! Одним словом, какой-то он у нас вообще прирожденный. Верно?

— Прирожденный артиллерист.

— Просто прирожденный вояка.

— Не дуло.

— А вы знаете, Василий Иванович, — вдруг сказал капитан Енакиев, пытливо глядя на Ковалева глазами, ставшими по-детски доверчивыми, — я его думаю усыновить. Как вам кажется?

— Стоящее дело, Дмитрий Петрович, — тотчас сказал наводчик, как будто ожидал этого вопроса.

— Человек я в конечном счете одинокий. Семья у меня нет. Был сынишка, четвертый год... Вы ведь знаете?

Ковалев строго наклонил голову. Он знал. Он был единственный человек в батарее, который знал. Капитан Енакиев помолчал, глядя прищуренными глазами перед собой, как бы рассматривая где-то вдалеке маленького мальчика в синей матросской шапочке, которому сейчас должно было бы уже исполниться семь лет.

— Заменить-то он мне его, конечно, не заменит, что об этом толковать, — сказал он, глубоко вздохнув и не стараясь скрыть от Ковалева этого вздоха, — но... но ведь бывает же, Василий Иванович, и два сына? Верно?

— Бывает и три сына, — сумрачно сказал Ковалев и тоже вздохнул, не скрывая своего вздоха.

— Ну, я очень рад, что вы мне советуете.

Я, признаться, уже и рапорт командирю дивизиона подал, чтобы мальчика оформить. Пусть будет у меня хороший, смышленный сынишка. Верно?

Капитан Енакиев крепко затаился и стал медленно выпускать из рта дым, продолжая сквозь этот дым задумчиво смотреть вдаль. И вдруг лицо его изменилось. Он немного повернул ухо в сторону переднего края и нахмурился. Ему показалось, что где-то далеко на правом фланге, в глубине немецкой обороны, начался сильный ружейный и минометный огонь.

Капитан Енакиев вопросительно посмотрел на Ковалева.

— Точно. Бьют. И довольно сильно, — сказал Ковалев, вынимая ватку из уха.

Капитан Енакиев снова прислушался. Но теперь можно было и не прислушиваться. К звукам ружейной и минометной перестрелки присоединился грохот артиллерии. Он был так громок, что разбудил некоторых солдат, которые вскочили и, сидя на земле, стали поправлять шлемы.

Капитан Енакиев сразу понял значение этого внезапного шквального огня на правом фланге. Случилось то худшее, что он и предполагал. Немцы успели подбросить сильные резервы, и теперь эти резервы громили две роты Ахунбаева, посланные в обход.

Капитан Енакиев бросился к телефонному окопчику, чтобы соединиться с Ахунбаевым. Но в это время навстречу ему из окопчика выскочил сержант Матвеев, крича:

— Батарея к бою!

Капитан резко отстранил его и спрыгнул в окоп.

— Командирский наблюдательный, — быстро сказал он.

— На проводе, — оказал телефонист и подал ему трубку, предварительно обтерев ее рукавом.

— У телефона шестой, — сказал капитан Енакиев, делая усилие, чтобы говорить спокойно, — что там у вас делается?

— В районе цели номер восемь наблюдается сильное движение противника. Повидимому, готовится к атаке. Накапливается.

— Какими силами?

— До батальона.

— Хорошо. Сейчас приду, — сказал капитан Енакиев и хотел швырнуть трубку, но вовремя сделал над собой усилие и, не торопясь, отдал ее телефонисту.

Цель номер восемь находилась как раз на той самой высоте, которую собирался атаковать в лоб капитан Ахунбаев. Теперь уже вся картина была полностью ясна. Случилось самое тяжелое из того, что можно было предпо-

лагать. Немцы разгадали план Ахунбаева и опередили его.

И когда капитан Енакиев мчался на виллисе — на переднем крае он редко пользовался лошадью — напрямик через канавы и огоры к наблюдательному пункту, он услышал, как сзади беглым оцем бьет его батарея и как низко над головой свистят ее снаряды, а впереди начинается пехотный бой.

## 24

Командирский наблюдательный пункт был вынесен так далеко вперед, что поле боя просматривалось с него простым глазом.

Достаточно было капитану Енакиеву посмотреть в амбразуру, чтобы сразу понять всю обстановку. Батальон немецкой пехоты спускался с возвышенности на ту самую роту капитана Ахунбаева, которая предназначалась для фронтальной атаки и еще не развернулась.

Теперь капитан Ахунбаев, учитывая обстановку, мог сделать только две вещи. Либо немного отступить и занять более выгодную оборону в старых немецких окопах, по сю сторону ложины, что было вполне благоразумно. Либо он должен был принять встречный бой с превосходящим его противником и немедленно ввести в дело единственную свою роту резерва, что было смело до дерзости.

Капитан Енакиев достаточно хорошо знал своего друга Ахунбаева. Не было сомнений, что он выберет встречный бой. И действительно, не успел Енакиев это подумать, как телефонист подал ему снизу, из своей ниши, телефонную трубку. Енакиев присел на корточки на дне окопа, чтобы пальба не мешала разговаривать, и услышал возбужденный, веселый голос Ахунбаева:

— С кем говорю? Это вы, шестой?

— Шестой слушает.

— Узнаете меня по голосу?

— Узнаю.

— Прекрасно. Вам обстановка ясна?

— Вполне.

— Ввожу в дело резервы. Атакую. Подержите.

— Слушаюсь.

— Через сколько времени ждать?

— Через пятнадцать минут.

— Долго.

— Быстрее не могу.

— Отстаете, деточка, — пошутил Ахунбаев.

И, несмотря на всю серьезность обстановки, Енакиев принял его шутку.

— Не мы отстаем, а вы, как всегда спешите, — отшутился Енакиев, хотя на душе его было не весело. — Где вы находитесь?

— В точке, которая обозначена на вашей карте синим кружком со стрелкой.

— Понятно. Так мы — соседи.

— Милости просим.

— Сейчас будем вместе.

— Всегда рад.

— До свидания.

— Целую, обнимаю вас и все ваше хозяйство.

Этот легкий, веселый разговор по телефону, который со стороны мог показаться пустым, на самом деле был полон глубочайшего смысла. Он обозначал требование Ахунбаева, чтобы его пехоту сопровождали пушки, и согласие Енакиева на это требование. Он обозначал вопрос Ахунбаева: «А ты меня, друг милый, не подведешь в решительную минуту?» И ответ Енакиева: «Не беспокойся. Положись на меня. В бою мы будем все время вместе. Мы вместе победим, а если придется умереть, то мы умрем тоже вместе».

После этого капитан Енакиев приказал по телефону первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и, не теряя ни секунды, передвинуться вперед — сколько можно будет ша на грузовиках, а дальше на руках, вплоть до ротных порядков. Второму взводу он приказал все время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Ахунбаева.

И тут же он вспомнил, что Ваня был в первом взводе. В первую секунду он хотел отменить свое приказание и выбросить вперед второй взвод, а первый оставить на месте и прикрывать фланги. Он уже протянул руку к телефонной трубке, но вдруг решительно повернулся и, поручив ведение огня старшему офицеру, стал пробираться с двумя телефонастами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева.

Часть пути они прошли пригибаясь, а часть пришлось ползти, так как местность была ровная, и откуда-то по ним уже несколько раз начинал бить пулемет.

Командный пункт Ахунбаева представлял собой место посреди пустынного картофельного поля — здесь всюду были картофельные поля, — за двумя большими кучами картофельной ботвы, почерневшей от дождей.

Но капитана Ахунбаева здесь уже не было. Он ушел вперед с ротой резерва, оставив на месте связного и телефониста.

Енакиев был поражен быстротой, с которой действовал Ахунбаев. Теперь обстановка уже не казалась ему такой трудной. Конечно, вести встречный бой двумя ротами против батальона было нелегко. Но такой страстный, напористый, храбрый офицер, как Ахунбаев, мог обеспечить успех. Кроме того, в точности еще не была известна судьба тех двух рот,

которые пошли во фланг. Последние сведения были, что они окружены. Потом связь прекратилась. Но вполне возможно, что они вырвутся и ударят на немцев с тыла.

И это решит исход боя.

Послав разведчиков встретить взвод и провести пушки по самой короткой и наиболее скрытой дороге в расположение пехоты, капитан Енакиев лег за кучей ботвы, разложил карту и стал поджидать капитана Ахунбаева, чтобы вместе с ним решить, как надо действовать.

Между тем Ваня вместе со своим расчетом мчался на грузовике к месту, назначенному капитаном Енакиевым. За ними едва поспевал грузовик второго орудия. Оба грузовика мчались сломя голову. И все-таки сержант Матвеев, который по своему обыкновению сжал стоя, то и дело стучал прикладом автомата в кабину водителя, крича:

— Ну, что же ты, Костя! Давай, нажимай! Давай, давай, давай!

Орудие, прицепленное вместе со своим передком к грузовику, моталось и подсаживалось, как игрушечное. Солдат на поворотах валяло. Они стучались шлемами, хватались друг за друга руками. Но никто при этом не смеялся. Не слышно было также и шуток, столь обычных в подобных случаях.

Лица у всех были грубые, неподвижные, словно вырубленные из дерева. А зеленые шлемы, надвинутые глубоко на глаза, при свете темного ветреного утра казались почти черными.

Ваня не знал, куда их везут. Они так быстро снялись, что мальчик не успел ни у кого спросить. Он только понимал, что их бросают в бой, который уже начался, и что в этом бою они будут действовать как-то необычно, не так, как всегда.

Подчиняясь общему настроению сурового и нетерпеливого ожидания, Ваня сидел, крепко вцепившись одной рукой в скамейку, а другой все время ощупывая в кармане дистанционный ключ.

Его рот был плотно сжат, глаза серьезно и вопросительно смотрели по сторонам, а маленькое лицо, казавшееся под большим шлемом еще меньше и тоньше, так же как и у других солдат, было как бы вырезано из дерева.

Проехав не более двух километров без дороги, по вспаханным полям и огородам, машина спустилась в низину, где навстречу им выбежал высокий солдат, еще издали делая поднятыми над головой руками какие-то знаки.

Передний грузовик немного замедлил ход, и солдат вскочил на лодножку.

— Давай, давай! — быстро сказал он водителю, показывая громадной черной рукой

направление. — Давай, полный, не останавливайся. Надо быстро проскочить через вон эту высотку. Видишь? Там он из миномета доствует.

Водитель резким рывком переставил рычаги, радиатор окутался паром, и машина с нагужливым, ноющим звуком полезла в гору.

— Ну, как там дела? — спросил сержант Матвеев солдата, который продолжал стоять на подножке и показывать дорогу.

— У него там целый батальон против наших двух рот. Жара. Пехота огонька просит.

— А пехота чья?

— Ахунбаевская.

Сержант Матвеев с удовлетворением кивнул головой.

— Сейчас дадим.

Ваня посмотрел на солдата и узнал в нем Биденко.

— Дяденька Биденко! — радостно закричал он. — Глядите, я тоже тут. Шестым номером стою. У меня и ключ специальный есть, чтобы трубки ставить. Во, ключ!

Мальчик вытащил из кармана дистанционный ключ. Но Биденко не заметил Ваню. Как раз в это самое время грузовик выскочил на опасную высоту. Теперь он мчался с предельной скоростью. А водитель все жал и жал, ругаясь свозом зубы и яростно дергая рычаги.

Четыре мины почти одновременно разорвались вокруг грузовика. За стуком ящиков с патронами, за воем мотора, за громоханием орудия, мотающегося сзади по рывтинам и колдобинам, мальчик не услышал ни их полета, ни их разрыва. Он только вдруг увидел черный сноп земли, выброшенной вверх из картофельной грядки. Он чувствовал, как его толкнуло воздухом.

Все же эти четыре мины разорвались недостаточно близко, чтобы причинить какой-нибудь вред. В следующую минуту грузовик проскочил опасное место. Теперь он быстро спускался под гору, в то время как позади весь гребень высоты уже был покрыт бурными облаками взрывов.

— Ну, теперь будет кидать по пустому месту до вечера, — презрительно заметил Матвеев и потрогал свои щегольские усы и свои севастопольские полубачки, как бы желая убедиться, что они находятся на своем месте и не пострадали от обстрела.

— Стоп! — сказал Биденко.

Машина круто развернулась, так что орудие оказалось дулом к неприятелю, и остановилась. Номера соскочили на землю и стали снимать пушку с передка. И Биденко заметил Ваню.

— А, пастушок? Друг милый! И ты здесь?

Он схватил мальчика своими могучими руками, снял его с высокого грузовика и поставил на землю.

— Во, дядя Биденко, глядите, — возбужденно сказал Ваня, показывая разведчику дистанционный ключ.

— Ишь ты, какой стал завзятый орудиец.

Биденко смотрел на мальчика радостно и вместе с тем несколько ревниво, стараясь разглядеть, какие улучшения и усовершенствования ввели орудийцы во внешний вид его бывшего воспитанника. Усовершенствование было одно. Орудийцы надели на мальчика шлем. Это еще больше приблизило Ваню к бывалому солдату. В остальном же все было попржему. Правда, обмундирование Вани уже не имело прежнего ослепительно нового вида. Оно обмялось, потерялось. На сапогах сделались толстые складки. Голенища осели. Рукав шинели в одном месте был промаслен орудийным салом.

Биденко в глубине души все это даже нравилось. Это придавало его любимцу еще более боевой вад. Но все же он не удержался, чтобы не сказать ворчливо:

— А обтрепался весь, вывалился. Срам смотреть.

— Я, дяденька, не виноват. Иной раз приходится, не раздевавшись, почевать возле орудия, прямо на земле.

— Возле орудия... — с горечью сказал Биденко. — Небось, у нас чище ходил. Все-таки надо ажуратнее носить казенное обмундирование.

Ваня понимал, что Биденко это говорит только так, лишь бы поворчать. Он видел, что Биденко его попржему любит. Его сердце сразу согрелось, и ему захотелось рассказать Биденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время: что он уже один раз сам вывалился из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Енакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона.

Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, что у них слышно хорошего, какие есть новые трофеи.

Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шел бой. Каждая секунда была на вес золота. Много разговаривать не приходилось.

Как только пушки были сняты с передков и ящики с патронами выгружены, — а это делалось не более чем за полторы минуты, — сержант Матвеев подал новую, еще ни разу не слышанную Ваней команду:

— На колеса!

25

Номера тотчас окружили пушку, подняли хобот, навалились на колеса — по два человека на каждое колесо, — пристегнули ламки к колпакам колес, крякнули, ухнули и довольно быстро повалили орудие по тому направ-

лению, которое показывал знаками бежавший впереди Биденко.

Остальные солдаты схватили ящики с патронами и потащили их волоком следом за душкой.

Мальчику никто ничего не сказал. Он сам понял, что ему надо делать. Он взялся за толстую веревочную ручку ящика и попытался его потащить. Но ящик был слишком тяжел. Тогда Ваня, не долго думая, отбил дистанционным ключом крышку, положил себе на плечи по длинному, густо смазанному салом патрону и побежал, приседая от тяжести, за остальными.

Когда он прибежал, оружие уже стояло возле большой кучи картофельной ботвы и было готово к бою. Недалеко находилось и другое оружие.

Капитан Енакиев тоже был здесь.

Ваня никогда еще не видел его в таком положении. Он лежал на земле, как простой солдат, раскинув ноги и твердо вдавив в землю локти. Он смотрел в бинокль.

Рядом с ним, облокотившись на автомат, полулежал капитан Ахунбаев в местной плащпалатке, туго завязанной на шее тесемочками. Возле него на земле лежала сложенная, как салфетка, карта. Ваня заметил на ней две толстых красных стрелы, направленных в одну точку. Тут же лежали еще два человека—наводчик Ковалев и наводчик второго орудия, фамилии которого Ваня еще не знал. Они оба смотрели в том же направлении, куда смотрел и командир батареи.

— Хорошо видите? — спросил капитан Енакиев.

— Так точно, — ответили оба наводчика.

— По-вашему, сколько метров до цели?

— Метров семьсот будет.

— Правильно. Семьсот тридцать. Туда и давайте.

— Слушаюсь.

— Наводить точно. Стрелять быстро. Тепла не терять. От пехоты не отрываться. Особой команды не будет.

Капитан Енакиев говорил жестко, коротко, каждую фразу отбивая точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем невеселой, странной, зловеще остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы.

— Открывать огонь сразу по общему сигналу, — сказал капитан Енакиев.

— Одна красная ракета, — нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую сумку. — Я сам пуцу. Следите.

— Слушаюсь.

Ахунбаев вставил в металлическую петель-

ку полевой сумки кончик ремешка и с силой его дернул.

— Пошел! — решительно сказал он и, не попрощавшись, широкими шагами побежал вперед, туда, откуда слышалась все учащаяся ружейная стрельба.

— Вопросы нет? — спросил капитан Енакиев наводчиков.

— Никак нет.

— По орудиям!

И оба наводчика поползли каждый к своему орудию. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг, — а их было довольно много: и батарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и головой, — все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли.

Кроме того, Ваня заметил, что иногда в воздухе раздается звук, похожий на чистое, звонкое чириканье какой-то птички. Теперь же ему стало ясно — посвистывают шальные пули. Тогда он думал, что находится где-то совсем близко от пехотной цепи. И сейчас же он увидел эту пехотную цепь. Она была совсем рядом.

Ваня давно уже видел впереди, посредине картофельного поля, ряд колмиков, которые казались ему кучками картофельной ботвы. Теперь он ясно увидел, что именно это и есть пехотная цепь. А за нею уже никого своих нет, а только немцы.

Тогда он, осторожно пригибаясь, подошел к своему орудию, поставил снаряды на землю и лег на свое место шестого номера возле откупоренного ящика.

Ване казалось, что все то, что делалось в этот день вокруг него, делается необыкновенно томительно, медленно. В действительности же все делалось со сказочной быстротой.

Не успел Ваня подумать, что было бы очень хорошо как-нибудь обратиться на себя вниманье капитана Енакиева, улыбнуться ему, показать дистанционный ключ, сказать: «Здравия желаю, товарищ капитан», словом дать ему понять, что он тоже здесь вместе со своим орудием и что он, так же как и все солдаты, воюет, как впереди хлопнул слабый выстрел и взлетела красная ракета.

— По наступающим немцам цепям. Прямой наводкой. Огонь! — коротко, резко, властно крикнул капитан Енакиев, вскакивая во весь рост.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев.

И в этот же самый миг или даже, как показалось, немного раньше ударили обе пушки. И тотчас они ударили еще раз, а потом еще, и еще, и еще. Они били подряд без остановки.



Звуки выстрелов смешивались со звуком разрывов. Непрерывный звенящий гул стоял, как стена, вокруг орудий. Едкий, душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый, металлический вкус.

Дымящиеся гильзы одна за другой выскакивали из канала ствола, ударялись в землю, подпрыгивали и переворачивались. Но их уже никто не подбирал. Их просто отбрасывали ногами.

Ваня не успевал вынимать патроны из укупорки и сдирать с них колпачки.

Ковалев всегда работал быстро. Но сейчас каждое его движение было мгновенным и неуловимым, как молния. Не отрываясь от панорамы, Ковалев стремительно крутил подъемный и поворотный механизмы одновременно обеими руками, иногда в разные стороны.

То и дело, закусив съеденными зубами усы, он коротко, злобно рвал спусковой шнур. И тогда пушка опять и опять судорожно дергалась и окутывалась прозрачным пороховым газом.

А капитан Енакиев стоял рядом с Ковалевым по другую сторону орудийного колеса и пристально следил в бинокль за разрывами своих снарядов. Иногда, чтобы лучше видеть, он отходил в сторону, иногда бежал вперед и ложился на землю. Один раз он даже с необыкновенной легкостью взобрался на кучу ботвы и некоторое время стоял во весь рост, несмотря на то, что несколько мин разорвалось поблизости и Ваня слышал, как один осколок резко щелькнул по щиту пушки.

— Вот-вот. Хорошо. Еще разик, — нетерпеливо говорил капитан Енакиев, снова возвращаясь к пушке и что-то показывая Ковалеву рукой, — а теперь правой два деления. Видишь, там у них миномет. Давай туда. Три штуки. Огонь!

Пушка снова судорожно дергалась. А капитан Енакиев, не отрываясь от бинокля, быстро приговаривал:

— Так, так, так. Молодец, Василий Иванович, угодил в самую ямку. Замолчал, мерзвец. А теперь, пожалуйста, опять по пехоте. Ага, черти! Прижались к земле, не могут головы поднять. Дай им еще, Василий Иванович.

Один раз, при особенно удачном выстреле, капитан Енакиев даже захохотал, бросил бинокль и похлопал в ладоши.

Никогда еще Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживленным, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром. Но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость — гордость сына за своего отца.

Вдруг капитан Енакиев поднял руку, и обе

пушки замолчали. Тогда Ваня услышал торопливую, захлебывающуюся скороговорку по крайней мере десятки пулеметов, собранных в одном месте. Звук был такой, что мальчишка мороз подрал по коже. Он не понимал, хорошо это или плохо. Но когда он посмотрел на капитана Енакиева, то сразу понял, что это очень хорошо.

Впоследствии мальчик узнал от солдат, что это были двенадцать пулеметов Ахунбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко. Тогда они внезапно и все разом открыли огонь.

— Ага, бегут, — сказал капитан Енакиев. — А ну-ка, по отступающим немецким цепям, шрапнелью! Прицел тридцать пять трубка тридцать пять. Огонь! — закричал он, и тогда пушки выстрелили каждая шесть раз; он снова легким движением руки остановил огонь.

Пулеметы продолжали заливаться, но теперь, кроме их машинного обгоняющего друг друга звука, слышались уже знакомый звук многих человеческих голосов, кричавших в разных концах поля: «Ура-а-а-а...»

— Вперед! — воскликнул капитан Енакиев и, не оглядываясь, побежал вперед.

— На колеса! — крикнул сержант Матвеев, у которого по щеке текла кровь.

И пушки снова покатались вперед. Теперь они катились еще быстрее. Навстречу им выбегали разгоряченные боем пехотинцы и с громкими, азартными криками помогали артиллеристам толкать саницы колес. Другие несли или волокли ящики с патронами.

Между тем капитан Ахунбаев продолжал гнать немцев, не давая им залечь и окопаться. Двенадцать пулеметов были не единственный сюрприз, приготовленный Ахунбаевым. Он держал в запасе минометную батарею, которая тоже была надежно укрыта и не сделала еще ни одного выстрела.

Теперь, пока пушки были на ходу и не могли стрелять, настала очередь минометной батареи. Она сразу сосредоточенным веером обрушилась на бегущих немцев. Немцы бежали так быстро, что преследующая их пехота, а вместе с нею и пушки, долго не могли остановиться.

Не сделав ни одной остановки, пушки Енакиева продвинулись до середины возвышенности, откуда до основных немецких позиций было рукой подать. Здесь немцам удалось зацепиться за длинный ров огорода. Они стали окапываться. Но в это время подоспели пушки. Бой разгорелся с новой силой.

Теперь пушки стояли среди стрелковых ячеек. Справа и слева Ваня видел лежавших на земле стреляющих пехотинцев. Он видел раздатчиков патронов, которые быстро бежа-

ли и падали позади стрелков, волоча за собой цинковые ящики.

Ваня слышал крики офицеров, командующих залпами.

Вся земля была вокруг изрыта дымящимися воронками. Всюду валялись стреляные пулеметные ленты с железными гильзами, раздавленные немецкие фляжки, обрывки кожаного снаряжения с тяжелыми цинковыми брячками и пряжками, неразорвавшиеся хорошенькие мины, порванные в клочья немецкие плащ-палатки, окровавленные тряпки, фотокарточки, открытки и множество того зловещего мусора, который всегда покрывает поле недавнего боя.

Несколько немецких трупов в темных землисто-зеленых мундирах и больших серых резиновых сапогах валялось недалеко от пушек.

Сначала Ване показалось, что здесь они простоят долго.

Но, видя, что атака захлебывается, капитан Ахунбаев выложил свой третий и последний козырь.

Это был свежий, еще совсем не тронутый взвод, который капитан Ахунбаев приберег на самый крайний случай. Он подвел его скрытно, с необыкновенной быстротой и мастерством, развернул и лично повел в атаку мимо орудий Енакиева на самый центр немцев, не успевших еще как следует окопаться.

Это была минута торжества. Но она пролетела так же стремительно, как и все, что делалось вокруг Вани в это утро.

Едва орудийный расчет взялся за лопаты, чтобы поскорее закрепиться на новой позиции, как Ваня заметил, что все вокруг изменилось вдруг как-то к худшему. Что-то опасное, даже зловещее показалось мальчику в этой тишине, которая наступила после грохота боя.

Капитан Енакиев стоял, прислонившись к орудийному щиту, и, прищурившись, смотрел вдаль.

Ваня еще никогда не видел на его лице такого мрачного выражения.

Ковалев стоял рядом и показывал рукой вперед. Они негромко между собой переговаривались.

Ваня прислушался. Ему показалось, что они играют в какую-то игру-считалку.

— Один, два, три,— говорил Ковалев.

— Четыре, пять,— продолжал капитан Енакиев.

— Шесть,— сказал Ковалев.

Ваня посмотрел туда, куда смотрели командир и наводчик. Он увидел мутный, зловещий горизонт и над ним несколько высоких острокопечных башен, несколько старых деревьев в

силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не увидел.

Но в это время подошел капитан Ахунбаев. Его лицо было горячим, красным. Оно казалось еще более широким, чем всегда. Пот, черный от копоти, спруился по его щекам и капал с подбородка, блестящего, как помидор. Он утирал его краем плащ-палатки.

— Пять танков,— сказал он, переводя дух.— Направление на водокачку. Дальность три тысячи метров.

— Шесть,— сказал капитан Енакиев,— расстояние две тысячи восемьсот.

— Возможно,— сказал Ахунбаев.

Капитан Енакиев посмотрел в бинокль и сказал:

— В сопровождении пехоты.

Капитан Ахунбаев нетерпеливо взял из его рук бинокль и тоже посмотрел. Он смотрел довольно долго, водя биноклем по горизонту. Наконец он вернул бинокль.

— До двух рот пехоты,— сказал Ахунбаев.

— Приблизительно так,— сказал капитан Енакиев.— Сколько у вас осталось патронов?

Ахунбаев не ответил на этот вопрос прямо.

— Большие потери,— с раздражением сказал он, перевязал на шее тесемочки плащ-палатки, подтянул осевшие голенища сапог и широкими шагами побежал вперед, размахивая автоматом.

Как не тихо велся этот разговор, но в тот же миг слово «танки» облетело оба орудия.

Солдаты, не сговариваясь, стали юзать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны.

Твердо помня свое место в бою, Ваня бросился к патронам.

И в это время капитан Енакиев заметил мальчика.

— Как! Ты здесь?— сказал он.— Что ты здесь делаешь?

Ваня тотчас остановился и вытянулся в струнку.

— Шестой номер при первом орудии, товарищ капитан,— расторопно доложил он, прикладывая руку к шлему, ремешок которого никак не затягивался на подбородке, а болтался свободно.

Тут, надо признаться, мальчик немножко слукавил.

Он не был шестым номером. Он только был запасным при шестом номере. Но ему так хотелось быть шестым номером, ему так хотелось предстать в наиболее выгодном свете перед своим капитаном и названным отцом, что он невольно покривил душой.

Он стоял навтыжку перед Енакиевым, глядя на него широко раскрытыми синими гла-

звучи, в которых светилось счастье от того, что командир батареи, наконец, его заметил.

Ему хотелось рассказать капитану, как он всревоносил за пушкой патроны, как он снял коблочки, как недалеко упала мина, а он не испугался. Он хотел рассказать ему все, получить одобрение, услышать веселое солдатское слово «сплен!»

Но в эту минуту капитан Енакиев не был расположен вступать с ним в беседу.

— Ты что, с ума сошел? — сказал капитан Енакиев испуганно.

Ему хотелось крикнуть: «Ты что — не понимаешь? На нас идут танки. Дурачок, тебя же здесь убьют. Беги!» Но он сдержался. Он строго нахмурился и сказал отрывисто, сквозь зубы:

— Сейчас же отсюда уходи.

— Куда? — сказал Ваня.

— Назад. На батарею. Во второй взвод. К разведчикам. Куда хочешь.

Ваня посмотрел в глаза капитану Енакиеву и понял все. Губы его дрогнули. Он вытянулся еще сильнее:

— Никак нет, — сказал он.

— Что? — с удивлением переспросил капитан Енакиев.

— Никак нет, — повторил мальчик упрямо и опустил глаза в землю.

— Я тебе приказываю, слышишь? — тихо сказал капитан Енакиев.

— Никак нет, — сказал Ваня с таким запряжением в голосе, что даже слезы показались у него на ресницах.

И тут капитан Енакиев в один миг понял все, что происходило в душе у этого маленького человека, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное, уже нет времени.

Чуть заметная улыбка, молодая, озорная, хитрая, скользнула по его губам. Он вынул из полевой сумки листик серой бумаги для донесений, приложил его к оружейному штыку и быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листик в небольшой серый конвертик и заклеил.

— Красноармеец Солнцев! — сказал он так громко, чтобы слышали все.

Ваня подошел опростовым шагом и стукнул каблучками.

— Я, товарищ капитан.

— Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба. Понятно?

— Так точно.

— Повторите.

— Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба, — автоматически повторил Ваня.

— Правильно.

Капитан Енакиев протянул конверт. Так же автоматически Ваня взял его. Растегнул шнурел и глубоко засунул пакет в карман гимнастерки.

— Разрешите идти?

Капитан Енакиев молчал, прислушиваясь к отдаленному шуму моторов. Вдруг он быстро повернулся и коротко бросил:

— Ну? Что же вы? Ступайте!

Но Ваня продолжал стоять навывтяжку, не в силах отвести сияющих глаз от своего капитана.

— Что же ты? Ну? — ласково сказал капитан Енакиев.

Он протянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто прижал его к груди.

— Выполняй, сынок, — сказал он и слегка оттолкнул Ваню от себя небольшой рукой в потертой замшевой перчатке.

Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и, не оглядываясь, побежал. Не успел он пробежать и ста метров, как услышал за собой оружейные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Енакиева.

## 26

Когда Ваня, трудно дыша и обливаясь потом, добежал до артиллерийских позиций и, наконец, разыскал командный пункт дивизиона, на той высоте, где он оставил капитана Енакиева, уже давно кипел бой.

Вся высота была сплошь покрыта смешавшимися клубами белого, черного и серого дыма, тугого и мудрявого, как новая овчина.

В дыму мигали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем, как будто все время где-то распахивали и захпывали огромные ворота.

И десятки снарядов наших ближних и дальних батарей каждый миг проносились над головой по направлению к этой высоте.

Не глядя на Ваню, начальник штаба взял пакет, прочитал, нахмурился, сказал:

— Да. Я уже знаю.

И положил пакет в папку боевых донесений.

Ваня вышел из штабного бивнядажа и побежал назад. Только теперь он заметил, что бой идет не только на той высоте, где находился капитан Енакиев. Теперь бой уже шел по всему фронту, медленно перемещаясь на запад.

Ваня бежал, а мимо него, обгоняя, пронеслись грузовики мотомеханизированной пехоты; танки косо перескакивали через глубокие канавы, как утки; на вид медленно, а на самом деле быстро, двигались, скрежеща гусеницами, самоходные пушки; бежали со своими палками и катушками телефонисты, наращивая свои линии; ехал на прыгающем вилтисе генерал в дымчатой пашахе с красным

верхом, держа перед глазами карту, развернутую, как газета.

Словом, все вокруг перемешалось, все было в движении, все торопилось вперед.

Ваня с трудом узнавал знакомую местность, которая, казалось, тоже переменялась, стала какой-то чужой, странной. Ваня не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил свое оружие. Ему казалось, что прошло несколько минут. На самом деле прошло несколько часов. Он думал, что на высоте продолжается бой, и очень торопился.

Он не знал, что там уже давно все кончено: танки уничтожены, атака отбита, взятая высота закреплена. А то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это все случилось. Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение сорока минут отбивались от окруживших их немцев ручными гранатами, а когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседали, то капитан Енакиев позвонил в дивизион и вызвал огонь трех батарей дивизиона на себя.

Ничего этого Ваня не знал.

Но необъяснимая тревога мало-помалу охватила его душу, когда он стал приближаться к знакомому месту.

Впрочем, это место тоже теперь было неизвестным. Ваня с трудом узнавал его.

Вот позиция, откуда они первый раз стреляли прямой наводкой. Ваня узнал ее только по куче картофельной ботвы, немного сбитой набок, когда на нее взбирался капитан Енакиев. Возле этой кучи раньше лежал агустой, расколовшийся ящик от патронов. Он и сейчас лежал здесь.

Но теперь из него кто-то, неизвестно зачем, вынул внутреннюю перегородку с луночками для патронов и бросил их тут же, на замерзшую землю. Больше ничего знакомого не было. Главное, не было тех людей, которые тогда здесь находились и которые и делали это место знакомым.

Мальчик пошел дальше.

На том поле, где раньше лежала в цепь пехота Ахунбаева, теперь дымился обугленный трузовик, со всех сторон окруженный взорвавшимися и разлетевшимися орудийными патронами. И Ваня понял, что это был трузовик, который, наверно, пытался подвезти капитану Енакиеву патроны.

Еще дальше Ваня увидел два разбитых немецких танка, которых тут раньше не было. Из развороченного одного танка торчала нога в серой обгоревшей обмотке и в толстом башмаке, подбитом крупными, стершимися железными гвоздиками. Возле другого танка с рас-

щепленным орудийным стволом в воронке валялась какая-то треснувшая оклянка, похожая на электрическую лампочку. Из этой оклянки медленно вытекала пустая прозрачная жидкость, горя неподвижным пламенем, желтым и неярким, как фосфор.

Дальше все поле было изрыто воронками. Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Все время приходилось опускаться вниз и подниматься вверх. Ваня прошел по этому полю шагов тридцать и совсем устал.

Горячий пот покрывал его голову под тяжелым шлемом. Тяжелая шинель давила плечи.

Несколько чужих, неизвестных артиллеристов прошли мимо Вани; на спине у одного из них был зеленый ящик с зеленой антенной, похожей на камышинку с тремя узкими листьями.

Прошел неизвестный артиллерийский капитан на неизвестной раслой воронной кобыле и за ним неизвестный разведчик с автоматом на шее.

Все вокруг было неизвестным, чужим, под этим сумрачным низким небом, откуда холодный ветер нес первые снежинки.

И вдруг Ваня увидел свою пушку. Она стояла, немного накренившись, и вместо одного колеса, которого почему-то же было, ее подпирало несколько ящиков от патронов, поставленных один на другой.

Недалеко от пушки стоял трузовик с отгнутом бортом и несколько человек что-то осторожно грузили в него.

С замерзшим, почти остановившимся сердцем мальчик подошел ближе. То, что он увидел, было ужасно. Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись кучи стреляных гильз, пулеметные ленты, разогнанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, разорвавшиеся гильзы, порванные письма, документы.

И на лафете знакомой пушки, которая одна впереди этого общего уничтожения казалась сравнительно мало пострадавшей, сидел капитан Енакиев, широко свесив голову и руки, и боком, всем телом повалившись на открытый затвор.

Ване показалось, что капитан Енакиев спит. Мальчик хотел броситься к нему, но какая-то могучая, враждебная сила заставила его остановиться и окаменеть.

Он неподвижно смотрел на капитана Енакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит.

Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Енакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем ва-

лялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Енакиева серые волосы, в которые уже валялось немного снега.

Лица капитана Енакиева не было видно, так как оно опустилось слишком низко. Но откуда все время капала кровь. Ее уже много затекло под лафет, целая лужа.

Руки капитана Енакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями.

Между тем ноги в тонких, старых, но хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты и, казалось, вот-вот пошлют, парая земля каблучками.

Ваня смотрел на него, знал наверное, что это капитан Енакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек — неподвижный, непонятный, страшный, а главное, чужой, как и все, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика.

И вдруг чья-то рука тяжело, но вместе с тем нежно опустилась на валин погон. Ваня поднял глаза и увидел Биденку. Разведчик стоял возле него, большой, добрый, родной, и ласково улыбался.

Одна его могучая рука лежала на валинном плече, а другую, толстую забинтованную и перевязанную одровавленной тряпкой, он держал, крепко прижимая к груди, как ребенка.

И вдруг в душе у Вани будто что-то повело, удюлось и открылось. Он бросился к Биденке, обхватил руками его бедра, прижался лицом к его жесткой шинели, от которой пахло жаром, и слезы сами собой полились из его глаз.

— Дяденька Биденко... дяденька Биденко... — повторял он, вздрагивая всем телом, и захлебываясь слезами.

А Биденко, осторожно сняв с него тяжелый шлем, гладил его забинтованной рукой по теплой, стриженной голове и смущенно приговаривал:

— Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что паде-лаешь. На то война.

## 27

В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Он написал ее перед тем, как вызвать огонь на себя. Хотя она была написана второпях, но можно было подумать, что капитан Енакиев писал ее в совершенно спокойной обстановке, у себя в блиндаже. Такал она была аккуратная, четкая, без единой по-марки.

А между тем в ту страшную, последнюю минуту, когда он ее писал, вокруг него почти уже никого не осталось.

Капитан Ахунбаев лежал на земле, раскинув из-под плащ-палатки руки. Пуля, пробив его широкий, упрямый лоб в самой середине. Только что Ковалев сел на землю в такой позе, как будто он хотел снять сапог и перемотать портянку, но вдруг повалился набок и больше уже не двигался.

Однако капитан Енакиев в своей записке не забыл проставить число, месяц, год и час, когда он ее писал. Он даже обозначил место: «В районе цели номер восемь». Он также, подтикая свою фамилию, не забыл поставить точку.

Записка была свернута треугольничком и положена в наружный карман гимнастерки с таким расчетом, чтобы ее легко можно было найти.

В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командование оказать ему последнюю воинскую почесть — похоронить его не в Германии, а на родной советской земле.

Кроме того, он просил позаботиться о судьбе своего названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии достойного офицера.

Последняя воля капитана Енакиева была свято выполнена. Его похоронили на советской земле.

После того как вьюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцева потребовали на командный пункт полка к командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдата обозначает перемену судьбы.

Командир артиллерийского полка объявлял Ване, что он направляется в суворовское училище и сказал:

— Собирайся.

А через четыре дня, по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шел Ваня Солцев в сопровождении ефрейтора Биденко.

Они шли не спеша, с тем выражением достоинства и некоторого скрытого недовольства, с которым обычно ходят фронтовики по улицам тылового города, удивляясь тишине и беспорядку его жизни.

Биденко шел налегке, с подвязанной рукой. За спиной у мальчика был зеленый вещевой мешок.

В этом мешке лежало множество нужных и не нужных вещей, которые подарили Ване разведчики и оружейцы, соединенными усилиями собирав своего сына в дальнюю путь-дорогу.

Была в вещевом мешке и знаменитая торба с букварем и компасом. Был кусок превосходного душистого мыла в розовой целлулоидной мыльнице и зубная щетка в зеленом целлуло-

идном футляре с дырочками. Был зубной порошок, иголки, нитки, сапожная щетка, вакса. Была банка свиной тушонки, мешочек рафинада, спичечная коробочка с солью и другая спичечная коробочка—с заваркой чаю. Была кружка, губная гармоника, трофейная зажигалка, несколько зубчатых осколков и два хороших патрона от немецкого крупнокалиберного пулемета — один с желтым снарядиком, другой с черным снарядиком и красной полоской. Была буханка хлеба, белье и сто рублей денег.

Но главное, там были: тщательно завернутые в газету «Суворовский натиск» и сверху того еще и в платок погоны капитана Енакиева, которые на прощание вручил Ваня командир полка на память о капитане Енакиеве и велел их хранить, как зеницу ока, и оберечь до того дня, когда, может быть, и сам Ваня сможет надеть их себе на плечи.

И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник оказал так:

— Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у оружейцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева — хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я надеюсь, ты не поорамилшь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду: всегда и везде, прежде всего и после всего, ты должен быть верным сыном своей матери-родины и верным сыном лучшего сына этой родины, великого человека—Сталина. Прощай, Ваня Солдатов, и когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и принимать тебя, как родного. А теперь собирайся.

Ваня и Биденко прошли через весь город, заваленный сугробами, и остановились перед большим домом екатерининских времен с колоннами и арками.

Город в сорок втором году некоторое время находился в руках у немцев, и дом этот в иных местах еще хранил на себе следы пожара.

Узорная чугунная решетка, покрытая инеем, сквозила, как сахарная. Несколько столетних берез росли вокруг дома. Воздушные массы ветвей с темными шапками вороньих гнезд, так же как и решетка, покрытая инеем, хрупко висели в нежном розоватом воздухе и казались совершенно голубыми.

Низкое солнце, лишненное лучей, плавало в морозном дыму, как яичный желток, и над старинной пожарной каланчой с выгоревшими стенами летали галки.

Биденко и Ваня прошли через контрольную

булку, и в громадных сводчатых сенях Биденко сдал Ваню и пакет с документами лейтенанту офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и привалился ждать.

Он ждал довольно долго. Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил. Раздающиеся звуки трубы оглушительно ревели в этих просторных сенях с каменными толстыми стенами и каменными плитами пола. Они уносились вверх по громадной каменной лестнице с медными перилами, медленно утихали, и только слабое эхо еще долго носилось где-то в глубине здания по коридорам, классам и залам.

Здесь все совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканья сотен ног. Она же вдруг водворяла такую мертвую тишину, что ни одного звука больше не слышалось, кроме шлепанья калли из рукавишки в умывальной и резкого тиканья часов под лестницей. Одна раз труба приказала выстроиться невидимой роте, и Биденко слышал, как в тишине где-то строплась эта невидимая рота, рассчитываясь на первый-второй, вздвигалась ряды, поворачивалась, а потом быстро прошла, враз отбивая шаг сотней крепких башмаков. «Ать-два, ать-два, ать-два... левой, левой».

А один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик в черном мундирчике и длинных брюках с красными лампасками. Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время, и он это сделал сам по себе, без спросу.

Думая, что он один, мальчик лег животом на перила и с выражением блаженства на курносом веснушчатом лице съехал вниз. Но вдруг, заметив Биденко, страшно смутился, обдернул мундирчик и строевым шагом прошел по каменным потертым плитам, юркнув в боковую дверь. А Биденко сидел, пригорюнившись, и гладил свою раненую руку, которая к вечеру стала побаливать. Ему жалко было расставаться с Ваней, потому что он чувствовал, что теперь они расстанутся навсегда.

На первой площадке лестницы висела большая, во всю стену, картина. На ней была нарисована белая лестница, похожая на ту, из которой она висела. Нарисованная лестница казалась продолжением настоящей. По сторонам ее были нарисованы старинные пушки, барабаны, знамена и трубы. По ступеням ползла маленькая мальчишка в черном мундирчике с красными погонами. Сверху к нему протягивал руку Суворов в сером солдатском плаще, переброшенном через плечо, в высоких

Бутфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с сорым хохолком над высоким, сухим лбом.

И Биденко представилось, что это его Ваня, его пастушок, между труб и знамен шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку.

Но вот открылась боковая дверь и в шинели вошел дежурный офицер и Ваня. Биденко вскопчил с лавра и вытянулся. Биденко ожидал увидеть Ваню уже в форме суворовского училища. Но мальчик еще был в своем армейском обмундировании, хотя без шинели и без чубчика, который успели сстричь.

— Воспитанник Солдатов, можете проститься с провожатым, — оказал дежурный офицер и отошел в сторону.

Ваня подошел к Биденко. Они некоторое время молчали, не зная, что нужно делать.

В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь. И он понял, что эта жизнь навсегда кончилась, а теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

— Прощай, пастушок, — сказал, наклонившись, Биденко.

— Счастливого пути, — сказал Ваня.

Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда, у разбитого орудия в районе цели номер восемь, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его.

Биденко молча протянул ему руку. В первый раз мальчик пожал эту громадную, грубую руку, почувствовал всю ее силу и всю ее нежность. И в это время Биденко не удержался, и опять, как тогда в районе цели номер восемь, погладил ванину стриженую голову своей забинтованной рукой.

— Дядя Биденко, прощайте! — вдруг по всем силам крикнул Ваня, когда Биденко открывал тяжелую входную дверь с медными пружинами.

Но разведчик, не оглянувшись, вышел на улицу.

## 28

А через несколько часов, получив у капитанармуса и примерив форменное обмундирование, с тем чтобы пасть его на другой день с утра, Ваня, исполняя приказание трубы, уже спал вместе с другими воспитанниками в большой теплой комнате, на отдельной кровати, под новеньким байковым одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъемом, старый генерал, начальник училища, который всегда просыпался раньше всех, обходил, по своему обыкновению, спальни, для того чтобы посмотреть, все спят ли мальчики.

Он остановился возле ванпной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение.

Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была так далека от тела, что он не почувствовал, как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку.

Генерал смотрел на его одухотворенное спящее лицо и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую ее глубину, прочесть самые его сокровенные чувства.

Генералу была известна ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батарею мальчика прозвали пастушком. И это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи. Он любил иногда вспоминать свое детство.

И теперь, глядя на спящего пастушка, генерал — совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко — вспомнил свое детство: раннее деревенское утро, коров, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зеленому лугу, разноцветные искры росы — огненно-фиолетовые, синие, красные, желтые; и в руках у себя вспомнил маленькую, вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные, однообразные и вместе с тем веселые звуки.

Он невольно посмотрел на руку мальчика, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирал скважины свирели.

И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под знаменами великого Сталина под Царицыном, под Кронштадтом и под Орлом и сражавшийся во время великой отечественной войны под теми же славными знаменами, под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, этот мужественный, суровый человек, с седой, лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по свивым усам и нежно улыбнулся.

И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравшей подъем.

Ваня услышал тотчас властный, резкий, требовательный голос трубы, но проснулся не сразу. Он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна.

Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку.

В то самое время Ване снился последний,

предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву.

Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вез тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своем зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шее стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах.

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещенные звездами, блестели и дымились, словно были натерты фосфором.

Ели, стоявшие по колено в сугробах, были как-то особенно высоки. По сравнению с ними, телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но еще выше елей было небо, все засыпанное зимними звездами. Особенно прекрасно сверкали звезды впереди, на том черном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были вытранены из самых лучших и самых крупных алмазов в мире.

Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звездам. Но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск. Они играли еще ярче, еще прекраснее.

А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звезд и даже

выше самого черного бездонного неба.

Вдруг какой-то далекий звук раздался в темной глубине леса. Ваня сразу узнал его. Это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас все волшебным образом изменилось. Ели по сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окруженную пушками, барабанами и трубами.

И Ваня побежал по этой лестнице.

Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в сером солдатском плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным, сухим лбом.

Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, туда, где на самом верху, осененный боевыми знаменами четырех победоносных войн, стоял Сталин с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающейся из отворотов его шинели.

Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требовательно смотрели немного прищуренные, зоркие, пронизательные глаза. Но под темными усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку, и ему показалось, что Сталин говорит:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!

Москва, 1944 год



## Аэростат

Пропытогодние помнишь закаты?  
Каждый вечер из мглы броневой,  
Волоча за собою каюты в небеса, что войною разъяты на невидимые квадраты,  
Поднимались аэростаты, чтоб недвижно стоять над Москвой.

А сегодня?

Лежат они в гнездах далеко от тебя и меня.  
И не нужно стремиться им в воздух, полный залпов и блеска огня,  
Потому что все небо грохочет в многоцветной победной красе,  
А о чем эти громы пророчат — понимаем сегодня мы все!  
Ну, а вы, отслужившие стражи? Позабыла вас темная ночь!  
Что придумать? Убрать? Ну куда же? Увезти вас куда, уволочь?  
У стены Оружейной палаты сохранить бы вас, что ли, скорей,  
Точно втиснутых в ржавые латы опочивших богатырей!  
Нет!

Еще над моей головою, величав и прекрасней востократ,  
Богатырь над победной Москвою, ты поднимешься, аэростат!  
Ты не будешь таким вот, как эти, но, былую их славу храма,  
Встанешь в небе при солнечном свете, золотой среди белого дня!

Да! Питаю я твердую веру,  
Веру в то, что над шумной листвой, над железом, асфальтом, травой,  
В пожаренную стратосферу ты подымешься над Москвой!  
И, быть может, в гондоле я буду, и, когда повернутся рули,  
Я увижу, увижу оттуда то, что видеть не смог бы с земли!  
Что увижу я?  
Близкое небо,  
Небо, полное разных чудес,  
Ибо зрелость ипшеничного хлеба достигает к до небес,  
Ибо сладость янтарного меда подымается выше луны,  
Потому, что волшебна природа и ее победить мы вольны!  
И в какие-то сверхтелескопы, а, быть может, и вовсе без них,  
Разгляжу и просторы Европы и земель очертавья иных:  
Африканские побережья, океан беспредельно глубок,  
И далекую бухту Медвежья, и Аляски мерцающий бок —  
Север, запад, и юг, и восток!

Я увижу!

А ты не увидишь?

Не увидишь — так сам виноват.

Посмотри — что везут? Ты не видишь?

Ну, конечно, — аэростат!

Значит, где-то не спят они в гнездах.

Хорошенько ты это усвой.

В переулке стоит постовой. Там, где надо, стоят часовые.

Свищет вьюга над мостовой — песню русскую? Марш боевой?

Все!

Грохочет сверкающий воздух,

Воздух в звездах над гулкой Москвой.

# Война за мир

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

**И**ван Кузьмич Замятин — человек с некоторыми особенностями: быстрый на ногу, он, однако, всегда ходит так, как бы кому не помешать, кого бы случайно не толкнуть, и страшно скуп на слово. Прежде чем ответить на тот или иной вопрос, он долго смотрит себе в ладонь, растирая ее большим пальцем, словно пробуя сухую краску, затем произносит такое, что запоминается надолго. За это пные называют его «долгодумом», иные — «политиком», а он и тем и другим говорит:

— Язык человеку на то и дан, чтобы слово было, как гвоздь: воткнул его в дерево, ударил молотком и — навеки.

Но сегодня он чем-то так взволновался, что стал просто неузнаваем. Ростом он мал и никогда не горевал по этому поводу, а тут, после вахты, идя по заводскому двору, он поднялся из носки, стараясь казаться выше других, и, отвешивая поклоны, намекая на что-то весьма необычайное, шаловливо покрикивал:

— Живем! Э-э! Живем! — и быстро шагал по дорожке, по обе стороны усаженной отцветшими липами.

Под липами ленно шевелились густые, черные тени. Иван Кузьмич на какую-то секунду закрыл глаза, представив себе подмосковные леса и вот такие же густые черные тени. На сердце у него захолонуло. Он закрутил головой и, таинственно улыбаясь, еще быстрее побежал к проходной будке.

Вскоре, выйдя из метрополитена, он пересек площадь и попал в рабочий городок. Здесь громоздились, налезая друг на друга, теснясь, корпуса домов. В узких двориках за крашеными решетками красовались цветы, а около, на кучах песка, играли дети. От их криков стоял такой звон, что Иван Кузьмич на минутку задержался, намереваясь поговорить с ребятами, но, вспомнив о том, что так взволновало его, заспешил к своему подъезду.

«Вот ведь какую несую: ахнут!» — и он чуть ли не вскачь вбежал на четвертый этаж, а ворвавшись в квартиру, уверенный, что его встретят криками «ура», торжественно возвестил:

— Грибы-ы! Боровики!

Из кухни выглянула Елена Ильинична.

— А-а, отец! Пришел? — проговорила она, как всегда допытывая его приходом, и протянула было руки, чтобы принять от него пиджак, но, увидав, что кончик носа у Кузьмича побелел, будто отмороженный, она, припомнив шум на лестнице, который вначале отвесила на беговую ребятню, потемнела. — Я думала, это Петька посетя. А это ты, выходит?

— Да ведь боровики пошли, — спазая, пробормотал он, став вдруг сморщенным, как новый грибок.

— Ну и что же? Здесь, что ль, они растут? На четвертом этаже? Скажешь, как заяц.

В Иване Кузьмиче все закипело, хотя он и понимал, что так Елена Ильинична обрезала его только потому, что любит его, бережет: у него ведь пошаливает сердце. На это чувство, задвленное досадой, ушло куда-то далеко, и он, сдерживая кипение, сам повесил пиджачек, затем начал разглаживать его, желая только одного, чтобы Елена Ильинична как можно скорее «скрылась бы на своей кухне».

— Висит ведь уж.

Иван Кузьмич круто повернулся, хотел было кинуть: «Знаю с твое», но перед ним стояла крупная Елена Ильинична и молча смеялась. Тогда он шагнул в сторону, обходя жену, как что-то такое, к чему совсем не хотел прикасаться.

«Вот я тебя сейчас носом суну», — решил он, войдя в столовую, пша к чему бы прицаться. Но тут полы были натерты, стол приточен к обеду, в буфете виднелся торт, а через тюлевые занавески било вечернее солнце, играя трепетными бликами... Не пришел еще съез, инженер Василий. Он вот-вот явится. Такой уж закон в семье Замятных: в субботу обедать всем вместе. Нет снохи Лели. Она, видимо, повела детей в зоологический сад. «Барыня! Нас, бывало, никуда не водили. Крыши — вот наш сад. И выросли... пичего», — в досаде думал Иван Кузьмич, хотя сам недавно настаивал, чтобы детей каждую субботу водили в зоологический сад. Но ему надо было к чему-нибудь придраться, и он искал этого. «Конечно, в столовой она прабрала. Как же: это на глазах! А вон там посматрива», — и он заглянул в спальню Василия. Здесь

тоже все было прибрано, а на подоконнике стояла новинка — электрический вентилятор. Он звонко жужжал и гнал прохладу. Иван Кузьмич перешел в свою комнату, уверенный, что именно здесь пойдет то, что ему надо. Но и тут все было прибрано, да еще, как нарочно, высоко взбита постель, а подушки покрыты кружевными накидками. «Э-э-э! Загляну-ка я в детскую...»

В детскую надо было идти мимо кабинета Василия. Иван Кузьмич шагнул туда и невольно притих, увидав склоненные над столом широкие плечи сына.

— Эх, он уже здесь, — одобрятельно-горделиво заметил он про себя и осторожно, стараясь даже не скрипнуть, косая ноги, как это делают ребята, пошел к столу.

Василий поднял голову и обернулся. Освещенное голубым светом настольной лампы, лицо его казалось совсем юным, несмотря на хмуро сжатые вихреватые брови. Ивану Кузьмичу в семье нравились все — и эти вихреватые брови, и гладкий причес на голове, и та, что он так «уединчив», и даже то, что любит работать днем, опустив шторы, при электрическом свете.

— Здравствуй, отец, — сказал Василий, глядя еще отчужденным взглядом, но глаза вдруг потеплели. — Смотри, — заговорил он и взяв со стола зубчатую шестеренку, чем-то напоминающую головку подсолнуха. — Смотри, следом за кулачковым валиком и коленчатым валом мы смогли обработать и эту самую сложную деталь.

Иван Кузьмич знал, что его сын и директор моторного завода Николай Степанович Коралев года полтора тому назад увлеклись разработкой метода поверхностной закалки металла путем применения токов высокой частотности, чтобы вытеснить варварский способ обработки металла, называемый термическим. Знал он и о том, что теория обработки металла током высокой частотности одновременно возникла в Америке и в Советском Союзе, что в Советском Союзе над разработкой этой теории работают крупные академики. Теория эта была уже признана. Оставалось главное — применить ее в жизни, что оказалось гораздо сложнее. Сын Василий и директор моторного завода совсем недавно вернулись из Америки, где с них только за применение такой высокой частотности к кулачковому валику запросили миллион долларов. Вернувшись в Москву, они добились того, что обработали и коленчатый вал и кулачковый валик, а вот теперь и самую сложную деталь — шестеренку.

Иван Кузьмич вертел в руках шестеренку с такой осторожностью, как будто она была не из металла, а из тончайшего хрусталя, затем поднял глаза на сына.

— В Америке, — заговорил Василий тихо, в веселом раздумье, — в Америке говорят, что термист на том свете обязательно попадет в рай, потому что он тут работает в аду. А мы вот хотим уничтожить эти адские условия: жару, сквозняки, копоть, грязь. — Глаза его снова стали отчужденно-далекими, и он, глядя такими глазами куда-то вдаль, произнес: — Умело использовать это, и мы... — сын застенчиво улыбнулся. — И нас... Ну, что вам тогда скажут термисты?

— На руках по всей Москве пронесут, — взволнованно ответил отец и, глядя плечо сына, добавил, — ты только одно постоянно помни, Вася: рабочему классу надо оплатить за то, что он перед тобой открыл двери в большую жизнь. Это всегда помни. Ты думаешь, я не хотел учиться? Ох, как хотел. Да... не... не... не... — Иван Кузьмич так и не досказал, но сын хорошо понял его и, обняв, еще более взволнованно сказал:

— Тебе не будет стыдно за меня, отец. Никогда..

— Ид, умывайся, — послышался из кухни голос Елены Ильинишны.

И в Иване Кузьмиче снова все закипело.

«К чему это я? Вот засмеяться сейчас и все», — подумал он, но то обидное, что появилось вначале, оседало его. — Без тебя знаю, — буркнул он и, умываясь над тазом, сердито фыркая, ворчал про себя. — Скажешь, как заяц. Какой я тебе заяц? Я мастер, а не заяц. Я в Кремле два раза на совещании был. Вон где! А она — заяц. И нечего... нечего мне подлизываться. — Он дулся, отворачиваясь от Елены Ильинишны, которая с полотенцем в руке ходила около него, готовая уже служить только ему одному.

## 2

Однако досада у него прошла, вскоре же после обеда. После обеда, не ложась отдыхать, как это он делал обычно, он отправился на кухню, достал из шкафа сплетенные им еще в марте новые корзины и, подкинув одну из них — легкую, розоватую, поскрипывающую, как шелк, — разом повеселел. К корзинам подбежали ручки — Коля восьми лет и Петя шести лет. Коля походил на мать. Лелю, — такой же большеглазый, осторожный и вяловатый. Он всегда, как и мать, что-нибудь жевал и до сих пор еще не умел самостоятельно надевать ботинки, всякий раз при этом каприча: «Ма-а! Олень». Иван Кузьмич не раз говорил: «Эх, парень, быть бы тебе девочкой». Петя походил на Ивана Кузьмича — такой же расторопный, сообразительный и даже дерзкий. Этот всегда кричал, когда ему хотели помочь: «Я сам! Я сам!». Да и нос у него такой же, как у Ивана Кузьмича, — с разрезом

на кончике. Хотя такой же нос и у Василия, отца Пети, но Иван Кузьмич на это не обращал внимания и твердил свое: «Петька в меня».

И тут, на кухне, он с внуками поднял такую возню, что соседи сверху чем-то постучали, а сосед снизу, Степан Яковлевич Петров, не замедлил прибыть вместе со своей женой Настей. Они остановились на пороге, перепуганные шумом, ожидавшие бог весть чего, но тут увидели самое простое: Иван Кузьмич стоял на четвереньках, на голове у него корзина, за корзину привязана веревочка, за веревочку тянет Коля, а младший, Петя, сидя на спине Ивана Кузьмича, подгоняя его пятками, выкрикивает: «Но! Но! Что ты, неподкованная, что ль?»

Степан Яковлевич, высокий, костистый, с кадыком, как груша, с небольшой бородкой, которую носил исключительно для того, чтобы прикрывать кадык, так захохотал, что Елена Ильинишна, ахнув, сказала:

— Батюшки! Да что ты как глотку-то дерешь, Степан Яковлевич?

— Мировое! Мировое дело! — грохотал Степан Яковлевич. — А я думал, он чего-то разбушевался — шум такой. А тут вишь что, — и почему-то с затаенной обидой посмотрел на свою маленькую, седенькую, но весьма шуструю жену Настю. Затем спросил. — По грибы, значит?

Иван Кузьмич поднялся, стащил с головы корзину и не сразу ответил:

— По грибы.

— Все?

— Всем цехом... и Петька с Колькой.

— А куда?

Тут Иван Кузьмич, всегда откровенный со своим другом, потоптавшись на одном месте, как бы пробуя новую обувь, сказал:

— А кто его знает? Может, под Можайск, — там, говорят, есть. Может, под Звенигород, — там, говорят, есть.

— Крутишь! По рязанскому тракту, на свои огороды метишь. Так, что ль?

— Да ведь это все равно, что на воде написано, — где они, грибы-то, — увильнул Иван Кузьмич, хотя сегодня за обедом, после долгих споров — как ехать, куда ехать, — вся семья решила отправиться по Рязанскому тракту, на излюбленные места Ивана Кузьмича.

— Туда. По глазам вижу. И мы с вами, — решительно заявил Степан Яковлевич и двумя пальцами потрогал кадык, что всегда у него являлось признаком волнения.

— Рады будем! — неожиданно просто ответил Иван Кузьмич.

И в самом деле, этому были все рады. Дети с криком запрыгали около Степана Яковлевича, а Елена Ильинишна, глядя на возню ребят, сказала Насте:

— Был бы Саня дома, совсем бы душа у меня на месте была.

— Любил по грибы ходить, — подчеркнул Иван Кузьмич как бы самое главное в сыне.

А мать свое:

— Давно ли в школу-то бегал. И давно ли за вихор-то я его драла.

— А теперь летчик, — и Иван Кузьмич гордо вскинул глаза на Степана Яковлевича. — Самолетом командует на западной границе.

А мать опять свое:

— Когда приехал в отпуск, я его сразу-то и не узнала: взрослый, военный, — и засмеялась добрым материнским смехом. — Взрослый! Военный! Да только раз подошел ко мне и тихонько: «Мама, нет ли у тебя чего сладенького?»

Услышав о «сладеньком», дети немедленно же переключились со Степана Яковлевича на Елену Ильинишну, с таким же криком, но более настойчиво, прыгая около нее.

И тут все вспомнили о том, как, бывало, в субботние вечера собирались за столом, и Саня читал «литературные новинки». На эти читки непременно являлся и Степан Яковлевич вместе с Настей. Выскакивая крупный кадык, он слушал внимательно, посмеиваясь, временами незаметно роняя слезу, а то фыркал, говоря: «Дрянь. Это мировая дрянь». Кроме того, в доме все знали, что Саня сам тайно пишет стихи. Иван Кузьмич одобрял такое в сыне и поутру, отправляясь с ним вместе на завод, говорил, показывая на новые, приготовленные к отправке моторы:

— Ты бы, Саня, про него написал: он ведь всему голова — мотор.

— Да ведь я, папа, только чужие стихи читаю, — отвечал Саня и краснел, как девушка, однако решительно, по-мужски забрасывал всей пятерней свалившиеся на лоб волосы.

— Ишь-ишь, — усмеялся отец, — не пишу, а прическа, как у Пушкина.

И сейчас, рассказав об этом, Иван Кузьмич тихо засмеялся. Его смех басовито подхватил Степан Яковлевич, а дети с еще большим звуком запрыгали около Елены Ильинишны, уже требуя сладенького.

На шум, на гвалт, в рубашке-косоворотке, гладко причесанный, свежий, вышел Василий. Видя оживление, он всем улыбнулся и особенно тепло своей матери.

— Ты что, Васенька? — хлопотливо спросила та.

— Да так вот. Слышу, шумите... а ты радостная — люблю я это в тебе, мама.

— А-а! Ученый мозг! — здороваясь с ним, проговорил Степан Яковлевич, почему-то всегда обращаясь к Василию с полшуткой, в которой слышались и хорошая зависть к нему и одобрение. — Ученый мозг, наше вам почтение, — еще раз сказал он и так тряхнул за

руку Василия, что тот невольно поморщился, а Степан Яковлевич, не замечая этого, продолжал: — На вас надежда, мозги ученые. Ты гляди, чего сосед-то делает. Я это про германца. Всю Европу ведь заграбастал. Эдак он по жадности и на нас полезет. У нас в деревне был такой Евграф Горелов, — Степан Яковлевич в таких случаях всегда ссылался на примеры деревенской жизни. — Сначала землю заграбастал, потом леса, а потом что придумал: в голодный год выдал мужикам по красненькой, страховые листы собрал, а потом деревню и поджег. Все страховые, значит, ему. Судись! И этот — по жадности и на нас полезет.

Василий хотел было что-то ответить. Иван Кузьмич, зная, что сейчас разгорится спор и спор этот затянется до утра, перебил:

— Ну, что ж, поедешь, что ль, по грибы-то?

Степан Яковлевич остановился, как конь на скаку.

— Возьмете, так поедем.

Своя Леля, маленькая, кругленькая, как точеная, с тонкими свежевощипанными бровями, посадывая леденец, сказала что-то весьма неразумное:

— Что ж, поезд всех увезет.

Степан Яковлевич растерялся, не зная, что на такое ответить, и, повернувшись к Василию, весь разворачиваясь, проговорил:

— Ну! А это как? Высочайшая-то наука в термический цех? Вель это чудо — за шесть минут кулачковый валик обработать. Ну, ей же богу, чудо! Я бы не поверил, ежели бы Василий Иванович мне не показал, — начал он доказывать Ивану Кузьмичу. — Сам я, понимаешь, подошел, нажал кнопку, и через шесть минут — на тебе! Валик готов. А-а? Ты как на это, Иван Кузьмич?

Иван Кузьмич загадочно прищурил глаза, будто то, о чем спрашивал Степан Яковлевич, дело исключительно его рук, и дерзко кинул:

— Опоздал ты на полстолетия: шестеренку уж обработали.

— Ну-у? — Степан Яковлевич что-то еще хотел спросить, но тут раздался резкий дверной звонок.

По всему было видно, что человек звонил, не стесняясь нарушить квартирный покой: он позвонил и раз, и два, и три.

— Да кто же это в такой час и так бесцеремонно барабанит? — строго проговорил Елена Ильинишна и, чуть засучив рукава, направилась к двери. Открыла и вся вдруг стала другой — шригветливой и нежной. — Батюшки! Николай Степанович! А я собиралась шугнуть!

Сам по себе крупный, Николай Кораблев в дверях показался особенно большим. Снял чер-

ную шляпу, улыбаясь всем лицом и карими глазами, он проговорил:

— Простите, Елена Ильинишна... по у меня очень срочное дело.

### 3

Николай Кораблев, директор моторного завода, совсем недавно получил тревожное письмо от жены, Татьяны Половиевой. Татьяна вместе с годовалым сыном еще в мае уехала в Запорожскую область, на Кичкас, договорившись, что туда же во второй половине июня, взяв себе отпуск, придет и Николай Кораблев. Но за это время в его жизни произошли некие изменения: он был вызван в наркомат, и ему предложили поехать на Урал, в местечко Чиркуль, возглавить там строительство крупного моторного завода.

— Что ж, не ко двору пришелся? — проговорил он, глядя в брусчатый розовый пол кабинета.

Нарком, вместе с Кораблевым окончивший институт имени Баумана, побарабанил толстыми пальцами по столу, прошелся и вдруг заговорил так громко, как он когда-то в Армении перекликался в горах:

— Тех, кто не ко двору, выгоняем. А вам даем... даем большое строительство. Такой завод! В два года построить. Это такая честь! Ну, вы понимаете? — схватив стул и сев на него по-студенчески верхом, нарком резко переменял тон и заговорил дружески. — Чучело ты, Николай. Да разве бы я тебя отпустил из своего наркомата? Но на тебя показал сам Сталин. Слышь, только такой, как Кораблев справится с этим делом! А ведь его слова для нас с тобой закон, — и легонько большим пальцем пырнул Кораблева в бок, затем поднялся со стула и вскинул руку вверх, как бы подпирая ею потолок. — Урал — это спящий богатырь. Его надо пробудить — тогда мы непобедимы.

Николай Кораблев понял, что нарком говорит не свои слова, а тот добавил:

— Тем более, ты ведь с Урала?

— Нет, с Волги, Илья.

— Ну, все равно, — и нарком засмеялся в себя, весь сотрясаясь, как бы радуясь своей оплотке, находя и тут выход. — Все равно... Урал ли, Амир ли, Волга ли, или Камчатка. Ты ведь Кораблев, ну и секи волны! — И чуть погодя: — Завидую тебе.

— Да я не против. — Николай Кораблев поднял на наркома большие карие глаза, в которых светилась тоска, какая бывает у художника, когда в разгар работы над картиной ему мешают каким-то посторонним делом. — Значит, изыскания что поверхностной электрозвонке прекратить?

— Ах, да! — Нарком тоже тоскливо неко-

торое время смотрел в окно.— Сколько с тебя в Америке заломили за такое дело?

— Один миллион долларов.

— Может, отдать?

— Да ведь они открыли только закалку кулачкового валика. Это мы и без них открыли.

— Да ну? Чего же молчишь? Это на Совнарком надо...

— Зачем шуметь раньше срока? Мы сейчас приступили к шестерне. Овладеем и покажем.

Нарком задумался:

— А отсюда разве руководить не сможешь? Кто на этом деле остается?

— Инженер Замятин.

— Замятин? Это что, родственник Ивану Кузьмичу?

— Сын.

Нарком снова несколько секунд молчал и чуть спуская заговорил:

— Ага... Знаю и того и другого... Удивительная вещь. Ведь кажется, какая огромная разница между отцом и сыном. Отец просто рабочий...

— Ну, нет... не просто.

— Сын инженер, — как бы не слыша, продолжал нарком. — Но по культуре ума, не по культуре знаний книжных, а по культуре ума отец превосходит всех нас.

— Ты любишь преувеличивать, Илья.

— На днях в Кремле было совещание по качеству продукции, — снова, как бы не слушая Николая Кораблева, заговорил нарком. — Мы, конечно, всю технику, все цифровые данные вытащили на стол. И говорили, говорили... долго... много... Нужное, конечно, говорили... а как-то забыли о человеке... Тут и поднялся Иван Кузьмич. Да как? Вкряк. Он ведь всегда степенный, сдержанный, а тут, как будто взорвался... и давай стегать. «Что это вы? Все цифры да цифры, техника да техника, а о рабочем забыли. Всегда надо помнить, что если рабочий начальника только боится, он, конечно, выполнит то, что положено... а уж если любит — скажи ему, чтобы гору свернуть, он две свернет». Говорил резко, грубовато. Мы сидели, пожевивались. Да и неудобно было: Сталин тут с нами. Иван Кузьмич тоже, видимо, почувствовал, что нам неудобно. Во время перерыва подошел к Сталину и говорит: «Не грубовато ли, Носиф Виссарионович, я выступал?» А тот ему: «Правда, Иван Кузьмич, никогда на золотой тарелочке не подается. Ее с боем несут вот такие люди, как вы. Спасибо вам». Нет, ты понимаешь, Николай? Понимаешь?

— Эх, Илья! Еду. И нельзя не ехать.

Вот какие изменения произошли за эти дни в жизни Николая Кораблева. Он об этих из-

менениях еще не сообщил своей жене. Но в жизни, очевидно, существуют свои телеграфы, и Татьяна сама каким-то путем узнала о таком назначении. Для три тому назад она прислала ему письмо:

«Родной мой, — писала она крупным, разбросанным почерком. — И в какой это Чортокуль тебя посылают? Ведь всего только два года мы жили на одном месте. И вот опять. Или ты уже привык без меня, без нас? Да как же, родной мой, ты где-то в Чортокуле, а мы?»

Письмо было мягкое, теплое, но с упреком.

И Николай Кораблев, вполне понимая состояние своей жены, решил утром в воскресенье вылететь на Кичкас, чтобы к вечеру вернуться обратно в Москву. Но тут же вспомнил, что сын Ивана Кузьмича, Василий, несколько раз уже звонил ему, просил зайти, чтобы проверить последние опыты по закалке шестеренки и посоветоваться по ряду вопросов. Николай Кораблев, занятый заводом и переговорами с наркомами, все не находил времени, а теперь так забеспокоился, что, несмотря на поздний час, немедленно же отправился в квартиру к Замятным.

«Поздоровато. Но, возможно, еще не спят», — думал он, нажимая кнопку звонка, а войдя в квартиру и видя, что никто не спит, в том числе и ребятишки, повеселел, говоря громко: — Друзья мои! Принес к вам. Завтра лечу в Кичкас, к Татьяне Яковлевне, а в ближайшие дни отправляюсь на Урал.

То, что он легит к жене, порадовало всех, но сообщение, что он едет на Урал, удивило. Наступила короткая пауза. Ее нарушил Степан Яковлевич.

— Это как же... на Урал-то? За медведями, что ль?

— Да. За очень крупным: завод моторный буду строить. Местечко такое есть — Чиркуль, — и засмеялся. — Жена перепутала, вместо Чиркуль написала Чортокуль. Может, и правда, Чортокуль какой-нибудь. Перед вылетом решил с вами поговорить, Василий Иванович. Да, — спохватываясь он, обращаясь к Ивану Кузьмичу, — нарком мне рассказал про то, что в Кремле-то было. Трогательно это. Очень. Со Сталиным.

Иван Кузьмич всыхнул, посмотрел на жену, как бы говоря:

— Ну вот, а ты — «заяц»! Какой я тебе заяц?

— Печально, — грустно проговорил Василий. — На Урал, значит?

— Ну, ничего, отсюда буду помогать. Покажите-ка мне результаты последнего опыта.

И они оба скрылись в кабинете Василия.

Тут наступило томительное молчание: уезжал любимый человек, и уезжал, очевидно, надолго.

— Эх, ты,— пробасил Степан Яковлевич. — Такого мы теперь и не дождемся директора.

Иван Кузьмич потер большим пальцем ладонь.

— Ну, народ богат умными людьми. Конечно, жалко с таким расставаться. Однако... — он не закончил, его перебила Деля.

— Удивительно красив. Но таких женщины не любят,— и скосила глаза на дверь кабинета.

— Только и на уме у тебя,— хотел было обрезать ее Иван Кузьмич, но промолчал и отвернулся.

А Настя, сложив губы тарелочкой, утягивая Степана Яковлевича к двери, проговорила: — Пойдем-ка.

#### 4

Степан Яковлевич Петров, заместитель начальника цеха коробки скоростей, жил очень хорошо. Но одна беда страшно томил его. Женится он на Насте в подмосковной деревне. Настя тогда была румянощекая, певица, шустрал. Такой бы только рожать. А она не рожала. И Степан Яковлевич иногда, ложась в постель, настойчиво твердил:

— Ты бы собралась, что ль, с силами-то. Экая ты!

— Соберусь, соберусь,— шептала она, переполненная этим желанием.

Так они и жили, двое, тихо, смиренно, ухаживая за попугаем Мишкой, получив от соседей прозвище Гога и Магога.

На двадцать восьмой год после венца, то есть когда всякая надежда на появление своих детей пропала, они взяли из детского дома паренька—черноглазого, как пыганенок... И все пошло по-другому. Настя забегала по магазинам, покупая игрушки, то и дело выскакивала на балкон, перестраивая постельку, которая и без того была чиста, просила соседей, чтобы те не шумели в час, «когда наш парень спит», да и Степан Яковлевич возвращался с завода совсем иным. Держа па виду арбуз или шоколад, он, встречаясь со знакомыми, оновешал:

— Ухач у меня растет. Мировой! Васька. Василий Степанович — вот кто!

И соседи про них сказали:

— Очнулись.

Но Вася вскоре простудился, заболел и умер. Тогда Петровы снова помрачнели, замкнулись, и в квартире стало так же тихо, как в музейной комнате.

В квартирке все было расставлено по своим местам — тумбочки, шкафчики, диванчики, стульчики под белыми чехлами, на стенах висели картины из времен отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года, портреты Степана Яковлевича. Настя. Настя каждое

утро поднималась с постели раньше Степана Яковлевича, и он слышал, как она, шурша туфлями, перебежала из комнаты в комнату, перетираала, не сдвигая с места, вещички. Она — маленькая, стареющая, тихая и энергичная, как мышь. Да еще что-то нелепое выкрикивал попугай Мишка.

— О-хо-хо,— тяжело вздыхал Степан Яковлевич и смотрел на вазину кроватку.

А сегодня ему было особо не по себе.

Вчера вечером, когда они вернулись от Замитиных, Настя сообщила, что на дачке за Кунцевым созрела первая ягода — клубника.

— Прямо вот такая,— чистила она, показывая кулачок. — Прямо по голубиному яйцу.

— Ну, это другое — по голубиному. А то сморозила — по кулаку! — Но эта весть поборола в нем страсть грибопоклонника, одновременно породив страшную тоску: созрела ягода, а Васи нет. — Э-хе-хе! — протянул он, поднимаясь с постели. — Замитины-то, поди-ка, укатили?

— Чуть свет,— ответила Настя из соседней комнаты и опять куда-то побежала, шлепая туфлями.

Степан Яковлевич чуть подождал и намеренно громко, чтобы разогнать томящую тишину, пробасил:

— Поехали, что ль? На дачу-то!

Вскоре они покинули свою тихую квартирку, намереваясь сесть в метрополитен и таким путем добраться до Киевского вокзала. Но, выйдя из дома, Степан Яковлевич перерешил. Утро было такое тихое и солнечное, как улыбающийся ребенок, а Москва — вся сияющая.

— Пешком,— сказал он, поворачиваясь к Насте, пятерней расчесывая бородку, прикрывая калык.

— Ну что же,— согласилась та.

И они зашагали так же, как когда-то в деревне: Степан Яковлевич, в сером костюме, с аккуратно повязанным галстуком, в сапогах, брюки навывпуск, впереди, а Настя, в лиловом широком платье, позади. Степан Яковлевич несколько раз пытался выбить из Настя эту привычку, говоря:

— Да иди ты рядом. Не в деревне живем — в Москве.

Настя твердила свое:

— Чай, куда иголка, куда и цитка, Степан Яковлевич.

И Степан Яковлевич махнул на это рукой.

Улица была чисто выметена, на ней лежало утреннее молодое солнце. Глядя на улицу, на дома, на пробегающие машины, Степан Яковлевич сказал:

— Умытая.

— Кто? Я-то? А как же? — ответила Настя.

— Да не ты, а Москва.

— Не дослышала, Степан Яковлевич.

— Я так думаю, ни одной столицы такой на земле нет, как Москва.

— Конечно,— сказала Настя, но сказала так простенько и незначительно, что Степан Яковлевич даже приостановился.

— Суть уразуметь надо, тогда слово у тебя будет весомое. «Конечно!»! Что это «конечно»? Так себе. А понять надо то, что Москва — это тебе не просто город — громадина. Москва светоч есть в мировом масштабе. Вот, она какая Москва! В сердцах она всего мирового народа. Во сне снится... а мы с тобой в ней живем и, вот видишь, по улице шагаем. В точку я говорю? В точку.

— Говори, говори: люблю я слушать-то тебя,— то и дело прерывала его Настя, улыбаясь всем встречным, как бы зовя всех послушать, что говорит ее Степан Яковлевич.

И он говорил. Басом. Размахивая длинными руками, сам увлекаясь тем, что говорил... И только попав на дачку, сразу умолк, еще издали увидав грядки с клубникой...

Не дойдя до грядок мервов пять-шесть, он замер: на черноземе, старательно устланном шелковистой соломой, красовались ковры зеленых до черноты листьев, а под листьями лежали крупные ягоды. Они лежали и так и эдак, то показывая свои беловатые мордочки, то ядрено-красные бока.

— Кра... красота мировая!

Настя подошла к грядке и сорвала одну из самых крупных ягод, проделав это так спокойно, как она перетирала, не сдвигая с места, венички в квартире. Степан Яковлевич закричал, будто провалился в яму:

— Эй! Эй! Чего это ты?

— А чего ж глядеть на нее? Есть ее надо,— кротко ответила Настя и, вынув из чепчика блюдо, принялась снимать ягоду.

— Поймай-ка. Как это есть? Красоту такую! — Но нагнувшись, он сам увлекся и начал с удовольствием снимать ягоду за ягодой, приговаривая: — Миллионеры. Ну, ей-богу, миллионеры!

Когда блюдо было наполнено, Настя потянулась и, держа его в обеих руках, глядя на ягоду горящими глазами, сказала:

— Вот бы продать, Степан Яковлевич.

— Ну-у? — Степан Яковлевич рынком выхватил у нее блюдо и, шагнув к забору, через который глазели ребятишки, проглотил им ягоды и, надувая губы, сам стесняясь, грубовато-любовно проговорил: — А ну... нате... лошаите,— и тут же к Насте: — Скупа ты становишься. Зря.

5

А Иван Кузьмич, как только прибыл на излюбленные места, так тут же всех и расста-

вил по всем правилам грибной науки, строго наказав не рвать грибы, а срезать ножичком под корень. Расставив всех, дав каждому направление, условясь встретиться на станции часам к двенадцати дня, он, прихватив с собой внучат, ринулся на грибные «огороды».

Леса были уже по-летнему в спяле: дубы распустили свои могучие, рогатые листья, липа отцвела, сосна — золотая стволом — почернела в иглах, а на травах лежала серебристая роса.

Ребята кинулись было в траву, оставляя после себя путанные следы. Иван Кузьмич серьезно предупредил их:

— В траве только букашки и дрянь всякая — цветочки, а грибы — они другое поприще любят. Идите-ка вот сюда,— и повел их в молодой дубовый лесок.

Иван Кузьмич был уверен, что вот здесь, в этом молодом лесочке, выбившись из-под корки прошлогоднего рыжеватого листа, и стоят отрядами боровики.

«Вот они! Вот они!» — хотелось закричать ему так, как он иногда кричит во сне, но, войдя в лесочек, обшарив его, он грустно произнес: — Наврал. Наврал лесничий мне. Подшутил. Ну, отчаиваться не будем,— и, сделав круг километра в два, окончательно теряя всякую надежду, он попал в овраг, заросший мелким березняком, сосенкамц, и тут натолкнулся на такую армию грибов, что прямо-таки присел, выставив вперед ладонями руки, словно боялся вспугнуть грибы.

Они, рыжеголовые, покрытые росинками, стояли под кустиками. Они стояли и рядами, и вразброс, и группами, будто о чем-то совещаясь, к чему-то готовясь — не то к бою, не то к дальнему походу, и, казалось, говорили: «Смотрите, какие мы молодцы». Конечно, неопытный человек сейчас же кинулся бы на них, начал бы жадно рвать да и потоптал бы немало. Дудки! Иван Кузьмич не из таких. Подав команду внукам не трогаться с места, он срезал под корень первый гриб-боровик. Гриб был молодой, с жирной золотистой шляпкой, а нижняя часть шляпки залита такой желтизной, что Ивану Кузьмичу показалось, что она залита чудесным липовым медом.

— Медом облиты,— шопотом произнес он и подал гриб младшему внуку Пете.

Тот поверил и лизнул.

6

Николай Кордалев с аэродрома недалеко от Кичкаса позвонил своему хорошему знакомому, директору Днепровской электростанции:

— Пришли мне машину. Только прошу, открытую: хочу посмотреть, что здесь изменилось без меня.



Всю дорогу, пока летел из Москвы, он думал «нагрянуть домой неожиданно», а тут как-то безотчетно позвнил и Татьяне.

Она обрадованно и удивленно вскрикнула:

— Коля! Ты? Родной мой. Откуда ты? Где ты?

— На аэродроме. Скоро буду. — сдержанно ответил он, хотя ему в эту минуту хотелось сказать самое задушевное, но он постеснялся посторонних и вышел из здания, решив у ворот подождать машину. Справа от него в круглых каменистых берегах играл Днепр. На рыхлых, рябоватых скалах лежало спокойное утреннее солнце. Николай Кораблев смотрел на скалы, но думал совсем о другом. Странный он человек. До тридцати лет он не был женат. То учился, то ездил за границу, то строил заводы. Правда, странный? Ведь есть же люди — и учатся, и строят, однако не ходят до тридцати лет холостяками. А его так было и записали в «вечные холостяки». Женщины порой в него влюблялись, порой посмеивались над ним, называя его «пустым колосом»... Под влиянием этих насмешек он иногда пробовал «связать свою судьбу», но из этого у него ничего не выходило, и он, стораая от непонятного для него стыда, отступал. И вот однажды, в раннее осеннее утро, на берегу Днепра он увидел девушку. Она перебегала, прыгая с одного камня на другой, держа подмышкой палку, а в левой руке небольшой, светлый, глухо закрытый ящик. На ней была синяя в полоску юбочка, такая легкая, как крылья бабочки, и белая майка. Золотистые волосы, небрежно взбитые, развевались по ветру.

— Ох ты! Кто это? — проговорил он и сразу почувствовал, как его неудержимо потянуло к ней. И он пошел, легко прыгая с одного камня на другой, неотрывно следя за девушкой. Вот она выбежала из-за скалы, затем снова скрылась, и Николай Кораблев так же, как неожиданно увидел ее, неожиданно и потерял. Он кинулся в одну, в другую сторону, потом поднялся на скалу и отсюда глянул на каскады рыхлых глыб, на противоположный берег, на пробегавшие через плотину машины, на движущихся во все стороны людей, — и вдруг все это ему стало неинтересным, скучным. У него даже защемило сердце, так будто он потерял самое дорогое, что бывает только раз в жизни. И он сорвался со скалы, скользя по ее крутизне, туда вниз, к Днепру, и, крупно шагая, чуть-чуть косящая правой ногой, кинулся вверх по течению. На пути попался длинный окатанный камень. Николай Кораблев с разбегу перепрыгнул через него и попятился: совсем недалеко, на маленьком стульчике сидела девушка. Перех ней на подставке виднелось полотно, рядом со стульчиком на гальке стоял кувшин, в кувшине торчали ки-

сточки. Девушка, взглядываясь в воды Днепра, ругала сама себя:

— Баба ты! Баба! Нячего ты не умеешь. Ничего, — и быстро-быстро кидала кисточками краски на полотно. Казалось, она кидает краски как попало... Но вот на полотне уже несутся бурные воды Днепра, все смывающие на своем пути и такие синие, притягательные. Девушка приостановилась и тремко рассмеялась, тряхнув по-мальчишески головой. — Ага, — олобратительно проговорила она, как иногда говорит учитель ученику, удачно решившему задачу. — А не поругай тебя, ты бы ничего и не сделала.

— Да-а. Это... Это очень... очень хорошо, — невольно вырвалось у Николая Кораблева, и он спохватился, полагая, что девушка сию же секунду прикроет полотно и скажет: «А чего вы суетесь?» Но она медленно повернулась к нему, и тут он увидел ее серые глаза, и в этих настороженных глазах было такое страдание, как будто девушке было не восемнадцать—двадцать лет, а уже перевалило за сорок.

— Простите меня, — начал он, но она перебила его:

— Это правда, то, что вы сказали? Нет. До этого. Правда?

Он растерялся и кивнул головой.

— Ну вот, это очень хорошо. У меня это уже одиннадцатый вариант. Вы думаете, это так легко? — и она так промко, заразительно засмеялась, показывая ряд белых, но чуть-чуть скошенных зубов, что Николай Кораблев так же заразительно подхватил ее смех.

Тогда ей было девятнадцать. И вот они уже семь лет вместе. За это время они несколько раз разлучались, когда Николая Кораблева переводили с одного строительства на другое, а последние два года жили в Москве.

— В Чортокуль... как перепутала, — прошептал он и втиснул голову в плечи, думая о том, как же сообщить ей о своем новом назначении. — И какой он, Чиркуль? Бог его знает.

Из-за поворота, волоча хвост пыли, выскочила машина. Поблескивая радиатором, она неслась по степной дороге, все вырастая, увеличиваясь. Но Николай Кораблев собственно машины-то и не видел. Он видел только открытый, чуть-чуть в загаре, лоб, над которым развевалась конна золотистых волос, серые горящие глаза, улыбку, обнажавшую белые крупные зубы, приветствующую руку.

Очутьившись в машине рядом с Татьяной, он обнял ее, чувствуя, как ее рука обвила его шею.

— Таня! Танюша мол! — пронес он и начал целовать ее лоб, щеки, губы.

И Татьяна, очевидно, никого, кроме него,

не видела в эту минуту. Но она первая пришла в себя и, оттолкнувшись от него, произнесла:

— Коля! Мы же не одни, — и вся вспыхнула, закусив губы, прижавшись в уголок машины, стала маленькой-маленькой.

Вскоре они, отпустив, по желанию Николая Кораблева, машину, поднимались по крутому берегу Днепра в городок Кичкас, к домику с большой стеклянной верандой. Они шли, улыбаясь друг другу, держа друг друга за руки, не стесняясь посторонних глаз. Татьяна, глянув на его кудлатые волосы, на подбородок с резким разрезом, на свежесть щек, тихо, гордясь им, произнесла:

— Ты знаешь, судя по портретам, ты очень похож на Петра Великого.

— О-о-о! — полусхрипнул он и тут же серьезно, с той затеанной теплотой, какая бывает только наедине с любимым человеком: — А я думаю о другом. Что это такое? Это что-то такое неугасимое. Неугасимое, — подчеркнул он, как будто она не расслышала его: — Мне всегда хочется быть с тобой, говорить с тобой и молчать с тобой. Я не подберу слов... Ну... Ну, у меня душа стонет. Вот-вот... стонет. Душа... — говорил он, огромный, ведя всю розовую, под плечо ему Татьяну.

## 7

Ребенок лежал в голубой коляске, заправ пухлые ножки. Руками и ногами он ловил повешенный полосатый мяч. Ловил старательно, напряженно, кривя губы, готовый расплакаться, и настолько был сосредоточен на этом деле, что совсем не заметил, как к нему подошел Николай Кораблев, Татьяна и ее мать Мария Петровна.

— А ну! Хватай, хватай его, Виктор! Хватай! Так его! — и Николай Кораблев щелчком ударил по мячику.

Маленький Виктор, очень похожий на отца, такой же лобастый, кареглазый, на какую-то секунду замер, затем повернул голову и сразу весь заулыбался — личиком, ножками, оголенным животиком.

— Узнал, — сказала Татьяна, в представлении которой, как и у каждой матери, ее годовалый сын был уже сознательным человеком. — Узнал, — еще раз проговорила она и хотела было взять его на руки, но отец выхватил его из коляски и, прижимаясь к нему лицом, целует его в шею, в лобик, оголенный животик, в самые мягкие места, начал выкрикивать:

— Ух! Богатырь ты мой! Богатырь!

А сынишка смеялся и все что-то лепетал, лепетал на каком-то своем птичьем языке, будучи что-то рассказывая отцу.

— Ты его послушай. Послушай. Он все-все

тебе расскажет, — сияющими глазами глядя то на мужа, то на сына, говорила Татьяна.

Николай Кораблев прислушался.

— Не понимаю. Ох! Нет, нет. Понимаю, друг ты мой. Все понимаю, — и снова принялся целовать его. Затем остановился, посмотрел на Татьяну. — А ты где?

— Я? Вот она я.

— Нет, а та. Знаешь ли, я был на выставке. Два раза. Больше не успел. Ну, конечно, пришел — и тут же искать твой «Сенокос». Хожу, смотрю — нет и нет. Меня, как говорит Степан Яковлевич Петров, аж затрясло всего. Думаю, неужели не выставили? — И он затропился, видя, как Татьяна поблела. — Раз прошел. Еще. Вижу — толпа. Я тоже невольно глянул вверх, куда все смотрели... и... Татьяна, молодец ты!..

— А что? Что? — со страхом спросила она.

— Да смотрю вверх, а там твой «Сенокос». И толпа около него.

Татьяна, стесняясь и глядя куда-то вкось, быстро проговорила:

— Мне та картина не нравится. Не нравится и не нравится.

— Да ведь от этого не зависит успех картины — нравится она или не нравится автору. Народ имеет свои глаза и свой вкус. Ну, а где та, еще неизвестная миру?

И они все перешли на застекленную веранду. Они вошли сюда молча, сосредоточенные. Только Виктор все так же лепетал, хватая отца то за нос, то за ухо, то за губы.

Николай Кораблев еще издали увидел во всю стену полотно, обрамленное простенькой рамой. Это, по сути дела, была все та же картина, которую он видел лет семь тому назад. Но там все было маленькое, неопытное, в поисках, а тут широко неслись воды Днепра. Они неслись могучей лавиной, ударяясь в причудливые рыжие скалы. И от Днепра и от скал веяло чем-то далеким, древним... А вон на одной скале, уходя корешками в расщелину, растет сочная молодая лебеда — одна-единственная, нашла тут себе жизнь.

— Ну что? — еле слышно спросила Татьяна, хотя сама уже знала, что картина непременно понравится ему, но спросила, вся дрожа.

— Какая ты у меня умница, — чуть погодя, как бы про себя, произнес Николай Кораблев, не отрывая глаз от картины.

— Нет, не это, а вот это. — Татьяна вся вспыхнула, уже боясь, что картина ему не нравится и что он, оберегая ее — автора, перевел разговор на нее — человека-жену. И она невольно сказала, как бы оправдываясь: — Ко мне сюда приезжал художник Рогов. Ну, помнишь, он первый в газете написал о «Сено-

косе». Знаешь ли, это крупный художник... и понимает, — у нее чуть не брызнули слезы.

Николай Кораблев не видел ни смущения Татьяны, ни навернувшихся слез: он смотрел на картину и, не желая подчиняться мнению художника Рогова, быстро заговорил:

— Видишь ли, у вас ведь все — краски, тени, переливы, тона, а я ведь обыватель в этих делах... и могу только одно сказать: мне хочется быть там, на этом берегу Днепра. Да, да. И еще я вижу другое: при всех условиях надо выбиваться и жить. Мне об этом говорит вот эта лебеда. Ты смотри, — с задором начал он убеждать Татьяну, не сидя, как в радости загорелось ее лицо. — Ты смотри, откуда-то ветром принесло в эту расщелину зерно... и зерно дало жизнь. Жизнь тут — па этой жесткой, как чугун, скале. Нет, ты у меня умница. Пряво же. — Он обнял ее за плечи и только тут увидел, как она вся сжалась. — Что ж ты... такая?..

Татьяна еле слышно проговорила:

— Когда нас ругают, хочется прямо-таки драться, а когда хвалят, то как-то неловко. А ты что потужился?

— Завидую тебе, — не сразу ответил он.

— Завидуешь? — искренне удивленно спросила она.

— По-хорошему: вот ты написала одну картину «Сенокос», и тебя уже знают, говорят: «Это Татьяна Полощева». Теперь ты закончила вторую, «Днепр», и станешь известна всей стране.

Татьяна некоторое время думала, затем встряхнула головой и засмеялась так громко, так заразительно, что засмеялись все, в том числе и Виктор. А Татьяна, оборвав смех, сказала:

— Но ведь и ты пишешь. Да еще как. Мои картины, пройдет время, истлеют, а твои нет.

— Не понимаю.

— Ты построил два завода — ведь это такие картины, какие еще никто не писал. Го есть их писали Форды...

— Здорово писали. Нам бы поучиться.

— Учиться — это надо. Но не всему. Они ведь все-таки писали не так, как ты.

«Вот сейчас ей и сказать, что я действительно еду на Урал», — мелькнуло было у него, но он, посмотрев на ее счастливое лицо, боясь своим сообщением нарушить все это, сказал другое:

— Какая ты у меня хорошая. И как мне хорошо с тобой.

Не тут решительно вмешалась Мария Петровна. Она была выше своей дочери, физически сильнее ее и даже, пожалуй, совсем не похожа на свою дочь: дочь вся казалась золотистая, со слабыми, почти детскими плечика-

ми, а мать — высокая, мускулистая, в лице иссера-черная, с большими желтоватыми глазами. Мать почти никогда не улыбалась и смотрела на всех и все, в том числе и на Татьяну с Николаем Кораблевым, с высоты своего большого жизненного опыта: она все свои молодые годы провела на далеком севере, прошла не одну тысячу километров пешком, голодала, болела цынгой и знала, что «все теперешние нелюди — просто пыль на вазе».

— Хорошая-то хорошая, да по ночам не спит. Пожаловаться хочу вам, Николай Степанович.

— Что такое? — тревожно и вполне доверя матери, спросил он.

— А Днепр! Днепр при луне, — неестественно громко и часто заговорила Татьяна, вся покраснев. — Днепр. При луне. Разве можно спать, когда Днепр при луне? Мама! — умоляюще произнесла она и повернулась к матери.

Но Мария Петровна беспощадно топала ее:

— Днепр-то при луне виден вон в то окно, а она по целым часам торчит вот в этом окне и все на дорогу смотрит, и все вздыхает: «Бюля да Коля».

## 8

Иван Кузьмич подходил к железнодорожной станции. Они втроем несли огромную корзину, переполненную грибами-боровниками. Они шли вдоль реки, берег которой был сплошь усыпан пагами, загорелыми телами, да и сама река кишела такими же загорелыми, блестящими от солнца и воды телами; люди ныряли, догоняя друг друга, бросали огромный мяч и ловили его, состязались в плавании или просто лежали на воде, как бревна. Иван Кузьмич, любясь всем этим, невольно остановился. Тут к нему подошли люди в трусиках, купальных костюмах и, глядя на грибы, охая, ахая, вскрикивая, как бы видя группу чудесных детей, стали расспрашивать, где и как Иван Кузьмич «набрал такого добра»? Иван Кузьмич долго молчал, глядя себе в ладонь, разглаживая ее большим пальцем, затем обстоятельно начал отвечать, где набрал такие грибы и как их надо собирать.

Друг его, Степан Яковлевич, в этот час сидел за небольшим столиком под дубом, пил чай с ягодой, философствуя:

— Как только вполне созреет, надо гостей пригласить, и в первую голову Замятных с ребяташками. А как же? Конечно, существенное есть для человека — хлеб. Ягода, дескать, это так себе. А оно нет — ягода — украшение в мировом масштабе...

Николай Кораблев и Татьяна, пскупавшись в Днепре, шли вверх по течению — на место первой встречи.

И вдруг все это рухнуло.

Иван Кузьмич Замятин в эту минуту был уже на станции. С такой же корзиной грибов, как и у него, к нему подошла Елена Ильинишна. Сын Василий и сноха Леля сидели на лавочке и ждали их... И каждый уже начал было хвастаться грибами, как вдруг пронеслось это страшное слово: «Война».

Елена Ильинишна закачалась, уронила корзину, просыпав грибы на платформу, под ноги бегущих людей, и тут же присела, закинув голову, став землисто-черной.

— Саня! Сачечка! Сыночек мой! — простонала она.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

В первый день войны, 22 июня 1941 года, Николай Кораблев, простившись с семьей, с большой тревогой в душе вылетел из Кичкаса в Москву. Тут, наскоро сдав дела новому директору, Макару Савельевичу Рукавишникову, он отправился в наркомат и вместе с наркомом в четыре часа утра был принят Вячеславом Михайловичем Молотовым.

Вячеслав Михайлович Молотов, как всегда бледноватый в лице, в конце беседы сказал:

— Мы вам, товарищ Кораблев, поручаем одно из самых важных строителств. В кратчайший срок вы должны построить моторный завод, чтобы он как можно быстрее вступил в бой с агрессором. Мы вам даем право подбирать людей по своему усмотрению. И всячески... всячески будем вам помогать.

Николай Кораблев все это выслушал молча, спокойно, как будто дело шло о незначительном поручении, но как только вышел из Совнаркома, так вдруг сразу и почувствовал какую-то внутреннюю дрожь, чего с ним никогда не было. Он даже, задохнувшись, проговорил:

— Что это такое?

Идущий мимо него москвич остановился, предполагая, что вопрос к нему, и спросил:

— А что?

— Я... я не к вам, — ответил Николай Кораблев, все так же чувствуя, как у него внутри все дрожит.

Это было, конечно, и чувство гордости, что вот именно ему, молодому инженеру, поручено такое большое дело, но это было и чувство страха, — а справится ли он с таким огромным строителством, но вернее, это было то самое чувство, какое бывает у даровитых певцов, актеров, когда они выходят на сцену. Зная, что покорают публику, они все-таки волнуются, произнося про себя: «Я это сделаю хорошо. Я обязан это сделать хорошо». Вот такое, собственно, волнение овладело и Николаем Кораблевым, когда он вышел из Совнаркома. И

он, так же как и даровитый певец, актер, сказал:

— Я это сделаю хорошо. Я обязан это сделать хорошо! — С таким чувством он и отправился на вокзал, где уже был приготовлен особый вагон.

Первую телеграмму о выезде на Урал он послал Татьяне, а затем стал рассылать телеграммы, письма своим знакомым инженерам, техникам, прорабам, которых ценил по прежним стройкам. Он каждому писал, приглашая его в Чиркуль, расхваливая и место, и условия, и само строителство, хотя сам еще не знал ни места, ни условий. Он никому не писал о тех трудностях, какие придется испытать, потому что ему было известно: для настоящего строителя-романтика упоминание о трудностях так же оскорбительно, как оскорбительно упоминание для моряка о том, что во время плавания он встретится с бурей. И люди хлынули к нему — с севера, с Волги, из Сибири, из Подмосковья. Но он-то сам был особенно рад, когда, приехав в Чиркуль, застал на месте Ивана Ивановича Казаринова, инженера, коренного жителя Урала.

Иван Иванович Казаринов, с огромной седеющей и все время свисающей на грудь головой, как будто она у него была залита чем-то тяжелым, по своему характеру был человек востыльчивый, прямой и поэтому неуживчивый. Года два с половиной тому назад, закончив строителство авиазавода на Волге, Николай Кораблев, получив назначение на московский моторный завод, пригласил было с собой и Ивана Ивановича, но тот категорически отвел предложение:

— Благодарю. Я строитель и свою судьбу ни на что не променяю.

Так он остался в старом наркомате. Но вскоре со всеми перессорился и ушел на научную работу. Теперь, получив телеграмму от Кораблева, он немедленно же прибыл в Чиркуль и несколько дней поджидал своего «шефа», как он называл Кораблева.

— Явился, — сказал он, тепло здороваясь. — И не один. Прихватил еще инженера-металлурга Альтмана. — И, подняв голову, добавил: — Соскучился по вас. Очень.

— Обоюднo, Иван Иванович.

— Видите ли, мне вся эта местность известна, как своя квартира. Что будем строить? Вы ведь в телеграмме не указали.

— Разве? Простите, пожалуйста. Строить будем моторный завод. Значение такого завода, особенно теперь, в военное время, вы понимаете.

— Толково. Давно пора.

— Значит, как говорят, по рукам? Садитесь и начинайте творить то, что полагается главному инженеру, имея в виду, что у нас с

валл есть разрешение строить завод. Географическая точка и... никакого плана.

Иван Иванович снова свесил голову и уже не поднимал ее, боясь, что сейчас все разрывается.

— А наркомат? Они ведь меня предали остракизму.

— Это вам так кажется. А затем, я имею полномочие подбирать людей по своему усмотрению.

В зеленых прищуренных глазах Ивана Ивановича вспыхнули слезы, но он тут же погасил их.

— А вы не напечете беды на себя?

— Беда всюду гуляет, но в данном случае она нарвется на мое упрямство.

— Вот за это я вас и люблю, за смелость. — чуть погодя проговорил Иван Иванович и отвернулся, чтобы скрыть увлажненные глаза.

В обширной, пахнувшей свежей краской чиркульской гостинице Иван Иванович засел за разработку плана. Он работал и день и ночь, все подчитывая, взвешивая, вызывая к себе инженеров, техников, прорабов, лесничих. Появлялся на людях он только во время завтрака, обеда и ужина. Но и тут мысли о строительстве не покидали его: обрешившись даже к случайному человеку, сидящему с ним за одним столом, он вдохновенно произносил:

— Четыре тысячи тонн только одного металла потребуется нам. Это, милый мой, двести сорок тысяч пудов! Ого! — и вскидывал вверх руку вместе с вилкой. — Вы понимаете, что это за поэма? Нам потребуется семь миллионов одного только кирпича. Это же, милый мой, целая гора. Два цементных завода будут работать только на нас. А знаете, сколько нам потребуется, например, электрического провода или тех же канализационных труб? Вы думаете, завод это только то, что вы видите глазами? О-о-о, нет! Под заводом, в земле, гигантское хозяйство, — и смолкал так же неожиданно, как начинал.

Все шло хорошо. Инженеры, прорабы, приехавшие со всех концов страны, живя в землянках, как исследователи-геологи работали с большим подъемом, не отставая от Ивана Ивановича. Даже Альтман, как металлург не найдя пока себе применения, взялся за разведку грунтов на площадке и вел это дело блестяще. Но все это был только штаб без войск — рабочих. Откуда-то, из Казахстана, Узбекистана, с Поволжья, Сибири, шли эшелоны с людьми, и для них готовились обширные бараки. Но Николай Кораблев понимал, что без местного, коренного жителя, привычного к особым уральским климатическим условиям, вряд ли что сделаешь. А местные жители упорно не шли на строительство. Как ни уговаривали их вербовщики, писали договоры, да-

вали задаток, — и договора и задатки жители быстро возвращали, твердя одно:

— Своей работы по горло, хоть самим занимай.

«Сорвут! Все сорвут!» — с тревогой подумал Николай Кораблев и, не доверяя вербовщикам, сам решил ознакомиться с местными жителями.

## 2

Городок Чиркуль, расположенный в золотосносной долине, неподалеку от стрелочной площадки, был, как большинство городков Урала. Мощеный, украшенный новыми многоэтажными домами центр резко отягчался от деревянных окраин и жал, теснил окраины. Окраины лезли на горы, убегали во все стороны, но держались крепко: тут избы из толстых сосновых бревен лежали на земле весомо, уходили в нее каменными фундаментами; почерневшие ворота всюду были плотно пригнаны, как двери в кладовках; крыши домов заросли зеленым мхом и казались бородачьи.

Здесь главным образом жили старатели-золотискатели, предки которых пришли сюда со всех сторон Руси лет двести тому назад. В песках, в наносах они промывали крупинки золота; каждый, конечно, мечтал нарваться на самородок, рассказывая вновь прибывшим о том, как в этой долине когда-то был найден кусок золота весом в два пуда.

Расхаживая по улицам, всматриваясь в крепко сколоченные избы, Николай Кораблев пытался было заговорить с жителями, но те или молча уходили от него, как бы не слышав его вопроса, или скрывались в калитках, запирая их за собой.

«Вот это народец!» — в досаде подумал он и, увидев в полуоткрытой калитке старика, направился к нему: — Да что это вы как живете? Под замками?

Тот быстро скрылся, но тут же высунулся и сердито кинул:

— На воров не наживешься.

— Как на воров?

— А вот что я вам скажу, — все еще не показываясь весь из калитки, уже мягче продолжал старик. — В человеке есть искорка природная, а есть и подлость неумная. Пожар, к примеру, он что? Его можно поджечь, а можно и не поджечь. Кто поджигает? Человек ведь, а не зверь? Тигра какая ни на есть лютая, а и та не подожжет. А человек, он илама подбросит: в нем подлость лютая сидит. Слышал, немчужба-то какой океан-море поджег?

«Загадками говорит, домашний философ», — решил Николай Кораблев и пошел в калитку.

Старик удивленно посторонился:

— Экий! Однако смел. Из каких будешь?

— Начальник строительства моторного за-

вода, — ответил Николай Кораблев, рассматривая двор.

Двор был выстлан толстыми досками, огорожен высокими каменными стенами, в около стен, как в огромном сундуке, — двухэтажные сарайчики, какие-то клетушки, подвесные и лежачие, погребицы, дровяшки, конюшня, сенишки.

— Из москалей? — все больше сторожась, спросил старик.

— Нет. Волгарь. С Волги.

И вдруг старик, расчесав пятервей бороду, заиграл искорками глаз:

— Прямо скажи — какой? Крути-верти, кидай денежки на ветер, или с умом?

— Считают, с умом. А что?

Старик внимательно посмотрел в карпе глаза Николая Кораблева, и разом все лицо старика покрылось мелкими морщинками, и все морщинки засмеялись.

— Не хвастаешь? Тогда шагай в хату. Праздник сегодня. Гость будешь. Шагай! Нечего клетушки-то рассматривать, — и сам шагнул, уже части. — Человек, я говорю, существо чудное: смолоду рвется на волю, живет себе, как птица небесная, а жепился — давай клетушки строить. Строит и строит, как бабер. Весь в клетушках, аж носа не видать и душе тесно, а он все строит и строит, чтобы ему лопнуть. Мать! — крикнул он, войдя в хату. — Видишь, гость пришел? Принимай!

За огромным столом сидело человек двенадцать. Тут были и малые и взрослые. Они все о чем-то громко разговаривали, не затрагиваясь ни до жареной картошки с бараньей, ни до лепешек. При появлении старика все разом смолкло и лоджались. Из кухонки вышла пожилая, но довольно белолицая и такая же маленькая, как и старичок, женщина. Сначала она недоверчиво посмотрела на Кораблева, затем улыбнулась.

— Где же ты пропал, отец? — упрекнула она старика и обратилась к Кораблеву: — Милости просим, мы хороших гостей любим. Милости просим! — и вскинула на стол огромный пузатый самовар.

— Говорят, незваный гость хуже татарина, — сказал Николай Кораблев, внимательно всматриваясь в людей, которые все еще стояли.

— Ну! Сидеть! — скемандовал старик и заиграл словами, приглашая за стол гостей. — Иначе татары-то хорошие люди стали, дарма, что басурмане. Натек-ко вам, — он сел на свое излюбленное место, тогда за ним сели все, а когда сел и Николай Кораблев, то старик, похваливая на домочальцев, вскрикнул: — Все мои. Плоть, бровь моя, окромья, конечно, снوخ. Коропов звания моя. Почему Коропов? Какая такая корона может быть на мужичьей голове? А я кто ее знает. Только с прадедов такое дер-

жится, и мы в обиду не даем. Вот они, мой соколки, три сына — Егор, Иван, Петр, — тыча пальцем по направлению к каждому, быстро перечислил он имена сыновей. — А это снوخ: Варвара и Люба, — на последней он задержался, ласково похлопал ее по плечу. — Ну, Люба! Скоро? Ты война давай. — И к Николаю Кораблеву: — Скоро война принесет нам в дом. Вот как! И ты, Варвара, закладывай: род Короповых должен быть в уллцу. Мать, а мать! По случаю гостя, дай-ка мне фонарик.

Хозяйка вышла в сени и вскоре принесла оттуда и поставила на стол шахтерский фонарь.

— Рюмки! — приказал Коропов и, потянув фонарь, начал из него по рюмкам разливать водку. — В шахте я работал. Ну, десятничком. А в шахту водку таскать ни-ни: сам за это карал. А выпить хочется там, под землей глубокой. Вот мы и придумали: вроде с фонарем идешь, а фонарь-то с водочкой...

Вся семья разразилась хохотом, и все взрослые потянулись к рюмкам, уже по-доброму поглядывая на Кораблева как на виновника неожиданной выпивки. Старик же Коропов, выпив, потыкав в нос кусочком хлеба, крикнул и зачастил, как бы уже зная, что от него хочет гость:

— Народ мы, старатели, скрытный, недоверчивый и даже вороватый. А как же? Сам подумай: ищет старатель золотице, день ищет, два ищет, неделю, месяц ищет, год ищет. Песту. Ну, попал на рессынь. Что ж тут, кричи, — дескать, экое богатство нашел? Да тут, как мухи, лаетят. Нет, молчи, сони и тихонько золото выбирай. А и другое — бывало, вель на казенных промыслах работали. Рубль пятьдесят копеек за золотник платили. Кружки такие ставили, туда золото при десятнике засыплешь, а обратно — шалышь, брат! Обратно — надо замочек сорвать, печать сургучную сломать. Казна платит рубль пятьдесят копеек, а тут скушники рыщут — три полковых, три с полтиной дают. Как быть? Эка! Ухитрись золото выгresti из кружки, да чтобы печать была цела, замочек цел. Ну и ухитрялись. Поймаешь жука, привяжешь его на ниточку, опустишь в кружку, вытащишь, с лалок золотице стряхнешь — и злить туда. — Коропов так рассмеялся, что даже закашлялся. — Вот оно как! И потому мы народ вороватый. У-у-у! А убийств сколько было.

— А ныне как, тоже тащат золотишко-то? — задал вопрос Николай Кораблев, предполагая, что Коропов или не расслышит или увильнет от ответа.

— Есть такое дело, — выпятил старик.

За столом все смолкло, а хозяйка повернулась к старяку и сердито проговорила:

— Болтаешь! — И Николаю Кораблеву: —

У пас нет. Это он с впа на себя-то наговаривает.

— Нет, ай, есть!—озорно закричал старик,— кто отыщет? Оно, золото, не глина — сердцу мило.

Когда Коронов вышел во двор, чтобы проводить Николая Кораблева, тот ему сказал:

— Умный вы мужик... да и вообще в улице, ваверное, умных много, но вот на работу к нам почему-то не хотите птти.

Старик вскинул руки вверх, как бы защищаясь от удара, и скороговоркой выпалил:

— Не трожь. Гнезда нашего не трожь. Советская власть нам волюшку дала, и не трожь.

— Но ведь она вас и на работу зовет. Кто же завод-то будет строить?

Старик опустил руки, посмотрел куда-то в сторону и опять взъерошился:

— Это так... Но... волюшка!

— Не разумно думаешь. Вот скоро сыпозей призовут врага бить. Чем бить будут? Волюшкой?

Коронов встрепенулся:

— А призовут?

— Нет, так и будут они за самоваром спеть.

— Дай подумаю... Соглашусь, всех приведу.

«Обязательно приведет,— уверенно подумал Николай Кораблев, шагая по улице.— А какой интересный народ. Вот бы тебе, Татьяна, посмотреть».

Расставаясь с Татьяной там, в Кичкасе, он ей сказал:

— Я думаю, мы скоро увидимся. Какой это Чиркуль? Я не знаю. Во всяком случае, это Урал... И тебе там будет не плохо. Я попыщу квартиру с верандой, чтобы тебе возможно было работать, и кого-нибудь пришлю за тобой.

— Нет. Не присылай, не odolжайся: сами доедем,— и погрузив, оглядываясь, боясь, как бы ее не услышала мать, спросила:— Коля! А она сюда не доберется? Немцы?

— Ну, что ты? Там, на границе, их и пристукнут.

В тот час Николай Кораблев знал только одно, что немцы вероломно напали на его родину, а то, что в то же утро русской армии на западной границе был нанесен жестокий удар,— он этого еще не знал. И никак не предполагал, что немцы хлынут в Запорожье, займут Кичкас, перейдут через Днепр. Этого Николай Кораблев никак не ожидал, поэтому и не спешил с вызовом Татьяны на Урал. Он поверил в это странное незавно, и ужасная трезога овладела им — тревога за людей, оставшихся в тылу, за потерянные города, земли, за Татьяну, за сына Виктора и Марию Петровну. Вот почему он на-днях, несмотря

на то, что квартира еще не была подготовлена, послал молнию: «Выезжай немедленно...» и никакого ответа от Татьяны не получил. И сейчас, идя от Коронова, рассматривая особенные избы, крыши, покрытые зеленым мхом, прочернившие ворота и далекие синеватые уральские горы, он снова вспомнил о Татьяне, и сердце у него болезненно заныло.

— Что ж, будем ждать,— сказал он псев, в машину, уехал на строительную площадку.

### 3

Через несколько дней, ведя эпох, Любу и Варвару, в кабинет к Николаю Кораблеву вошел Евстигпей Коронов. Низко поклонившись, он смиренно сказал:

— Сынков проводил. В армию. Полетели соколки мои. Ну и что ж? Оттуда ведь спросить могут: а ты, отец, там двор только стережешь? Могут так спросить? Могут. Ну, и представляй нам пост, умный человек.

Николай Кораблев внимательно посмотрел на Коронова, щукая его глазами, думая: «А какой же пост ему предоставить? Сторож? Хорош будет».—И неожиданно сказал:

— Становись-ка, Евстигпей Ильич, во главе лесорубов. Нам ведь очень много лесу понадобится. И эпох своих прихватите туда, в качестве стряпух.

Коронов тряхнул кудрявой головой:

— Это как — во главе?

Николай Кораблев встал из-за стола и, боясь, что Коронов откажется от предложения, настойчиво и почти сурово произнес:

— Вы ведь... вас ведь очень почитают в улице... старатели. Без них ни вы, ни мы ничего не сделаем. Собирайте-ка их и втяните в это дело.

Коронов чуть подождал, подумал и низко поклонился:

— Кланяюсь за доверие большое, Николай Степанович. И вы благодарите,— обратился он к эпохам.

Люба мило улыбнулась, а Варвара гордо фронесла свое красивое тело, но на пороге ее в плечо толкнул Коронов, и она, повернувшись, хмуро произнесла:

— Что ж? И мы то ж.

— Что, то ж? Ты, гордыня! — пркрикнул он на нее.

Тогда Варвара, играя плечами, стянула с головы косынку так, чтобы были видны ее розовые, в сережках, уши, и пропела, обращаясь к Николаю Кораблеву:

— Батюшка все учил меня деликатности, а какая она — не знаю. Ну и вот! — она вся вслыхнула, мадя к себе женской призывной улыбкой, дразня старика, делая ему это пазло.

— Вот чорты какле они у меня,—скрывая раздражение, вземелся старик.

А Варвара повернулась было к двери и снова посмотрела на Николая Кораблева. И уже не в сплах оторвать от него глаз, сказала серьезно и просто:

— Благодарю.

Это все заметил. Люба больно ущипнула Варвару, шепнув:

— Ох, псовка!

Коронов растерялся, пробормотал:

— Итти, что ль, нам, аль тут подождать? Ну, в самом деле итти?

С этого часа он дневал и ночевал на строительной площадке, то пропадая на лесозаготовках, то руководя разгрузкой бревен на станции. И выкопался заболитливо, кропотливо, как воробей около гнезда, вовлекая в это дело и земляков своих, зvonько покрикивая:

— Подздавай жару! Поддавай, братки! Запрягай Урал-батьшку. Запрягай, как на то совет наш коренник, Николай Степанович.

И Николай Кораблев действительно «запрягал батьшку-Урал».

Строительная площадка находилась километрах в семи от городка Чиркуль, рядом с маленькой станцией. Совсем недавно площадка была покрыта непроходимым сосновым бором. В бору, кроме белки, глухаря и лося, жили еще и пятнистые олени. За это время лес был снят, три выкорчеваны, и на месте глухого бора уже росли основы моторного и литейного цеха, цеха коробки скоростей, строились бараки, жилые дома, столовые, клубы.

— Ах-ах-ах! — вскрикивал Коронов, взбираясь на гору земли, выкинутую экскаватором из котлована. — Дежала земля, как мертвец в гробу. Пришел человек, трах по крышке: «Вставай, земля, служи мне». У-ух! Братки! Какого короля нам Москва прислала! Нет, не король, а туз. Разрази меня на этом месте, туз! — кричал он, ни к кому не обращаясь, а просто радуясь, глядя на то, как со всех сторон, поднимая пыль, несутся грузовые машины, пылят паровозы, двигаются люди, как с высоты, растопыря когти, точно коршуны, падают деррики. — Давай, жару поддавай! Эх, вы-ы-ы, люди-человеки! — и он крутил головой, хлопая в ладоши так, точно убивал комара. — Вон он! Вон он, наш туз-король, — завидя Николая Кораблева, он кидался к нему, тряс его руку и все так же торжественно и радостно выкрикивал: — Крой-валяй! Тащи в гору кладь эту со всю Русь! Тащи, Николай Степанович!

Вынув изо рта трубку, Николай Кораблев проверяюще спрашивал:

— Тащить?

— Тащи, чтобы у всех чертей глаза лопнули.

— Одному?

— Ну! Все, как единая скала, подпирать тебе будем.

И никто не знал, кроме Нади, девушки, потерявшей отца и мать где-то под Смоленском, как мучительно жил Николай Кораблев вое строительной площадки. Каждую ночь, обычно возвращаясь поздно, он, придя на квартиру, заглядывал в комнату Нади и виновато прощал:

— Надюша, прости уж меня, но чайку бы мне.

— А он уже готов, чаек-то ваш. — Надя не стеснялась его, как дочь отца, выкидывала из-под одеяла босые, еще совсем детские ноги, надевала халатик, шла на кухню и несла оттуда горячий чай, малиновое варенье, сухари и сахар.

Варенье каждый раз поавалось в столу, несмотря на то, что Николай Кораблев не договаривался до него, а только поглядывал, как оно красиво переливается при электрическом свете, и иногда даже советовал больше его не подавать. Но Надя протестовала:

— Знаю, что не кушаете, Николай Степанович, но так красивей, с вареньем. Смотрите, как оно блестит, — и слово «блестит» она всегда произносила на своем родном белорусском языке.

— Ах, Надюша! — искренне восхищаясь ею, произносил Николай Кораблев, отхлебывая горячий густой чай. — Спасибо тебе за ласку твою: не ты, я, наверное, совсем бы закип.

— Ну, что вы! О вас Иван Иванович говорит, что вы — человек с металлом в груди. Я, конечно, возражаю. Верно, смешно это — с металлом? Что у вас там кастрюля, что ль, или сковородка? Правда, смешно? — и, наливая, ему новый стакан чая, неизменно предлагала, зная, что ему это надо, иначе, он не заснет: — Давайте карточки посмотрим, пока чай-то пьете? — и бежала в соседнюю комнату, несла, оттуда кипу фотокарточек и, выбрав одну, любимую, показывая ее Николаю Кораблеву, говорила: — А смотрите-ка, Витька (они оба Виктора звали Витькой) будто еще вырос.

— Пожалуй, пожалуй. Ну, конечно, вырос, — поддаваясь ей, говорил он. — Конечно, вырос: ему теперь ведь уже больше года.

— А вот Татьяна Яковлевна! И как она вас любит.

— Да? Любит, Надюша?

— Очень. Вас ведь нельзя не любить. А Мария Петровна. Смотрите, какая она властная. Но я все равно ее полюбила бы. Люблю. Тяжело вам? — прерывала она, видя, как его лицо покрывалось глубокими морщинами.

— Да. Ведь они у меня такие хорошие... И это тяжело, знаешь... Ну вот, например, если бы ты любила. Впрочем, ты ведь еще ребенок, и тебе этого не понять.



— Ну да, не понять, — резко произносила она, уже командуя. — Посмотрели своих, а теперь спать, спать, — и уходила к себе, не дожась до тех пор, пока не засыпал он.

А утром, поднимаясь чуть свет, Николай Кораблев завтракал, закуривал трубку и шел на строительную площадку, неизменно такой же — спокойный, уравновешенный, каким, очевидно, и ползает быть политику или хозяйственнику. Вне дома, заглушая тоску по семье, внутренне находясь в одном и том же состоянии — глубоко веря, что завод будет построен, что на это у народа сил хватит, — он, однако, с каждым человеком вел себя по-разному: на много прораба или начальника участка он излишне громко покрикивал, зная, что, если на него не накричать, он ничего не сделает; много прораба или начальника участка он излишне расхваливал, зная, что, если его не похвалить, он ничего не сделает, с ними был чересчур сердечен, добр, зная, что, если он так с ними не поступит, у них «отвалится руки». Он с каждым человеком вел себя по-разному, играя лицом, жестами, голосом, глазами, и бил в одну и ту же точку — ускорить строительство завода, наладить строительную машину так, чтобы она работала без задержек. И никто не знал, кроме Нади и Ивана Ивановича, о душевных муках Николая Кораблева. Злые же языки, как всегда, говорили наскостное:

— Ну, ему что? У него под боком вон какая девочка — Надяка!

#### 4

Сегодня, как и всегда, вместе с Иваном Ивановичем (они жили в одном домике) Николай Кораблев пришел поздно, когда уже дрогнула заря, и попросил Надю, чтобы та подала ему чай. Но не успела та подать чайник и варенье, как раздался зов сирены и резкий телефонный звонок. Николай Кораблев кинулся к телефону и в дверях увидел встревоженного Ивана Ивановича.

— Беда! Прорвалась гора Ай-Тулак, — проговорил Николай Кораблев, кладя трубку, укоризненно глядя на Ивана Ивановича.

Иван Иванович смертельно побледнел. Он знал, что в шею было короткий срок все работы на строительной площадке были исследованы. Исследование вел временно назначенный начальником геологической группы инженер-металлург Альтман — человек с островерхим, как у ужа, носом, с большими серыми глазами и с непослушной прической, которую он то и дело обеими руками поправлял, как это делают женщины перед зеркалом. Иван Иванович знал Альтмана давно как смелого, умного, энергичного инженера и считал его

своим учеником, чего не отрицал и сам Альтман. И вот совсем недавно Альтман сказал:

— Все мене-боле благополучно. Но там, где гора Ай-Тулак палезает, как напыль, видимо, существует подземное озеро. Надо бы доисследовать. Потребуется недельки две-три.

В другое время Иван Иванович пожертвовал бы этими двумя-тремя неделями, а теперь «все кшело», да, по правде сказать, он и всегда-то не совсем доверял исследователям грунтов, называя их «колунами», тем более он не доверял Альтману, зная его как металлурга.

— У вас все озера да болота, — сердито фыркнул он и, даже не сообщив об этом Николаю Кораблеву, посоветовал отдать распоряжение рыть под горой Ай-Тулак котлован для электростанции.

— Вода? — уже дрожа в коленях, переспросил он.

— Да. Вода. — на ходу ответил Николай Кораблев и, накинув на плечи плащ, выскочил из домика, жался, что не удалось попить крепкого чая и побеседовать с Надей о семье.

Жалел он какую-то секунду. В следующую у него это вылетело: сирена выла, и на ее зов со всех концов строительной площадки бежали люди, вооруженные топорами, ломами, лопатами, баграми. С ними вместе бежал и Короннов. Налетев на Николая Кораблева, он остервенело, с визгом выкрикнул:

— Что-о? Запиргало! А говорил — с умом. Нет, не с умом, а такой — добро на ветер. Народ только, как волон, на работу тянешь, а чтоб обратиться к нему — этого нет. А мы бы тебе сказали. Старики утверждают, было тут озеро... на вершине горы, да его затянуло, и оно утопло в земле, как в гробу, — и еще что-то злое, оскорбительное выкрикивал Короннов.

Николай Кораблев даже не обиделся на него:

«Что ж, он прав: надо все проверять и даже лучшим друзьям не доверять на слово. Как это Ленин сказал? На слово-то верит кто? Ах, да, — безнадежный идиот. Вот и я...» — подумал Николай Кораблев и, теряя где-то захваченного Ивана Ивановича, побежал к горе Ай-Тулак.

Заря уже овладела лесами, небом. Оно горело и, казалось, медленно опускалось на землю. При ярчайших лучах утреннего солнца было видно, как вода, прорвавшись через расщелину, затопила котлован вместе с экскаватором, хобот которого, будто захлебываясь и взывая о помощи, торчал из бурлящей пены. Вырвавшись на просторы, вода ринулась по строительной площадке, поднимая бревна, тес, бочки, унося все это прочь или нагромождая причудливые ярусы.

Тысячи людей с азартом кинулись на рас-

щелину, забывая ее землей, глыбами, а вода все это смывала, как брошенную ребенком горсть песка. Вон она опрокинула мост, выдрала его со сваями, и мост, по-чуждому кувыркаясь, как будто ему страшно не хотелось расставаться с насиженным местом, поплыл вниз.

Николай Кораблев, выслушав торопливые, сбивчивые объяснения Альтмана, приказал рыть отводные каналы. Но вода еще стремительней хлынула из расщелины, расширяя ее, делая похожей на гигантскую ласть и затопля каналы, угоняя людей прочь, метнулась на барак, землянки, угрожая продовольственным складам. Тогда кто-то предложил забросать образовавшуюся пасть мешками с песком. Вскоре появились мешки с песком. И люди в полной уверенности, что вода сейчас же прекратит безобразничать, начали кидать мешки. Они кидали, взяв мешок за углы, раскачиваясь, ухая, а пасть глотала мешки, как голодный пес кусочки мяса.

Так прошел час-два-три... Уже солнце перешло за полдень.

Вместе со всеми, кряхтя, по-стариковски бессильно хватая мешок за угол, бросал их и Иван Иванович. Он как-то сразу отупел, чувствуя свою вину, однако вместе со всеми верил в победу. И единственный человек в победу не верил — это Николай Кораблев: он видел, что люди уже вышли из повиновения, разбились на группы, и каждая группа делала то, что приходило ей на ум, часть людей убежала к баракам, землянкам — сплести одежку, а всякие советы казались столь же нелепыми, как нелепы советы приостановить проливной дождь.

«А пло все так хорошо», — Николай Кораблев посмотрел на строительную площадку.

Вода бурно неслась через шоссе, в ряде мест размыва полотно железной дороги, затопила некоторые котлованы и бараки, на крышах которых копошились люди, и главное — омертвила работы: уже не пытели умницы-экскаваторы, не взвивались дерзшки, не мельтешили на лесах плотники, каменщики. Все замерло... И Николаем Кораблевым вдруг овладел ужас. Ему захотелось бежать отсюда, как бежит человек от чумного места.

«Это ужасно, ужасно, — думал он. — И никакого опыта у нас нет. И все, что мы делаем, — делаем глупо... и неужели у местных жителей тоже никакого опыта нет?» — И он попросил, чтобы прислали к нему Евгения Коронова.

Коронов вскоре явился. Бодраявенький, разгоряченный и грязненький, он теперь походил на болотную кочку, заросшую травой-резучкой. Еще издали, неудержимо размахивая руками, он кричал:

— А я говорю — это надо. А Альтман —

нет. А откуда знает кукушка, как вить глезда? — И, подскочив к Николаю Кораблеву: — Али и ты из таких, кто на государственное добро — плюнь да разотри?

Николай Кораблев недоуменно посмотрел на него, а тот еще громче выкрикнул:

— Не жалеи дельжат — тогда бабку возе сорвем. Динамит есть, взрывчатка какая?

Альтман скривил губы:

— Выдумка! Фантазия!

— Давай динамиту, ай взрывчатку какую! — И, услыхав возражение Альтмана, Коронов весь сморщился и со слезой, со стоном: — Ай вам всем уральского добра не жалко? Гибель полную хотите после себя учинить? — и с этими словами он кинулся в толпу, как от пламени в воду.

## 5

Люди, кому-то грозя, кого-то ругая, с шумом и гамом отхлынули от котлована, оставляя на гребне Ивана Ивановича. Он, как во сне, видел: огромная, колышущаяся толпа остановилась поодаль, а на возвышенности горы появились Николай Кораблев, Альтман, Коронов и группа рабочих. Они что-то пронесли. Потом что-то долго делали там, под уклоном. В это время кто-то подошел, взял под руку Ивана Ивановича и отвел в сторону.

Люди молчали. Если бы не рез прорвавшегося озера, то, наверно, слышно было бы тяжелое дыхание толпы: так высоко поднимались груди, а лица у всех были мрачные, как у охотников, которым не удалось «сломать» медведя, и зверь уходил. Так они стояли и час, и два... И вдруг скат горы, будто всем подмигнув, осел... затем раздался оглушительный взрыв. Шапка горы, рванувшись, взлетела вверх, застилая яркое голубое небо тучей пыли, а в котлован обрушились земля, камни, глыбы.

Вода еще злее зашипела, и поток оборвался.

Раздались крики, приветствующие Коронова.

Иван Иванович только тут пришел в себя и, узнав, в чем дело, обомлел:

«Как же это я? Как же? Я ведь уралец и знаю, что только так можно было задушить озеро. Поистине кто-то лишил меня разума». — Скрывая глаза, чувствуя свою двойную уже, вину, он вихляющей походкой подошел к Николаю Кораблеву и, чтобы отвести разговор от своей ошибки, сказал:

— Ах, как работали! Народ. И про народ. Ведь целый день без пищи.

Николай Кораблев, сдерживая бешенство, не глядя на Ивана Ивановича, походка которого в эту минуту ему показалась противной, проговорил:

— Четыре дня за вами. Нет, шесть. День

мы потратили на это, — он показал на котлован, — и дней пять придется убирать всю эту дрянь. Смотрите, как все закисло.

Иван Иванович склонил голову, затем поднял ее и большими чистыми глазами посмотрел на своего начальника. Посмотрел так, что у Николая Кораблева внутри дрогнуло.

— Извините, — проговорил Иван Иванович.

Но это слово «извините» снова взвинтило Николая Кораблева, и он, чего с ним никогда не было, шагнул, поднял руку, как бы намереваясь одним ударом сбить Ивана Ивановича с ног.

— К черту! Никаких «извините». Этим дело не поправишь. Надо наверстать шесть дней. Мы не имеем права терять и одного дня, фронт ждет.

— Хорошо. Я сейчас пойду. Я просмотрю сроки строительства и, наверное, найду.

— Не сейчас, а передохните, на вас лица нет, — сурово одернул его Николай Кораблев. — На фронте за такое расстреливают. И вас бы следовало... только... только у меня нет такого инженера, как вы, которого я бы как любил, черт бы вас побрал! — И накинул на подшедшего Альтмана. — А вы почему не проявили настойчивость?

Альтман заговорил с остановками, как бы пробуя каждое слово на зуб:

— Да ведь... ведь оп, Иван Иванович, для меня авторитет.

— Авторитет? В таких делах авторитеты существуют только для дураков. А вы умный инженер. Чего зря болтаете? — И, увидав Коронова, по одну сторону которого шла Люба, а по другую Варвара, он тепло улыбаясь, сказал: — Ну, Евстигней Ильич, не знаю уж как и отблагодарить вас. Будут награждать нас орденами — первому попрошу орден вам.

— Сочту за благодарность большущую, — явно гордась своим успехом, ответил Коронов и, посмотрев на Варвару, сказал уже напыщенно, зная — в этом отказа не будет: — Варвара просит меня обратиться к вам, Николай Степанович, чтобы ее, как у нее малое дите, трехлетка, с лесозаготовок перевести сюда, в столовую. Работать будет, как и предполагается.

Варвара стояла прямо, как бы нанокказ выставив свое красивое тело, и глаза у нее горели.

— Да-а. Малое дите, — тоненьким голосом, вкладывая какой-то свой смысл, пропищала Люба и передернула плечами.

«Ух, как это нестати, — подумал Николай Кораблев, отворачиваясь от Варвары. — Еще подумают — шашни какие-то». Но тут же снова посмотрел на Варвару сурово и деловито, давая всем понять, что горящие глаза Варвары вовсе не трогают его, проговорил:

— Что ж, это можно. Завтра пусть и переходит.

Надя, увязая в иле, перепрыгивая через канавки, подбежала к Николаю Кораблеву и, вынимая из карманка пиджачка письмо, сказала:

— Радость-то какая, Николай Степанович. От Татьяны Яковлевны.

Письмо действительно было от Татьяны. Оно, потрепанное, грязненькое, надорванное в ряде мест, бродило где-то очень долго и только вот теперь, на сороковой день, попало в руки Николая Кораблева.

«Коля, — писала Татьяна разбросным и торопливым почерком. — Я, мама и Виктор уходим. Я смогла с собой захватить только картину «Днепр». Ох, а от тебя давно нет писем. И как хотела бы я сейчас получить от тебя хоть строчку. Навсегда, навсегда, навсегда твоя Татьяна».

И то, что письмо где-то так долго бродило, и то, что в нем было сказано «уходим», так потрясло Николая Кораблева, что он, утопая в иле, пошел от котлована, качиваясь. А войдя к себе в квартиру, не раздеваясь, повалился на диван и, засыхаясь, прошептал:

«Вот! Такой же страшный поток прорвался и в жизни. Такой же. Война — страшный поток. Ах, Таня! Танюша моя! Сколько тебе теперь придется перестрадать. Уже сороковой день ты где-то. И где ты?.. где ты?» — На этом его мысль оборвалась, и он было покатился в какую-то беспросветную бездну, но, собрав все силы, поднявшись на руках, он застонал так, что из соседней комнаты выбежала Надя.

— Батюшки! — вскрикнула она. — Да у вас жилка на виске лопнет. Я сбегала за доктором.

— Не надо, — грубо кипул он. — Сейчас некогда страдать и лечиться. Вся площадка у нас замазана грязью. Приду поздно. — И все так же пошатываясь, он вышел из квартиры.

Надя выбежала за ним, взяла его за руку, по-детски заглядывая ему в лицо, умоляя глазами, чтобы он остался дома. Он погладил ее по голове и жестко произнес:

— Страдания свои и ненависть свою, Надюша, мы ныне должны вкладывать в снаряды

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Степь звенела толко, пронзительно, постоянно и захватывающе. И лилось солнце на обширнейшие просторы, а небо было глубокое, свежее. Казалось, ничего в мире не изменилось: все так же звенит степь, все так же греет солнце, все так же, поднявшись в вышину, заливается какая-то пичуга...

Но степь была изранена, степь истекала

кровью: то тут, то там виднелись изуродованные, разорванные на части коровы, лошади, овцы; то тут, то там лежали как пошало—одиночками, группами—люди, сраженные пулями, фугасными бомбами, а по дороге и около вразброс стояли подбитые грузовики, телеги, увязшие тракторы, в канавах валялись узелки с одежкой, мятые самовары, сундучки, а вон лежит, кидая от себя ярчайший отблеск солнца, зеркало с причудливыми завитушками наверху... И идут люди, уставшие, запыленные, тоскующими глазами глядя куда-то вперед...

В таком людском сером потоке оказалась и Татьяна. Она шла уже второй день и вторую ночь, неся на руках маленького Виктора, а за спиной—тяжелый сверток картины «Днепр». За ними шагала мать, вся увешанная узелками, сумочками. Мария Петровна, как и абсолютное большинство беженцев, не смотрела по сторонам. Она смотрела только вперед или себе под ноги: по сторонам было страшно смотреть. И она, глядя только вперед, только себе под ноги, иногда слышала, как произносила Татьяна:

— Мама! Мама! Да что же это? Это ведь ужасно, мама! Это ведь люди в канавах.

Мария Петровна не оглядывалась, хотя и слышала стоны, вопли, предсмертные крики: «Да вы хоть убейте!» И только один раз она оглянулась, когда Татьяна остановилась, произнеся совсем тихо:

— Ма-ма... ребе-нок!

В канаве лежала женщина с раздробленной головой. По ней ползал ребенок, отыскивая ее грудь.

— Иди, Таня! Иди!—резко-грубо проговорила Мария Петровна.—Иди!—и подтолкнула ее.—Я бы своими руками задушила тех, кто затеял такое. Но ведь я бессильна. И ты бессильна. Знаю, чего думаешь: взять ребенка. А своего куда?

И в это время где-то на стороне, нарушая звонкие напевы степей, загудели самолеты. Один, другой, третий, четвертый... туча самолетов загудела в глубоком, чистом, как зеркало, небе. Они, вынырнув откуда-то из-за перелеска, взвились, сделали круг и, стремительней птиц, понеслись на потоки беженцев. И люди пали на окровавленную землю, прикрывая собой детей, раненых, искалеченных, крепко сцепившись руками в желтеющие травы, как будто это и могло спасти их. А самолеты свизались так, что видны были головы немецких летчиков... и тогда степь оглушилась стонами, воплями, душераздирающими криками. Люди вдруг, как ужаленные, переворачивались или мучительно изгибались, выкидывая вверх ружья, и застывали. Иные, смер-

тельно раненные, кидались из стороны в сторону.

Проходила минута, вторая, третья... десятая, и тогда снова начинали звенеть степи, снова взвивалась в голубое небо какая-то пичуга, снова пробегал живительный ветерок. И снова падали самолеты. Так на дня пять-шесть раз... А люди все шли, и шли, и шли... День, другой, третий, четвертый... шли, побросав все, что не в силах были нести, растеряв родных, детей, стариков, старух, думая уже в каком-то отупении только о себе, только с том, как бы не подкосились ноги.

И только на пятый или на шестой день они попали на вокзал, переполненный такими же беженцами. Их посадили в теплушки, дали хлеба, воды. И поезд тронулся куда-то на север.

\* \* \*

Вначале, когда Татьяна и Мария Петровна вышли из Кичкаса, Виктору было все интересно: он впервые видел и такие степи, и такое солнце, и такое множество людей. Показывая пальцем на корову, он произносил:

— Му-у.

Видя лежащую в канаве женщину, он произносил:

— Те-е-я-я,—и все что-то лепетал-лепетал, но чаще всего твердил: — Папа.—Потом, очевидно, и до его детского сознания дошло что-то страшное: он примирел, забился под шаль матери, выглядывая оттуда, как маленький сурок... И на какой-то станции между Орлом и Брянском он заболел. У него открылась рвота. В течение одной ночи он как-то повзрослел; глазами взрослого человека он подолгу смотрел на мать, как бы говоря: «Мама. Зачем все это? Зачем меня-то так мучают, мама?».

И им пришлось покинуть вагон. Они сошли ночью на маленькой станции. В здании только у кассира в комнате горела лампешка и было сыро, пахло кислотой. Поставив в уголок сверток картины «Днепр», положив узелок с вещами Виктора, они присели на кем-то оставленный ящик. В здании было пусто. Только иногда из своей комнаты выходила кассирша, женщина довольно грузная, с прической под мальчишка, в пенсне и валеных сапогах. Выйдя, она некоторое время смотрела в темный угол, как бы рассматривая Татьяну, Марию Петровну и Виктора. Поставив так, она снова уходила к себе в комнату.

— Может, мы на ее ящике сидим?—прошептала Мария Петровна. И к кассирше:

— Яничек ваш, видно, мы занимаем?

Та тряхнула мальчонкой, подстриженной под мальчишка головкой:

— Нет. Я люблю,

И было непонятно: то ли она кого любит, то ли любит вот так рассматривать в темном углу людей, то ли любит просто выходить из своей комнаты. Сказав так, она скрылась в комнате, затем потасила лампу и вышла на перрон. В здании стало еще темней, еще глуше. Мария Петровна, прислонясь к дочери, прикорнула, а Татьяна, глядя открытыми, расширенными глазами во тьму, ярко представила себе Кичкас — зеленый городок, Днепр с его игривыми водами и красивейшей плотной, южное небо, просторы. Вот она уже сама бежит по берегу Днепра, садится на красную скалу, вынимает краски и быстро начинает бросать их кисточками на полотно...

— Это... это очень хорошо, — слышит она и поворачивается.

Недалеко, за рыжей глыбой, стоит человек без фуражки. На высокий белый лоб падают кудлатые волосы.

— Коля! Но какой ты? Ты такой, как тогда, впервые...

И снова звенит степное солнце, катятся воды Днепра.

И вдруг взрыв! В голубое украинское небо летит красавица днепровская плотина. Стоны, плач. И кто-то безумно кричит:

— Всё! Всё!

## 2

Так они просидели до утра. Окно стало молочное. Вошел старичок в фартуке, с метелкой, сказал:

— Запылю. Шли бы на вольный ветерок.

Они вышли. Присели под могучей ветлой. Их окружили местные жители. Люди, узнав, откуда они, охали, ахали, давали разные советы. Одни советовали остаться здесь, на станции, другие — отправиться в село Егормыш, там есть и доктор. Кто-то сказал, что до Егормыша всего двенадцать километров, но его перебили, заявив, что вовсе не двенадцать, а восемнадцать. И люди заспорили. У Татьяны давило горло: она знала, что ни у нее, ни у матери нет денег, нет лишних вещей, — значит, им придется теперь унижаться, просить... И она впервые зарыдала громко, как обиженный ребенок... Толпа еще больше заохала, заохала, а тетка, готовая расплакаться, сказала:

— А ты не реви! Поднимайся и ступай в Егормыш.

Но тут толпу раздвинул седоватый человек в чесучевом поношенном пиджаке и парусиновых чистых и разглаженных брюках. Сняв с головы фуражку, он поклонился Марии Петровне, затем надел фуражку и, не спрашивая согласия, взял узелок.

— Идите-ка за мной, — мягко, но властно

проговорил он. — Дочка, что ль, ваша? — он кивнул на Татьяну. — И ее ведите. Помогите-ка ей подняться, матери; видите, ребенок у нее большой, — обратился он к толпе.

Люди подхватили под руки Татьяну и повели за Марией Петровной мимо палисадника, из которого так и тарасились ветки желтеющей акации. Усадив Татьяну и Марию Петровну в шарабан какого-то допотопного покроя, запряженный парой сытых серых рысаков, седоватый человек сказал кучеру:

— Савелий! Отвези-ка их ко мне. Прямо на квартиру. Анастасии Григорьевне скажи, чтобы приняла хорошо. Хорошо, мол, чтобы приняла. Да доктора немедленно... да баньку. Сам баньку-то приготовь... Сам. Знаешь как?

— Слушаюсь, Егор Панкратьевич, — ответил Савелий, мужик бородатый и такой широкый в плечах, что, казалось, ему трудно их поворачивать. — Слушаюсь. Егор Панкратьевич, — еще раз сказал он и полминуту, давая этим знать: и как, дескать, ты меня учишь, уж я-то по баннным делам весь мир перешибу.

— Ну, трогай! Я догоню вас, — сказал Егор Панкратьевич.

И Савелий тронул рысаков.

А Татьяна снова заплакала, но не громко, а чуть-чуть всхлипывая, то и тело поворачивая голову в сторону Егора Панкратьевича, как бы боясь, что с ним больше и не встретится. Тот стоял у палисадника и махал фуражкой.

Мария Петровна проговорила:

— Ну, вот и нашелся сердечный человек.

## 3

Отъехав от станции тихим шагом, выбравшись на степные просторы, Савелий весь преобразился, глянул на своих седоков, почему-то подмигнул им и вдруг резко, звонко крикнув: — А ну! С ветерком, лихие! — натянул ременные вожжи.

Сытые кони взяли сразу в крупный шаг и понеслись, понеслись, развевая густыми гривами, побрякивая щелями, колечками. Конь несся сдуженно, в один шаг, как бы договорясь между собой, ровно, только чуть-чуть вздрагивая спинами. А шарабан, покачиваясь туда-сюда, иногда почему-то воя, метался на глубоких колеях, и казалось, вот-вот распылится. Мария Петровна, крепко вцепившись руками в ободину шарабана, временами вскрикивала:

— А, батюшки! А, матушки! Да не выкинет он нас?, А, батюшки!

— А ну, э-э-эй! Сторонись! Эй! — почти пел Савелий, весь срастаясь с конями, превращаясь в единое с ними. И несмотря на то, что на дороге никого не было, он, однако, про-

должал звонко: — Эй! Эй! А ну, сторонись! Эй! — И было ясно, что так вскрикивает он только для того, чтобы все — и его седоки и весь мир — обратили бы внимание на него, на его коней и, ахнув, сказали бы: «Ай да Савелий!» — А ну! Эй-эй! Сторонись! Эй! — гикал он, все крепче натягивая ремешные вожжи. И кони неслись уже извиваясь, искога бросая взгляд на Савелия, как бы одобряя его.

Татьяне от такой езды стало хорошо. Она тихо засмеялась и какими-то особыми глазами посмотрела на все — и на мчавшихся коней, и на Савелия, и на поля, усыпанные скирдами ржи, пшеницы, золотистого проса и кудрявого овса.

«Ведь это наши поля, наши хлеба... наша земля... и этот чудесный Савелий, и тот — Егор Панкратьевич. Всё, всё — это наше. Наша родина! — кричала она про себя и расширенными глазами, как бы впервые все это видя, смотрела на поля, на хлеба, на коней, на Савелия. — Боже! Боже! Как мы красиво живем. И я еду... я к тебе еду, Коля, Колюша мой... Родной мой... Ро-о-одно-о-о-ой!» — посылая она через обширнейшие просторы полей, через горы, туда, на Урал, где находился Николай Кораблев.

Мария Петровна, глядя на свою дочь, видя ее сияющие глаза, сама в страхе крепко держась за ободину шарабана, совсем не понимала, чему радуется ее дочка.

— Как бы он не выжмул нас... Из кошелки этой, — сказала она.

Но Савелий сидел на козлах, как влитой. Выбросив вперед руки, натянув вожжи, он, гордо свалив голову на правое плечо, гикал:

— А ну! Ай-ай-ай! Лихие! Соколики, сердечные мои!

И Татьяна вергла ему, этому чудесному, бородавотому Савелию, верила коням, серым, сытым, сдруженным, верила этим полям, этому солнцу, этому буйному ветру, рвущему с нее косынку, с коней их густые гривы. Верила и чувствовала, что она, на родине, на своей земле, среди своих добросердечных, гостеприимных земляков.

— Мама! Мама! — вскрикнула она, стараясь перекричать скрип и вой шарабана, гулкий стук копыт, свист ветра. — Ма-ам-а!

И мать поняла: ее дочь чему-то крепко рада. Она оторвала руку от ободины шарабана, и, заглянув под шаль в лицо Виктора, сказала:

— Успел? Мужик-то наш? — Этого никто не слышал, но мать совсем и не заботилась об этом.

4

Кони, промчавшись равнинами, выскочили в гору, и тут только Савелий отпустил вожжж. Кони, резко сбавив шаг, пошли вразвалку,

роняя с себя ключья пены, грызя удила, все чаще и чаще скашивая глаз на Савелия, как бы ожидая похвалы от него. И Савелий похвалил:

— Молодцы! Одно могу сказать, молодцы вы, соколики! — и, опустившись на козлах, повернулся к своим седокам: — Каково?

Мария Петровна тоже села свободней и, вздохнув, сказала:

— Ну, умеете вы управлять лошадами.

— Люблю, — отрезал Савелий, и тут же, заглядывая в лицо Виктора: — Хворают? Малый-то? — И, не дожидаясь ответа, уверенно произнес: — У нас поправится. У нас в Ливне место такое — здоровое. Да и Егор Панкратьевич — мужик я те дам. Егор Панкратьевич по всему округу первый директор: четырнадцать лет мы с ним вместе на одном месте. Вот как! — и замотал головой, смеясь. — Чуда-дива! И как это его не выдвинули, ай не задвинули? У нас ведь так: хорошо работает — выдвинуть его, плохо — задвинуть, — повторил он чьи-то чужие слова. — Дива-чуда! — И, выехав в гору, заросшую густыми сосновыми лесами, пройдя песчаную дорогу пешком, Савелий снова сел на козлы и натянул вожжи. Кони рванулись все так же согласованно, дружно отбивая шаг.

Через несколько минут, как бы увидя Моксву, Савелий радостно сообщил:

— Вот она — наша Ливня! И-их! Красота неопишная!

В долине, разрезанной рекой и огромным прудом, лежало село Ливня. По обе стороны села тянулись горы, уросшие сосновыми лесами, а почти рядом с селом, уходя в зелень бора побеленными каменными, с колоннами, зданиями, выднелось крупное хозяйство.

— Вол он где живет, Егор Панкратьевич. Совхоз! — Савелий отпустил вожжи, и коня снова пошла вразвалку. — А то вон — мой дом. Во-о-он, с новой крышей на второй улице. Егор Панкратьевич помог. Сказал: «Ну, Савелий, скворец — и тот свое жильце имеет, и ты приспособляйся». Вот он какой, Егор Панкратьевич! — А ввехав в село, Савелий так натянул вожжи, что кони рванулись с места ураганно. Сам же Савелий весь приподнялся на козлах и, покрякивая: «Эй-эй! Сторонись! Ротозей!» — чортом, как говорят, промчался длинной улицей и вдруг, со всего разбега, круто остановил коней у дома со старинными колоннами. Остановил и сказал: — Тута, — и, глянув в подъезд дома, отшатнулся, удивленно произнеся: — Эх! Здесь уж он. И как это его угораздило? Видно, машину вызвал. У-у-у! Мы лесной дорогой, а он в крюк — степной.

Из каменного дома с колоннами выбежал

Егор Панкратьевич, уже одетый в серенький выглаженный пиджачок, и его жена Анастасия Григорьевна, женщина довольно полная, седоватая, но весьма расторопная. Она, несмотря на свою полноту, первая подбежала к шарабану и, протягивая руки к Виктору, проговорила:

— Сходите, сходите, родименькие. Сходите! Дай-ка мне младенца-то. Дай-ка, матушка моя... Егорушка мне уже все рассказал.— И приняв из рук Татьяны Виктора, который, к ее удивлению, охотно на это пошел, Анастасия Григорьевна подошла к мужу, по-стариковски поцеловала его прямо в губы, сказала:— Хороший ты у меня, Егорушка! Помогика им выбратся. Самовар-то уж кипит. Пускай умываются, да я за стол. А ты, Савелий Петрович, копей-то оставишь, да баньку. Золотую, смотри! Не серебряную, а золотую,— умеешь ты это,— золотую,— и пошла в дом, что-то напевая маленькому Виктору.

Татьяна, выбираясь из шарабана, услышала, как Виктор где-то там на лестнице засмеялся...

## 5

После самовара, после завтрака, после того как побывала у них «докторша», после баньки, горячо натопленной, пахнувшей уксусом и березовыми вениками,— после всего этого, свободно вздохнув, Татьяна послала Николаю Кораблеву телеграмму:

«Живы. Здоровы. Помогли хорошие люди. Скоро увидимся. Целуем тебя все. Навсегда твоя Татьяна».

И телеграмма эта шла очень долго. Она попала на строительную площадку к вечеру шестнадцатого октября, когда Николай Кораблев и Иван Иванович сидели в домике за столом и обсуждали очень тревожную сводку с фронта. В сводке было сообщено, что немцы проваали линию обороны под Вязьмой, Ярцевым, что пал Орел, что под ударом находится Брянск,— и что все это вместе, заключали они, угрожает и Москве.

— Да-а,— тянул Иван Иванович, роняя голову на грудь. Москва может, конечно, пасть. Но Москва еще не страна. Но... но... отступление — это, знаете ли, сворачивается ковер... он обязательно развернется. Так еще сказал Клаузевиц: ковер сворачивается — страна накапливает силы, накопила — ковер развернется и хлестнет врага по лицу.

— Лучше бы он не сворачивался,— с тоской проговорил Николай Кораблев и в это время увидел всю сияющую Надю.

Надя, подавая ему телеграмму, сказала:

— Смотрите-ка. Не зря я сегодня во сне видела голубей.

Прочитав телеграмму, Николай Кораблев

выскочил из-за стола и, огромный, косолапая, забегал по комнате:

— Приедет? Ну, надо все прибрать. Нет, нет, тут хорошо,— ответил он на недоуменный взгляд Нади.— Но надо еще лучше. Может, цветы достанем, Иван Иванович? Комнату для Витьки. Мы с Таней вот в этой будем жить. А там Витька с бабушкой. Нет, нет,— заторопился он, видя, как Надя побледнела.— Ты будешь с нами. Ты учиться будешь. Хочешь ведь учиться? Ну, вот! Татьяна Яковлевна поможет тебе. И вы сдружитесь. Обязательно.

— Откуда телеграмма-то? — Иван Иванович взял телеграмму, вынул из бокового кармана очки,— он страдал дальновзоркостью,— прочитал и, зашпачаясь, проговорил. — Но ведь Лявня... Это — я знаю — за Орлом.

— За Орлом? — тоже зашпачаясь и тяжело опускаясь на диван, спросил Николай Кораблев.— Это значит?

— Значит? Орел-то ведь пал. Но, может быть, они успели?.. И наверное успели,— начал успокаивать Иван Иванович, уже не веря в свои слова...

## 6

Татьяна с сыном и матерью поселилась у директора совхоза Егора Панкратьевича Елова в большой пустой квартире. В квартире аккуратно стояли покрытые белыми покрывалами кровати, разношерстные кресла, стулья, трюмо, разбитое в уголке, шкафчики, гардеробы. Но в квартире было пусто потому, что два сына Егора Панкратьевича, Федя и Коля, были призваны в армию... Тут за Виктором ухаживали все: и «докторша», и Анастасия Григорьевна, и Егор Панкратьевич и, тем более, Марья Петровна... И он стал поправляться. Вечерами тихими, осенними, все, когда Виктор уже засыпал, собирались за длинным столом. Анастасия Григорьевна неизменно садилась по правую руку Егора Панкратьевича, около самовара, и, разливая чай, поглядывая на комнатку Виктора, чтобы не разбудить его, тихо говорила:

— Война ужасная!.. Мы, матеря, знаем, какая она ужасная. Ужасная! — Всякий разговор о войне, она никак не могла подобрать другого слова и говорила только: «ужасная», «ужасная». И ее все понимали.— Вот у меня двое ушли. Дети. Дети ведь еще!

Егор Панкратьевич считал своих сыновей тоже еще детьми, но, чтобы успокоить Анастасию Григорьевну, намеренно опровергал:

— Какие там, мать, дети? Я в их годы уж с тобой под венцом был.

— Дети! — настойчиво отбивалась Анастасия Григорьевна.— Для меня они дети. И ты

не от сердца говоришь, Егорушка. И не пускать бы их на войну-то...

Вскоре пришло свое горе. Егора Панкратьевича письменно известили, что один из его сыновей, Федя, «героически пал в бою». Получив такое известие, он дня четыре бродил мрачный, ни с кем не разговаривая, потерял сон и так похудел, что нос у него заострился, как у мертвеца. На рассказы Анастасии Григорьевны, что с ним, он отвечал, что-де плохо идут дела в поле, но чаще отвечал совсем невпопад, и Анастасия Григорьевна почувала непоправимую беду. Раз ночью, лежа в кровати, она слышала, как застонал Егор Панкратьевич. Тогда она поднялась включила свет, опустилась на колени перед кроватью мужа и, тихо плача, проговорила:

— Егорушка! Аль на тридцать пятом году жизни с тобой я веру в себя потеряла?

Егор Панкратьевич, очнувшись, увидев перед собой жену с заплаканным лицом, вскрикнул:

— Мать! Уйд! Уйд, мать! Дай уж эту беду я на себе понесу,— и зарыдал, весь сотрясаясь...

И мать все поняла.

Она охнула:

— Какой?

— Фе-фе... Фе...— Егор Панкратьевич захлопнулся, не в силах произнести «Федя», а мать еще громче охнула и гружно упала на пол...

Через несколько дней ее хоронили всем семейством, и в телегу, превращенную Савелием в своеобразный катафалк, были запряжены все те же серые кони. После похорон Егор Панкратьевич неожиданно похлестал: за несколько дней волосы на его голове выпали, и оказался желтоватый, восковой череп. На людях Егор Панкратьевич всем улыбался, со всеми разговаривал, а дома у себя ходил по комнате из угла в угол, о чем-то глубоко думая, и вдруг, забывшись, произносил:

— Мать! А, мать! Чай пить, что ль, будем?

Вот когда во все комнаты ворвалась мертвая тишина. Эту тишину иногда только нарушал маленький Виктор, громко, по-скворчиному распевая свои песни.

Вскоре слег и Егор Панкратьевич.

— Сердце зашалоило,— говорил он, лежа в постели, мило улыбаясь.— А вы бы, Мария Петровна, не хлопотали так около меня. Ничего. Я подымусь скоро.— А иногда по вечерам Татьяна слышала, как он горестно жаловался Марии Петровне: — Тридцать пять лет ведь. Тридцать пять вместе... и за несколько дней ее не стало. Нет, война — это ужасное... ужасное... ужасное,— повторял он слова покойницы.

За несколько дней перед тем, как Николай Кораблев получил телеграмму от Татьяны, в Ливию ворвались два немецких танка, везя на своих бронированных боках вооруженных с ног до головы немцев. Ливия помрачнела. Притихли деревянные хаты, притих и белый каменный с колоннами дом, где жил Егор Панкратьевич, Татьяна, Мария Петровна и маленький Виктор. Они заперлись изнутри. Савелий закрыл ставни и всю ночь бродил под окнами. На заре раздался грубый стук. Стук повторился настойчивее и грубее. Затем послышался голос и кто-то на немецком языке потребовал открыть дверь. Открыть дверь? Если бы это были воры, тогда можно бы кричать, позвать на помощь. А эти хуже воров. И дверь надо, надо открывать.

Татьяна подбежала к двери, открыла ее и увидела перед собой немцев. Их вел подчеркнута поднятый офицер, с лилово-желтоватыми следами от фурункулов на лице. Отстранив Татьяну, он крикнул:

— Где тут этот большевик? — и протопал в комнату Егора Панкратьевича. Глянув на больного, он приказал солдатам немедленно «вытащить его из постели».

Татьяна, прекрасно зная немецкий язык, сказала:

— Ведь у него температура.

Офицер повернулся к ней, прицелив дуло, и спросил на ломаном русском языке, кто она такая.

Татьяне подсказал инстинкт матери:

— Я преподавательница немецкого языка.

— О-о-о! Вы наш полпред. Это очень хорошо,— Ганс Кох косо улыбнулся, кивая на Егора Панкратьевича. — А он? На виселпце и с температурой можно висеть! Не выскочит. А выскочит, снова повесим,— и засмеялся, мелко подкашливая, затем, оборвав, шагнул к Татьяне. — А у вас документы есть?

Татьяна, оробев, смешалась и сказала то, что только придумала:

— Но ведь я пришла из тыла... А вдруг по дороге обыск? Преподавательница немецкого языка и к фронту идет. Шутка сказать! — пробормотала она, видя, как недоверчиво смотрит на нее Ганс Кох. — Шутка сказать! — пробормотала она еще раз.

— А-а-а! Тогда вы наша пленница,— подумают, но не доверяя ей, сказал Ганс Кох, повизгивая глядя на то, как мимо него тащат Егора Панкратьевича.

Егор Панкратьевич непонимающими глазами посмотрел на всех и почему-то поправил простыню, прикрывая босые ноги. Таким его и вынесли из квартиры. Мария Петровна и Татьяна вышли следом за немцами на крыльцо, все еще не веря словам Ганса Коха. Но тут



В крыльца они увидели, как неподалеку, на базарной пустой площади, кто-то воздвигал виселицу из свежих, золотистых сосновых бревен... и к этой виселице солдаты тащили Егора Панкратьевича.

Ганс Кох остановился и, испытующе глядя Татьяне в глаза, заговорил, показывая на виселицу:

— Вы не хотели бы быть там? Там покачиваться? Не хотели бы? Веревка у нас есть, — и на ломаном русском, смеясь: — Милы нет? Ну и без мыла, — добавил он уже на немецком языке, взглядом палача окинув ее. — Если вы ждете, вы будете там же, — и пошел за солдатами, насвистывая какой-то марш, похожий на фокстрот.

Как только он скрылся, Татьяна припала к плечу матери и еле слышно проговорила:

— Мама! Мамочка моя! Что нам с тобой предстоит испытать?.. и смолкла, видя, как из-за угла вышел, лениво почесываясь, Савелий.

— Что ж, потащили сердечного-то человека? — произнес он, подчеркивая: «сердечного-то». — На палочку потащили?.. А мы шкурку свои спасать будем. Конечно, — загадочно проговорил он, сонно поглядывая на Татьяну. — Конечно, мы по-ихнему болтать не умеем. Однако на нас шкурка тоже не купленная.

У Татьяны кровь ударила в лицо.

«Он понял, так, будто я изменила», — мелькнуло у нее в голове, и она, желая разубедить его, позвала:

— Савелий! Савелий Петрович! Подите-ка сюда... ко мне... к нам вот с матерью.

— Нет уж, яонче нет Петровича. Я Савелька, вот кто, — и Савелий, круто повернувшись, все так же почесываясь, скрылся за углом дома.

## 8

Два танка, ворвавшись в Ливню, привезли с собой Ганса Коха, восемнадцать солдат и одного русского с довольно страшным лицом. Губы у него толстые, выпяченные, будто он ими все время что-то сосал, нос на конце широкий, с резкими отворотами ноздрей, глаза суетливые, палосные, как у тарьсы. Немцы не называли его по фамилии, Завитухин, а кричали: «Петр!» — и звучало это так же, как злitchка бездомной собаки.

Ганс Кох в первое же утро повесил на базарной площади Егора Панкратьевича Елова, председателя сельсовета и еще человека со стороны, которого не знали ни жители села, ни немцы. Когда к виселице поднесли Егора Панкратьевича, то откуда-то выскочил Савелий. Борода у него была сбита набок, глаза горели,

губы тряслись. Кинувшись к немцам, он истошно зავыл:

— Во-ота-а старатели! Во-ота-а хозяевы земли! — и затянул тоненьким, скрипучим голоском. — Христос воскрес! Христос воскрес!..

Ни немельные солдаты, ни Ганс Кох не понимали его. Тогда Петр Завитухин, вытянув толстые губы, пояснил:

— Наш. Досконально. На цепь привяжи, все одно плясать будет.

— О-о-о! Христос! О-о-о! — воскликнул Ганс Кох и, показывая на повешенных, сказал так громко, как будто плюцать была заповедью народом. — Со всяким так будет! Ого!

Повешенные дня четыре покачивались на свежей березовой перекладине. По улице потянулся тошнотворный смрад. Тогда немцы стащили казенных за село, сбросили в канаву, еле присыпав землей. Через несколько часов собака, косматая овчарка, всюду следовавшая за немцами, пронесла, держа в зубах, седую голову Егора Панкратьевича. Собака пробежала улицей, пересекла плотину, поднялась в гору и скрылась во дворе совхоза, где в белом каменном с колоннами доме жил Ганс Кох.

Вскоре на селе был поставлен староста. Выбор пал на Митьку Мамина — отпрыска закокоренелых, старинных прасолов. В Ливне знали, что когда-то отец, на потеху постям, шестилетнего Митьку поил водкой. Пьяный Митька шел по улице, покачиваясь, падал, матерясь, как взрослый, а за ним двигалась толпа гуляк во главе с самим прасолом Маминым и хохотала. Потом Митька так втянулся в выпивку, что однажды, пьяный, пошел к мосту и, решив похвастаться, взялся руками за железную перекладину, вскинул ноги, видимо, намереваясь показать «свечу», сорвался и головой ударился о дно реки. Его вытащили. Ребра у него смялись, как меха гармоники, шея скривилась. Все решили — Митька «подохнет», а он выжил. Промогав все, что осталось от отца, он переправился на конец улицы, в маленькую, сгорбленную избушку, взяв себе в жены случайно подвернувшуюся нищенку — бабу толстую и такую же придурковатую, как и он сам. Сначала для потехи он бил ее тройным ремешным кнутом. Жена орала так, что поднимала на ноги всю улицу. Митьке сказали:

— Эй! Забыл при какой власти живешь. Дура она — дура, как и ты, да все одно тебя за это не похвалят: соплют.

— Ну? Их ты, гетеря-метеря, — и он переметнулся на другое: поставив перед собой подбутылки водки, привязав митьку к ножке стола, другим концом он обхватывал жаршую ногу жены и пропил:

— Сиди. Оборвешь нитку — башку отрублю, — и пил, дразня. — Вот как я тебя мучить буду, по-барски.

После этого его и прозвали Брученным барышом.

Такого Ганс Кох и поставил старостой на селе.

— Мне, тетеря-метеря, — ответил Митька, — все едино. Было бы что туды, — и показывал пальцем себе в рот. — А какая власть — мне все едино, тетеря-метеря.

Танки вскоре ушли в неизвестном направлении, с ними вместе отпривезли и Петр Завитухин. Немецкие же солдаты разместились по-прежнему в хатах, выбрав себе самые лучшие. Сам Ганс Кох поселился в квартире Егора Павлатьевича, в его же комнате, на его же широкой деревянной кровати, сказав Татьяне:

— Мы так... семьей. Вы, конечно, ничего против не имеете?

Что на это могла ответить Татьяна? Она опустила глаза, затем, перебором отворачивание, подняла их, чистые, детские, и, улыбаясь, сказала:

— О, да.

— А кто отец вашего сына? — спросил однажды Ганс Кох.

Татьяне хотелось гордо ответить, что отец Николай Кораблев, но тут ей, очевидно, снова подсказала инстинкт матери, она опустила глаза и через секунду подняла их:

— У него нет отца.

— О! Хорошо! Значит, вы не имели взаимной любви? Я тоже не имел взаимной любви. Но я надеюсь. Вы надеетесь?

— А как же? — все так же открыто глядя в лицо, услышавшее следами фурункулов, ответила она, вполне понимая, на что он намекает. И пусть. Пусть намекает, лишь бы не касался Виктора.

А Ганс Кох, вставая с кровати, сказал:

— Покажите мне его.

Татьяна почувствовала, как в ней все застыло. Пересилив себя, она еле слышно прошептала:

— Он же... он же больной. У него скарлатина. Вы можете заразиться.

— О-о-о! — Ганс Кох отшатнулся, затем с упором посмотрел на нее. — А вы подходите к нему?

— Нет. Там моя мама.

— Это хорошо. — Ганс Кох, довольный и успокоенный, засмеялся.

«Подлец, тупой и трусливый по-немецки», — подумала Татьяна и с этой минуты уже не поднимала на него глаз, улыбаясь ему только губами.

На селе же все шло по-своему.

Сначала отобрали коров, потом овец, потом

стали отбирать коз, ловить гусей на шруд. кур под сараями, — все это погружалось в машины, отправлялось в Германию или полагалось солдатами.

Ермолай Агапов, старик мощного роста, умница, сцелив зубы, шепнул односельчанам:

— Плевать! Еще выживем своим трудом великим. Только бы нас самих не казнили. А придет час — первому башку открутим Гансику и его же собаке бросим: собаки быстро привьются.

## 9

Ганс Кох делал свои дела.

В одно утро было объявлено, чтобы все трудоспособные мужчины, какие остались на селе, явились на базарную площадь. А когда те собрались, их окружили вооруженные немцы и погнали из села, следом за Митькой Маминьым. На селе поднялся плач. С каланчи послышалась пулеметная очередь... и все смолкло. А через несколько дней явился пьяный Митька Мамин и с крыльца школьного здания возвестил:

— Семь марок. Марочек. Бумажненьких. По семь марок каждого продали, как кутят. Согнали всех в бараки, господа фабриканты наехали и брали по семь марок за персону. Взяли и к себе на работу погнали. Вот как будет. Пошались! — закончил он с визгом.

— Вон чего! Человек так дешево стоит — семь марок, — с горечью заключил старик, Ермолай Агапов, у которого шемцы уцелели племянника. — Ну что ж, больше вышек потребуем для расплаты, — и с этого часа стал тайно связываться с партизанами.

А Ганс Кох вечером вызвал к себе Татьяну. Сидя на кровати, поливая мелкими глотками ром, он пригласил Татьяну «отведать». Та стояла в дверях, глядя в сторону и отрицательно качая головой.

— Мы теперь одни, — бормотал Ганс Кох, — что такое на селе женщина или старик? Это не страшно. Ого! — язык у него заплетался. Встав с кровати, подтянувшись, он прошелся, затем остановился, хвастаясь: — Что есть военный? Я окончил гуманитарный университет, но больше...

Из соседней комнаты раздался плач. Плякал Виктор. Вышла вся блондевшая, исхудавшая Мария Петровна, которая все больше молчала, будто потеряв дар речи. Татьяна шагнула ей навстречу, остановилась в дверях и, повернувшись к Гансу Коху, сказала:

— Разрешите, я утешу сына... хотя бы ядала?

— Утешу?.. А меня утешить не хотите?

Татьяна вцепилась пальцами в косяк двери, затем оторвала руку, чувствуя, как злая боль от пальцев пошла по всему телу.

«Ударить! Вот так, со всего размаху! А Виктор? А мама?»—мелькнуло у нее, и она хотела было улыбнуться губами, но губы не послушались ее, а глаза сами вскинулись на Ганса Коха, и она едва внятно проговорила:

— Потом, после...

Он был пьян. Она подалась назад, незаметно прикрыв за собой дверь.

## 10

Мария Петровна перевертывала Виктора. Татьяна опустилась на колени перед кроватью и, вся содрогаясь, произнесла:

— Мама! Мама! Какая мерзость! Какая паутина!

— Бежать надо, дочка. Бежать! И село на тебя в обиде: все думают, качнулась ты к эми... — как всегда грубовато, проговорила Мария Петровна и погладила дочь по голове.

Татьяна, которую и в детстве очень редко ласкала мать, не отнимая головы от ее руки, сказала:

— Ой, нет! Нет, мама. Есть один человек, который все знает.

— Савелий, что ль?

— Нет. Я потом тебе скажу.

Несколько дней тому назад за плотитой Татьяна увидела жену повешенного Гансом Кохом председателя сельсовета. Та, обессиленная, никак не могла взобраться в горку. Татьяна подошла к ней, обняла ее за плечи, поцеловала в губы и помогла ей. Затем некоторое время смотрела ей вслед и пошла через плотину. Тут она и стояла с Ермолаем Агаповым, который видел, как она помогала женщине. Он стоял на плотине, расставя ноги, крепко упираясь ими, и как бы преграждал путь Татьяне. Как только Татьяна поравнялась с ним, он в упор посмотрел ей в глаза, и глаза их заговорили.

— Верьте мне, бабушка,— сказала она глазами.

Глаза Ермолая Агапова отвернулись и тут же снова глянули в глубину ее глаз, и он тихо произнес:

— Много я прожил годков, дочка... и обманывали меня многие, но не с такими глазами, как твои,— и сурово добавил: — До падения только не доводи себя: хитрость надо вести до грани, а через грань хитрость тебя перетянула — пропадать тебе,— и тут же совсем тихо: — В одном доме с ним живешь? Ну... и шершн святое дело.

— А что? Что я могу? — она беспомощно протянула к нему руки.

— Убей.

— Я?

— Да. Только, чур, когда знак дам,— и подняв согнутый, зачерствелый палец, угрожал. — Мыслью эту так глубоко закопан, что если на костре будут жечь — чтобы не откопали,— и пошел в гору, все так же растопыренной ставя ноги.

Татьяна долго смотрела ему в спину, с завистью думая: «Какой он сильный! Как он идет! Земля принадлежит ему. Убей! Это я-то? Да как же я смогу? Вот этими руками?»

А Ермолай Агапов, точно подслушав ее мысли, круто повернулся и вплотную подошел к ней:

— Я за всю свою жизнь человека пальцем не тронул. Человека! — раздельно произнес он. — А тут — убью. И ты убей.

— Да ведь сын у меня — почти со стоном произнесла она.

— Сын? А у нас кто? Галчата, что ль? Птенца воробьиного из гнезда выбросить жалко... а сына... дочку... вопи вичука у меня, Нюрка. Жалко, действительно. Да ведь потому и убивают бешеных собак, чтобы детей они не перепятнали.

Вспомнив этот разговор, Татьяна сказала матери:

— Нет, нет, мама. Знают меня на селе.

— И все равно надо бежать,— уже совсем грубо отрезала мать.

— Куда? Ведь он еще большой, Виктор,— и Татьяна подняла глаза на мать, и глаза ее сияли. — Помнишь, как я перепутала... Чиркуль на Чортокуль? Ах, мама, в Чортокуль бы этот! И как он. Коля, теперь страдает по нас. Ведь он мучается?

— А как же?

— Неужели я его никогда, никогда больше не увижу? Ни-ко-гда-а, мама?

— Ну, вот еще выдумала,— но глаза у матери наполнились тоской, и она сама почему-то прошептала: — Чортокуль... Чортокуль.

— Да. В Чортокуль бы,— мечтательно проговорила Татьяна, и вдруг глаза у нее вскинулись такой ненавистью, что мать перепуталась, а дочь, кутаясь в шаль, сказала: — Я скоро приду, мама. Если этот пес спросит, скажи — сейчас придет. Да не груби ему. Перетерпи уж.

Она перебежала через плотину и свернула на опушку леса. Там в густых соснах на нее сидел Ермолай Агапов. Он поднялся ей навстречу, добрыми, большими глазами посмотрел на нее, вынул:

— Ну, что, дочка?

Татьяна, сев рядом с ним на печь, чувствуя себя действительно дочкой, рассказала ему все, что ей говорил Ганс Кох, как он вел себя. Выслушав, Ермолай Агапов уронил:

— Чувшь? Этот еще только щенок, а кающую пакость имеет. А то — псы настоящие! Обдерут нас — это мало, да ведь еще в душу залезут и там напосапят. Хорошо ты это — так-то с ним. Пришлучи. Ну, а что слушала? Ты каждый день слушаешь.

Татьяна ежедневно, как только уходил из дома Ганс Кох, слушала радиопередачи. Она слушала и немецкую хвастливую, но чаще левела передачу из Москвы. И все, что она слышала, было страшно. Сегодня она узнала о том, что фронт продвигается у Вязьмы... И немцы двинулись на Москву. А немцы кичливо кричали, что они вот-вот займут столицу, войдут в Кремль и на Красной площади будут праздновать победу... что москвичи из столицы бегут.

Передав все это, она пугливо посмотрела на Ермолая, уверившись, что на него ее рассказ произведет страшное впечатление. Ермолай Агапов поднял голову:

— Значит, убралась Москва-то? Это хорошо: детям и женщинам не надо было быть под огнем. Не надо было. А то, что немцы болтают, — брехня! Он им, Сталин, покажет Москву — пятки засверкают!

Все это Ермолай Агапов произнес так, что у Татьяны разом пропал ужас, и она, еще более внимательно посмотрев на старика, произнесла:

— Какая вера у вас большая! Очень большая.

— А как же? Я ведь много лет прожил на земле, и всякое у меня было: жене не верил, детям не верил, друзьям не верил, а в народ всегда верил.

— А вот теперь? Вель отп болтает немцев.

— Это не боянь, дочка, — Ермолай Агапов смолк, еле слышно похрустывая ногой мерзлый снег.

В этот миг из кустарника выскочил заяц. Как ошалелый, он прыгал сначала в одну, потом в другую сторону и со всего скока сел почти рядом с Ермолаем. Сел и выпученными, как горошины, глазами глянул в кустарник. Из кустарника показалась тонкая, длинная лисья голова. Заяц шаркнулся.

— Ух ты! — прыкнул ему вдогонку Ермолай и чуть погодя: — Видала? Заяц и тот как жить хочет: от земли-то к нам сиганул... А честный человек, который своим трудом хлеб добывает, ой, как жить хочет. Жулик, прохвост, тому жизнь — ломаный грош. А мы с достоинством жили: мужик впервые стал гражданином чистейшего государства. Цоят-

но тебе это? Ну, вот и копай тут. Полубил мужик жизнь, а ему смерть несут. Неждано-негадано.

— А не будет так, как с Савельем Раковым?

Ермолай Агапов чуть подумал:

— Осудить человека — дело легкое. Понять — дело трудное... Давно я его знаю: одноклассники мы и друзья были большие. А вот теперь? Ты приглядывайся к нему. Вац-вац человека по голове — легко. А может, у него линия. У меня своя линия, у него своя, у тебя своя, — это капельки. А дождь тоже ведь капельками падает, а капли жизни бывают, — бед помолчал и вдруг настойчиво потребовал: — Ты вот что, у нас того выпроси мне разрешение — на богомолье я хочу ехать, — глаза у него загорелись искорками ребяческого озорства, и он тише добавил. — На богомолье... в Брянские леса к партизанам... что ему, леу, не полагается спать.

— Ох, как мне это трудно — улыбаться, прелесть.

— Трудно? Еще бы! Но ведь хуже — прямо-то в лоб бить, когда еще рука коротка: по воздуху кулаком шаракнешь — и все. Потому хитрить надо до тех пор, пока рука до лба не дотянется. Дотянется — тут и шаракни...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Горы пюнда фушатся сразу — в один час, в один миг...

В тот день к вечеру, когда вся семья Замытальных вернулась домой, Елена Пльмяшнина, — она всю дорогу молча плакала, — сняла со стены численник и сорвала двадцать первое июня.

— А двадцать второе же трогайте — это память о Самечке.

— И чего ты выдумала? Ну-ка я его съжгу, численник твой, — прорвался Иван Кузьмич, всю дорогу ласково утешавший жену.

Но Елена Пльмяшнина посмотрела на него так, как будто он делал что-то самое пакостное, и, собрав вещи Саня, словно провожая его куда-то, сложила их в уголке, рядом со своей кроватью.

Если вмешалась, ринув поддержать Ивана Кузьмича.

— Какие глумства, мамаша, все равно так моль съест.

Иван Кузьмич круто повернулся к Василию и, глядя на спиху, крикнул:

— Уйми!

На следующий день поздно вечером, когда дети уже спали, призвали в армию и Василия. Мать снова заплакала. Она посадила сына ря-

дом с собой, склонилась на колени и, разбирая на его голове волосы, тихо проговорила:

— Васьенька! И взрослый ты — знаю: свои дети у тебя. Да ведь для моего сердца ты все равно маленький. Побереги себя, родной мой. Не трусьности от тебя требую. Нет. Храбро побереги.

Иван Кузьмич хотел было молча расцеловаться с Васьенькой, но, поцеловав, сказал:

— Ступай! И везде помни, какая власть инженера тебе дала. О ребятышках не думай — поберегу.

Сын посмотрел глубоко в глаза отца, думая о чем-то очень далеком.

— Детей бережешь — уверен. Но и то побереги, что ждут термиты.

— Зря печалишься, — и отец легонько подтолкнул сына, как бы говоря: иди, длинные провода — больше слез.

Деся завывала, повисла на шее мужа.

— Приезжай скорее: скучать буду.

А час спустя, когда в квартире все еще молчали, не зная, к чему и как приступить, раздались телефонный звонок и одновременно вошел Степан Яковлевич. По телефону звонил Едренкин, контролер из наркомата. Два раза встретившись с Иваном Кузьмичом в наркомате, он настойчиво лез к нему в дружбу, чего вовсе не хотел Иван Кузьмич. И вот теперь звонок!

— Разумный вы человек, — говорил он по телефону, — и я, как другу, хочу вам дать совет — запасайтесь, запасайтесь и еще раз запасайтесь!

— Чего? Не пойму что-то?

— Запасайтесь. Стыдно вам не запасаться, пока магазины полны товаров: у вас семья.

У Ивана Кузьмича трубка задрожала в руке, даже закачалась голова, и он зашпшел, что бывало с ним очень редко:

— Ну, вы... это... того... не сколачивайте меня на дрянн великую. Что? Есть ли деньги? Есть. Но я и копейки не дам, — и, весь клокоча, сел за стол.

— Остынь, — посоветовал Степан Яковлевич.

— Да как же? Такое над страной нависло, а он — скупай! Сожрут! Такие все государство сожрут.

— Не кипятись. И на хорошем теле заразит. случается. — Степан Яковлевич чуть пожевал, потрогал двумя пальцами кадык, вставившая его. — Вот оно как разразилось. Ну, ты как, политик?

— Как? Давай чай пить, — Иван Кузьмич хотел было позвать Елену Ильиничну, но, посмотрев на дверь своей комнаты, покачал головой и сам выключил электрический чайник, достал посуду, сахар.

— Матерям тяжело, — все поняв, проговорил Степан Яковлевич.

— А едтам?

— Отдам тоже, конечно, — и чуть погодя, глядя на дверь кабинета: — Мечты ведь рушатся. Запечатать придется, дело такое большое. И у многих ведь так. Я вот, к примеру, хотел сад рассадить — мечта, хотя маленькая, однако дорогая мне. И у каждого ведь чего-нибудь да было — у одних большое, у других малое, но все одно дорогое.

Чайник вскипел. Иван Кузьмич проговорил:

— Крепкий любишь? Ней! — и подвинул стакан с чаем.

— Говорят, — Степан Яковлевич потрепал ложечкой в стакане, — веровски паналя: свои самолеты в нашу краску переокрасили. Летят, будто наши, а оц — враг. Своих молодчиков в нашу миллипейскую форму одели и с вам в тыл. Да-а. Теперь нам крепче придется рукава заучить.

— Не привыкать: мы не Едренкины, — и Иван Кузьмич прислушался к тому, как в комнате вдруг застонала Елена Ильинична.

А Едренкины бегали по магазинам, скупали товары и, увешанные кулечками, обливаясь потом, шептали: — О господи! Что-то будет? Что-то будет? — Эти же люди первые начали покидать Москву, бросая на вокзальных площадях машины разных зарубежных марок.

Основная же Москва жила своей жизнью — верой в русскую землю, верой в победу, не смотря на то, что враг уже проник под Ленинград. Киев захватил Смоленск, очутился на подступах к Брянску, а где-то на юге перешел Днепр. Москва жила без паники даже в те дни, когда началась бомбежка столицы — систематическая, из дня в день и в один и тот же час. Немцы, помимо крупнейших фугасных бомб, сбрасывали каждую ночь на Москву десятки тысяч «зажигалок», и если бы москвичи впали в панику, столица сгорела бы до тла... Но москвичи, и главным образом подростки, при первом сообщении: «Граждане! Воздушная тревога» выскочили на крыши зданий и гасили «зажигалки».

## 2

Так жила Москва вплоть до шестнадцатого октября. Никакуне было сообщено, что немцы прорвали фронт под Вязьмой, Ярцевым, что ими занят Орел. Сообщение это прине Степан Яковлевич. Он вернулся с завода позже Ивана Кузьмича и нашел его дежурящим на крыше. Ночь была темная, ветреная. Иван Кузьмич сидел за трубой, ожидая сигнала тревоги. Покрывывая молодым, только что выпавшим первым снегом, к нему подошел Степан Яковлевич и, притесав, сказал:

— Ну, как, Иван Кузьмич?

— Жду. Может, будет. А может, не будет. Ребятишки скучают.

— Чего это?

— Да ведь они какие? Игру из беды устроили, спорт. Как только посыплются «зажигалки», так они стомя голову да в драку за ними. А днем подсчитывают, кто сколько набрал, и хвастаются.

— Да-а, — протянул Степан Яковлевич, прячась от ветра за трубу. — Слышал, весть какая? У Вязьмы прорвали, Орел заняли. Небольшой прыжок до Москвы.

Иван Кузьмич весь день был так занят домашними делами, что не смог прослушать «Последних известий».

— Ну-у-у? — только и проговорил он.

Зависел ветер, поднимая в темной ночи снежную пылью. Москва, белая в крышах, топила в какой-то гигантской черной яме: ни огонька, ни резких автомобильных фар, ни ширококопанных автобусов, которые всегда таращатся во все стороны своими яркими глазами. Только где-то далеко иногда разрывались вспышки на трамвайной линии... и по этим вспышкам можно было судить, что Москва живет.

— Живет она, Москва-то. Все равно не дадим, — решительно кинул во тьму Иван Кузьмич.

— Не дадим? А иные говорят, что, может быть, ее придется оставить, как при Кутузове.

Иван Кузьмич степенно, но резко сказал:

— Дурь. Как при Кутузове! Кто это тебе такое в голову вбил? Немцы хотят Москву забрать, а ты — сдать.

— Да что ты на меня-то кинулся? Я готов хоть сейчас за винтовку взяться и палить. Только, думаю, хватят ли на нас на всех винтовок-то?

— Кирпичами драться будем. Стены домов разберем — и кирпичами, а Москву не дадим. Легкий ветерок дупул по крыше, серебрил ее.

Степан Яковлевич уже по-дружески сказал:

— Ты бы привязал себя веревкой к трубе, не то волной может смахнуть.

— А как же тогда с «зажигалками»? Привяжу себя веревкой к трубе, как чурбак, а «зажигалки» горят?

— Ты ее подлиннее, веревку-то, и бейгай. А то, слышали мне, недавно разорвалась бомба и четырех воздушной волной с крыши смахнула. К чему это зря-то погибать? Ты приглядывайся, и позору в этом нет. Позор — зря погибать, — и, чуть подождав, Степан Яковлевич спросил: — Как твои-то, собираются?

— В Барнауле. Пришоддали малость. Вот теперь и кати такую даль. А ехать, пожалуй, надо: ребятишки у нас.

— Да и с харчей Москвы долой, — добавил Степан Яковлевич. — Настю, может, прихватите?

— Что ж, не помешает: женщина она хорошая, — Иван Кузьмич хотел еще что-то сказать, но в эту минуту где-то на стороне, и казалось очень далеко, в темном лакированном небе начали рваться вспышки зениток. — Ползут мерзавцы! Ребята! Эй! Готовься! — кричал он.

### 3

В эту ночь не было тревоги. Где-то на окраине Москвы появилось несколько вражеских самолетов, и те, покружившись, скрылись.

— Видно, готовятся к крупной пакости, — часа в четыре утра проговорил Иван Кузьмич. — Пойдем-ка, Степан Яковлевич, спать. Теперь он не полетит: жулик боится света.

Они разошлись по квартирам. Но спали недолго. Несмотря на то, что на завод им надо было в двенадцать дня, в семь утра они уже вышли из подъезда дома, гонимые какой-то смутной и страшной тревогой.

Около завода, на огромной площади, колыхалась толпа. В воротах стояли рабочие, и один из них, взобравшись на забор, размахивая винтовкой, увещевал:

— Товарищи! Ну, мы-то бы вас с нашим почтением, но дисциплина: не велено и баста!

Иван Кузьмич и Степан Яковлевич пробрались через толпу и тут узнали того, кто, сидя на заборе, кричал: «Товарищи... дисциплина же!» Это был Петр Завитухин из цеха коробки окоростей, только что вернувшийся из своей орловской деревни. Вытянув толстые губы, он снова было затянул плачущим голосом:

— Не велено, ну, а вы ломитесь!

— Постой-ка ты, Завитухин, — обрушился на него всем своим могучим басом Степан Яковлевич. — Как это не велено? Да что — разбойники, что ль, пришли? Пришел сознательный рабочий класс, а его к своему кровному делу не подпускают. Открывай!

— Да ведь ключей-то у нас нет, — с видом ответил Петр Завитухин и засмеялся. — Мы тут такие же власти, Степан Яковлевич, как воробьи на морозе.

— Тогда мы с Иваном Кузьмичом через забор перекинемся. И все на это согласны. Согласны, товарищи? — повернувшись к рабочим, спросил Степан Яковлевич.

Рабочие ответили гулом пяти тысяч голосов.

### 4

Иван Кузьмич и Степан Яковлевич шагали по пустому, усаженному молодыми липками, заводскому двору. Было странно смотреть и на

этот всегда шумный, теперь пустой двор, и на то, как с молодых лип, еще не сбросивших листву, лениво, хлопьями падал теплый первый снег, и на то, как кое-где на крышах пехов расхаживали, задирая головы в небо, вооруженные рабочие. Молча, ничего не понимая, они подошли к зданию заводууправления, по мраморным ступеням поднялись на второй этаж, заглянули в приемную директора, обширную, устланную коврами комнату, и, не видя обычной дежурной секретарши, открыли дверь в кабинет.

За столом сидел Макар Рукавишников. Он поднял с рук голову. Руки лежали на столе, готовые снова принять голову. Красными, бессонными глазами посмотрев на вошедших, он прохрипел:

— Вас-то зачем притащили?

— Да как же, Макар Савельевич. — начал первый Иван Кузьмич, предвительно дернув за рукав Степана Яковлевича, шепнув: «Давай уж я, а то ты горяч и сломаешь все враз». — Как же, Макар Савельевич, рабочие-то у ворот волнуются.

— А я что? В карман их посажу — пять тысяч?

Иван Кузьмич растерялся, не зная, что на такое ответить.

— Оно, конечно, в карман где посадить? Пять тысяч, действительно, — заговорил было он, подбегивая резонные слова, но Степан Яковлевич так громко кашлянул, что задрезало надтреснутое стекло... и прорвался:

— Да как же это в карман? Кто это от тебя требует, чтобы ты рабочий коллектив в карман? Ишь карманик какой нашелся! Ты директор. Тебя высокая власть к нам поставила. И давай ответ, что думал. Ну! А то ведь так тряхнем, последние волосенки с головы слетят.

Макар Рукавишников потрогал остатки волос на голове, искусно пригрызающие лысину и, криво улыбаясь, протянул руку Степану Яковлевичу.

— Вот это по-рабочему. Люблю! — и, подталкивая к креслу Степана Яковлевича, значил: — А ну-ка, садись на мое место и дай решительное слово.

— Да иди ты! Чего клоуна корчишь? Цирк, это ль, тебе?

— А-а! Цирк? Ну, вот тебе не цирк — такое мое мнение... уволить рабочих, выдать им за два-три месяца вперед.

Иван Кузьмич, снова рванув за рукав Степана Яковлевича, спросил:

— Ну, а потом что?

— Ясно — катитесь кто куда!

— Это как же, катись? А завод? — даже

Иван Кузьмич повысил голос, совсем не ожидая такого ответа от Макара Рукавишникова.

— А так же. Бойна, ну и самоопределяйтесь.

— Дурь! Дурь! Мировая дурь, — никак не в силах сдержать себя, несмотря на то, что Иван Кузьмич непрестанно уже рвал его за рукав, захохотал Степан Яковлевич. — Дурь! Мировая! А другие заводы? Ведь едут кто на Урал, кто куда. А мы без завода?

Макар Рукавишников тихой, вкрадчивой походкой пошел на него.

— Ну и язычок же у тебя. А ну, повтори. Повтори, говорю.

— И повторю — дурь мировая! — с этими словами Степан Яковлевич круто повернулся и пошел из кабинета, кидая с порога: — Я тебе покажу, как рабочего без завода оставлять! — и, разъяренный, прыгая через несколько ступенек, вылетев из здания, помчался к рабочим. Тут, взобравшись на забор, смахнув с головы кепи, подражая Ивану Кузьмичу, степенно заявил: — Дурь! Мировая! Рабочий хочет без завода оставить. И я это отменяю. — Спрыгнув с забора, он зашагал по направлению к своему наркомату...

— Ну вот, горяч! Да, горяч Степан Яковлевич, — проговорил Иван Кузьмич, чтобы забыть все это неприятное, и посмотрел на Макара Рукавишникова, который вдруг стал совсем простым, таким же, каким он и был несколько месяцев тому назад, работая в термическом цеху в качестве заместителя начальника.

Работал тогда Макар Рукавишников хорошо. Его все, в том числе и Николай Корзлев, ценили, награждали, хвалили и перехваливали, как это часто бывает со способным ребенком: способного ребенка каждому хочется приласкать, взять на руки. Так и тут — Макара Рукавишникова ласкали, хвалили, перехваливали, не замечая последнего. А когда встал вопрос о том, кому должен сдать Николай Корзлев обязанности по заводу, большинство в наркомате выдвинуло Макара Рукавишникова — опытного мастера, заслуженного рабочего. Это возвысило Макара Рукавишникова, но от этого он и растерялся. И особенно растерялся в дни, когда над стовицей нависла страшная угроза. Что делать с рабочими? Распустить ли их, оставить ли при заводе и ехать с ними, куда? Вот и теперь, привычно разбирая и укладывая на лысине остатки волос, он, тоскующими глазами глядя на Ивана Кузьмича, проговорил:

— Ответ? Какой я могу дать ответ, сам посуди? И я знаю, как тяжело рабочему оставаться без завода: сам рабочий. Ну вот, сижу и жду, что скажут. Садись. Посидим вместе.

Подождем, — и еще теплей, сочувственно: — Так-то вот, Иван Кузьмич... и опыты наши коже под хвост: Василий-то Ивановича, слышал я, в армию призвали. А ведь большое это они дело начинали для нас, термистов.

Макар Рукавишников, утомленный тревожными днями, никак не мог прямо держать голову: она то и дело валилась на приготовленные руки. Раздался резкий звонок. Макар Рукавишников дрогнул, схватил трубку, и лицо у него все расплелось. Выслушав, положив трубку, он потряс за плечи Ивана Кузьмича и, к его удивлению, сказал:

— По-моему вышло — рабочие поедут вместе с заводом. На Урал нас всех отправляют. Шарком звонил.

## 5

Иван Кузьмич шагал по пустому, необычайно гулкому заводскому двору.

— Ну, вот и свершилось, — шептал он. Ему было радостно, что завод эвакуируется вместе с рабочими, но в то же время и очень тяжело: завод снимается со своего насиженного места. — Что ж!.. Перетерпим... перетерпим, — шептал он.

Около дома его встретил летчик. Одежда на нем была местами порвана, местами прогорела, как будто он только что вернулся с пожара, лицо в кровоподтеках, брови подпалены. Казалось, ему лет тридцать пять, но вот он улыбнулся и стал совсем юным.

— Не узнаете меня, Иван Кузьмич? — заговорил он часто-часто и чуть картавя. — А я у вас был. Помните, с Саней? — и, сказав это, он присел на скамеечке, выставляя перед Иваном Кузьмичом свое лицо, чтобы тот хорошенько распознал его.

— Ты что? Ты что, голубчик? — уже узнав его, вспомнив, как тогда, во время отпуска, они, одноклассники, вместе с Саней заходили к Замятинным — веселые, молодые, жизнерадостные, и теперь, узнав его, Иван Кузьмич, сам почему-то чуть-чуть картавя, заговорил. — Ты что? Ты что, голубчик?

Летчик, глядя куда-то стеклянными глазами, напрягся, как это делают ослухившие люди.

— На бронеюм сбрасываем на немцев груз и... горим. На дачном приехал... И опять сегодня полечу. Каждый день с людьми. А сегодня, наверное, моя очередь: нельзя ведь четвертый раз вырываться из огня! Но надо, надо, надо... Саня, он хорошо — он сразу...

У Ивана Кузьмича одеревятели ноги. Это одеревянение пошло с пяток, потом перешло на поясницу, на грудную клетку, и вот она уже задымляется, словно на него хлынула волна ядовитого газа.

— Ну, я пойду, — летчик оделся было дзи-

жение, чтобы встать, но снова присел и, глядя на полубожженные пальцы, стесняясь: — А у меня тоже есть мать. Как же. В Кимрах. Мы Кукушкины. Так вы ей, матери-то, как-нибудь тихонько.. Очень прошу вас. Со мной ведь брат был, Валя.. Так он тоже, ну, там же. Так вы ей как-нибудь, прошу вас, потихоньку. Что ж, мол, война. Потихоньку.. слабенькая она у нас. — Посмотрев на пальцы, он тряхнул рукой, как бы что-то сбрасывая. — А отец тоже под поезд попал, два года уж. Ну что ж, несчастный случай. Это другим легко сказать, несчастный случай, а ей вроде поезд по сердцу проехал. Совсем затопилась она. И так-то маленькая, — летчик тихо засмеялся. — Бывало, отец, выпивши, возьмет ее на руки, шагает по улице и кричит: «Вот она, богатыйрша моя: двух сыновей мне принесла». Мы ведь близнецы с Валей. Да-а. А теперь и его нет. Вали... — летчик встал и пошел.

Иван Кузьмич удержал его и почти одними губами шпролил:

— Когда? Саня-то?

— А-а! Тогда же. В тот же день, перзый, утром. Солнышко уже высоко было... Пулей в голову.

Иван Кузьмич весь опустился, будто его чем-то тяжелым ударили сверху. «Мать. Сердце матери почувало», — вспомнил он, как нэ станции в то утро упала Елена Ильинишна.

— Ну, ты ступай, — сердито заговорил он. — Ступай! Не ходи уж к нам-то. Ступай. Дай-ка я тебя поцелую, — и, целуя летчика. Иван Кузьмич почувствовал, что целует своего сына Саню, такого молодого, жизнерадостного и еще наивного в своих жизненных порывах. А поднимаясь к себе на четвертый этаж, понял другое: как он разом постарел — ноги цепляются за ступеньки, спина согнулась, руки повисли и стали вялые, совсем не цепкие. Поднявшись на площадку четвертого этажа, он закачался, дрожа в коленях. — Ну, вот и к нам в семью война пришла, — прошептал он. — Война! И я нечу весть эту. И как она уедет с вестью такой? — Он вошел в квартиру и, видя связанные узлы, заколоченные ящики, ободранные шторы, занавески, ткнутая в угол дивана, как бы намереваясь спрятаться от чего-то страшного и неотвратимого.

Все готовились к выезду из Москвы в город Барнаул. Коля и Петя предстоящим путешествием были, видимо, довольны: они деятельно собирали свои игрушки, помогали матери и бабушке перевязывать узлы и все щебетали, щебетали, особенно Петя.

— Мама! — кричал он. — А там что — в Барнауле?



— О-хо-хо! — послышался вздох Елены Ильинишны из соседней комнаты. — Барнаул... Барнаул... говорят, там пески сплошные.

— Оставьте, мамаша, — оборвала ее Леля. — Там арбузы растут. — И как всегда, показало Ивану Кузьмичу, что свиха сказала что-то весьма неразумное, а та даже стала покрикивать: — Глухость говорите, мамаша. Арбузы очень полезны детям.

— Арбузы! Арбузы! Да хоть бы они сроду и не росли, — и Елена Ильинишна вошла в ту комнатку, где на запыленном диване сидел Иван Кузьмич. — А, батюшки! Ты тут, оказывается? Что ж, тихо так? Дверь-то у нас не заперта была? — Посмотрев на узелки, заколоченные ящички, она с тоской добавила: — Ну вот, Ваня, тридцать два года мы с тобой прожили, дня не разлучались... А теперь — свидимся ли?

Иван Кузьмич вскочил с дивана, маленький, невзрачный перед крупной Еленой Ильинишной, и, взъерошившись, как петушок, забегал по комнате, затем, сдержав себя, ласково сказал:

— Ну, вот еще выдумала: свидимся ли! Временно. Говорю, временно. Езжай-ка ты! — и снова опустился в угол дивана, горестно думая: «А я уж один всю тяжесть на сердце понесу. Ах, Саня, Саня!»

## 6

Казалось, пароход просто стоял на месте: он напряженно пыхтел, хлопал колесами, как подбитая птица крыльями, и весь наискось скрипел, будто его кто переламывал. Он гудел человеческим говором, плачем детей.

Потом, к вечеру, люди расселись, и гомон стих; только пароход все так же напряженно пыхтел, стучал колесами, переламывался и медленно плыл по реке. Он тихо прошлепал мимо Бремля, зубчатые стены которого были разукрашены пестрыми красками, медленно вышел из гранитных берегов реки и за Москвой, на равнинах, начал петлять среди лугов, усыпанных копнами сена.

Иван Кузьмич сидел на корме, хотя в кармане у него лежал билет первого класса. Ему и Степану Яковлевичу билеты на пароход в каюту первого класса дал все тот же Едренкин — контролер из наркомата, взяв у них взамен два билета третьего класса на поезд, который сегодня же вечером отправлялся на Урал. Белолицый, с черно-воронкой бородой, с большими красивыми, располагающими к доверию глазами, Едренкин, встретив их в наркомате, напал на них, как сокол на куропаток.

— Вам же там же, на пароходе же, будет куда лучше: вольготней — раз, чистый воздух — два, плывете вы по великой русской

реке — три, продукты на любой пристани — четыре, доплывете до Перми, садитесь на приготовленный поезд, и на месте — пять, — и он так нажал, что Иван Кузьмич и Степан Яковлевич, сами удивляясь этому, вышли из наркомата, уже держа в руках билеты на пароход.

Пробившись через толпу на верхнюю палубу, они заглянули в свою каюту и, увидав, что она доотказа забита женщинами, детьми, обзюпятились, как пятятся люди из комнаты, боясь там кого-то разбудить. Что было на душе в эту минуту у Степана Яковлевича, Иван Кузьмич не знал. Но у него самого в эту минуту появилось такое же чувство, какое бывает у доброго хозяина, когда к нему нагрянули гости: гостей этих на ночь надо приютить, а «самп-то уж как-нибудь». И они оба пошли по палубе, заглядывая в каюты. Каюты были все переполнены, как переполнена была и палуба. На самом углу, ближе к носу парохода, какой-то свирепый человек из кувалков, мешков и ящичков смастерил целый этаж. Женщина, веснушчатая, рыжая, похожая на кукушку, видимо, его жена, все время истерически выкрикивала:

— Это же мои вещи-и-я. Зачем ногами? Милиция! Я позову милицию.

А свирепый человек, со шрамом на подбородке и с толманными ушами, похожий на циркового борца, молча щипал за ноги людей. Его с озлоблением пинали в бок, в спину, мягкое место, но он, как бы не чувствуя ударов, продолжал щипать людей.

— Ох! Даже смею смотреть, — проговорил Иван Кузьмич, — Поидем-ка вдвз. Найдем какое-нибудь местечко.

Но Степан Яковлевич выхватил из кармана билет и показал его Ивану Кузьмичу:

— Билет-то у меня есть? Имею я право или не имею? Что это, в самом деле, нахальство какое... в мировом масштабе! — и, увидав свободное местечко на палубе, он кинул мешок и присел на него.

А Иван Кузьмич очутился на корме.

Тут было так же тесно, но еще и холодно: дул пронизывающий, предшественник зимы, ветер.

— Вот и дрожь! — и он загоревал так, как будто вся тяжесть и заключалась именно в этом. Тяжесть же заключалась совсем в другом, в гораздо большем, что он тнал от себя прочь, понимая, что если поддаться ей, она раздавит его. — О-хо-хо! Устнуть хоть бы, что ль? Ведь беду тоской не поправишь, — шептал он иногда, глядя на разбросанные стога сена, стараясь думать совсем о другом, — и о том, почему так скрипит, переламываясь, пароход, и почему холодной осенью такая густая, непривлекательная вода в реке, и

сколько дней они проедут на этом пароходе до Перми... Но о чем бы он ни думал, он все равно возвращался к самому больному — к своей семье.

Да, да! Семья — Елена Ильинишна, сноха Леля, внучата Коля и Петя — несколько дней тому назад выехала в Сибирь, в какой-то неведомый Барнаул. Старшего сына, инженера Василия, призвали в армию... А младший... Саня.

«Ах, Саня, Саня! Мальчишка ты мой! В голову... пулей...» — и Ивану Кузьмичу стало так тоскливо, что он уже не мог видеть один. — Ему надо было двинуться, холить, быть на людях. Он поднялся и, несмотря на то, что дул резкий, обжигающий ветер, прошелся, переступая через чьи-то мешки, ящики, ближе к лесенке, ведущей на верхнюю палубу, намереваясь подняться туда и разыскать Степана Яковлевича. Он взялся было за железные поручни, но пароход хрипло загудел, сгубнулся боком о что-то скрипящее, шершавое и причалил к пристани. Иван Кузьмич оторвал руки от поручней, предполагая, что сейчас поинтересуется кутерьма: пассажиры кинутся на берег за продуктами. Но на пароходе было тихо. Устав от дневных тревог и суеты, люди крепко спали, а через решетку перегнулся сам Степан Яковлевич.

— Иван Кузьмич! Стоишь?

— Стою. Сидю. А что?

— Да та-ак, — неопределенно протянул Степан Яковлевич, и чуть погодя: — Пристань-то знакома? По Рязанскому направлению шлепаем.

— Эх, и грибное место, скажу тебе, — охотно было заговорил Иван Кузьмич, но Степан Яковлевич громко откашлялся.

— Идти ты, что вот так поползем?

— Ну, где!

— Мирно жили, нечего говорить, — как бы кого-то упрекая, натягивая на плечи шаль, проговорил Степан Яковлевич и повернулся в сторону Москвы.

Над Москвой гудели густые сумерки, переходящие в ночь. Сумерки были грязные, тоскливые и молчаливые... И вдруг в густых сумерках, сгущая их, стали вспыхивать огоньки. Они рвались, гасли, затем снова вспыхивали. И вспышки эти были такие мирные, такие красивые, как фейерверк. Казалось, что Москва справляет какое-то торжество.

— Как в яемом кино, — проговорил Иван Кузьмич, тут же спохватившись, понимая, что сказал что-то глупое, как иногда говорит сноха Леля. — Опять налет, — добавил он. — Зенитки бьют.

И они снова смолкли, ярко представляя себе Москву и то, как жители этого крупнейшего города при сообщении: «Граждане. Воздушная тревога» хлынули в убежища, в метро-

политен, на крыши домов, чтобы гасить «зажигалки»... И вот уже разорвалась первая бомба, отваливая угол многоэтажного дома... Стон... плач... И им обоим, несмотря на весь ужас бомбежки, захотелось быть не тут, на пароходе, а там, в столице, вместе с москвичами.

— Эх! Никогда бы я не покинул ее, ежели бы не завод... — вырвалось у Ивана Кузьмича.

— Ежели бы пореже по грибы-то ходил.

Иван Кузьмич резко кинул:

— Ты меня не кори. А то и у меня слезы такие найдутся — с ног сшибу... У меня сын... — он оборвал, не желая сказать другу о своей самой тягостной беде.

Но Степан Яковлевич, видимо, почувствовал то, что хотел сказать Иван Кузьмич, и мягче добавил:

— Да я и не корию. Сам еще в марте корзины для грибов смастерил. Да только больто уж очень велика. И какому это подлену мысль в башку пришла нарушить наш мирный труд? Что за зверь он есть? И зверь-то ведь разный бывает. Возьми ты, к примеру, лось, или там заяц, или там птица какая — утка... Честно живут. А волк — тому воровать и пакостить. — Степан Яковлевич еще что-то прокричал, но пароход хрипло загудел, затрясся, захлопал колесами, и в грохоте невозможно было понять Степана Яковлевича.

## 7

Сумерки быстро перешли в ночь. Ветер, холодный, пропизывающий, засвистал по корме. Над Москвой, в темной ночи, ярче стали вспышки зениток. Иван Кузьмич прошептал:

— Прощай, Москва! Прощай! — и по щекам у него впервые за эти дни покатались слезы.

Он сел на свое старое место, кутаясь в пальто, подтягивая вверх плюшевый воротничок. Так он просидел несколько минут, казалось, ни о чем не думая, чувствуя только одно, как смертельная тоска душит его.

С верхней палубы, таща за собой мешок, по лесенке спустился Степан Яковлевич. Бросив мешок рядом с Иваном Кузьмичом, он присел, сказал:

— Точно там, одному-то.

— Как одному? Народу сколько?

Степан Яковлевич долго возлепал, усаживаясь, затем сказал, глядя во тьму: — Чиркуль — окончательное нам направление. На Урал. Слыхал я, там Николай Степанович Кораблев. Может, его нам вернут, а то с этим, с Рукавнишниковым, полетит все вверх тормашками.

— Зря ты на него. Хороший он парень. Только в кресло его уж очень большое посади-

ли — вот и неудобно ему... все равно что один во всем театре, — Иван Кузьмич усмехнулся своему сравнению. — Спектакль идет, а человек один во всем театре сидит, — ну, и страшно.

— Добрый ты: всех хочешь приласкать. Вот с тем же Едренкиным...

— Всучил он нам билетики-то, подходящая фамилия, — и Иван Кузьмич намеренно ковырнул: — Ты это согласился.

— А ты?

— Я хотел было отвергнуть, да, виднись ли, мне как-то стыдно становится, когда نگاه на меня назирает.

И они оба прислушались к тому, как скрипит пароход.

Степан Яковлевич, укрывая концом шали Ивана Кузьмича, прогудел:

— Давай плотнее, так теплей, да и на лучше полегче, — и подождав: — Думаю, в Рязани нам отсюда надо прочь и на поезд. Может, свой эшелон с оборудованием встретим. Не то гед пронизаем на корабле этом. — Затем, подумав свертки диаграмм, таблиц, лежащие рядом с Иваном Кузьмичом, спросил: — Везешь? Разум Василия Ивановича?

— Везу.

— А куда денешь?

— Беречь буду.

— И я с тобой: это надо беречь.

О семьях они не говорили: о семьях говорить было так же страшно, как страшно шагнуть за борт парохода во тьму.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Только на восемнадцатый день эшелон, перхваченный ими в Рязани, прибыл на маленькую станцию, вблизи строительной площадки, где уже стояли десятки таких же эшелонов.

Иван Кузьмич за эти дни, как и все, кто сопровождал стайки, прочерней, обжегся холодными ветрами, стал походить на переспелый подсолнух: ударь — и полетят во все стороны зерна. Лицо у него стало совсем маленькое, тревожные глаза выкатились, в походке маялось что-то мелительное, задумчивое: ступая по земле, он так будто ждал, вот-вот она ему что-то скажет. Друг его, Степан Яковлевич, еще больше высох; теперь кадык у него (он сбрил бородку) еще больше выпячивался, нос непомерно вырос, покраснел, а голос задрезжал старческой хрипотой.

— Фу ты, нес, новость какая пришла, — откашливаясь в ладошку, проговорил он, сойдя с платформы. И, глядя на горы заповедника «Петропавловский Урал», добавил. — Красота-то какая! Мировая, Иван Кузьмич!

Иван Кузьмич тоже посмотрел в сторону гор.

И горы, усыпанные зелеными до черноты елями, и небо — глубокое, голубое, и обрывы, как осыпавшиеся гигантской пасти, — все это было необычайно, и особенно необычайными казались молодые ели, растущие на окрайке. Они густо распустили ветви, касаясь ими земли, раскрылись, напоминая токующих глухарей.

«А грибов тут, наверное!» — подумал Иван Кузьмич.

— Красота! А? — еще раз произнес Степан Яковлевич.

У Ивана Кузьмича загорелись было глаза, но он тут же нахмурился и резко произнес:

— Не до нее. Давай злобу ковать. И айда, пошел, — и тронулся следом за группой рабочих.

### 2

Около вокзального здания рабочих встретили два директора: один — бывший, ныне начальник строительства, Николай Кораблев, другой новый — Макар Рукавишников. Они стояли рядом, оба крупные. Только один в синем плаще и курил трубку, другой — в кожаном потертом пегом пальто и грыз ногти, почему-то искоса поглядывая на всех, как делает ястреб, когда что-нибудь клюет и боится, что это у него могут отнять.

Что с ним происходило, с Макаром Рукавишниковым, вряд ли он осознавал. Однажды, в детстве, отец увез его на несколько дней из Москвы в деревню. Тогда Макару было всего восемь лет. Отправившись с ребятами за деревню, он там увидел, как его сверстники, встав на лыжи, стремительно скатывались с горы. Макар впервые узнал, что такое лыжи. А когда ему предложили прокатиться, он, набравшись детского нахальства, встал на лыжи и понесся под гору. И вдруг на повороте одна лыжа у него задралась, глаза запылили слезами, и в следующий миг он уже торчал головой вниз в сугробе, откуда его с криками извлекли ребята. Что-то такое же происходило с ним и теперь, несмотря на то, что ему было уже не восемь, а сорок шесть лет. По существу он был очень приятный человек, даже веселеем за столом и хороший работник. Разве забыли, как он работал в термическом цехе? Да нет же, этого никак нельзя забыть. Но вот тут, когда он брался за дела директора крупнейшего моторного завода, лицо у него глупело, на висках появлялись веером морщинки, губы мабухали, а глаза заполнялись страхом... И он начинал грызть ногти, говорить утрированно громко, подозрительно вглядываясь в каждого, боясь, что тот увидит его страх и скажет: «А ты ведь, Макар, не на своем стуле сидишь».

Но рабочие совсем не обратили внимания

на душевное состояние Макара Рукавишников. Увидев Николая Кораблева, они хлынули к нему и без всякого намерения оттерли Макара Рукавишникова. Тогда тот, возясь плечами в кожаном пальто, раздвинул толпу и, как слепая лошадь, наступая на Николая Кораблева, с визгом выкрикнул:

— Трубочку только покуриваете, а о рабочих ни мур-мур! Где бараки? Что вам, бараны — рабочие? — сказано было все это несусветно грубо и глупо, что почувствовал и Макар Рукавишников, но он уже не мог удержаться, как не может удержаться конь с возом под гору, когда обрываются тужи, и закричал еще визгливей: — Сам-то в особнячке, а рабочих, как собак...

Николай Кораблев сначала с удивлением и недоумением посмотрел на него, сунул погасшую трубку в карман.

«Да Макар ли это?» — подумал он, и вдруг в нем все закипело, навернулись такие жестокие слова, произнеся которые, он немедленно бы уничтожил Макара Рукавишникова, но он тут же спохватился, до боли прикусив губу: ведь он сам его выдвинул на пост директора моторного завода, а сейчас сейчас по его адресу резкие слова — значит, оттолкнуть от него рабочих, но ведь завод-то надо восстанавливать. Он провел рукой по лицу, чтобы рабочие не видели, как оно горит, и намеренно мягко произнес:

— Что с вами, Макар Савельевич? Рабочие-то ведь поймут, что пельзя за двадцать пять дней построить бараки на пять тысяч человек. Нам-то ведь стало известно всего двадцать пять дней тому назад, что сюда эвакуируется завод вместе с коллективом.

— Думать надо было: война! А вы тут... — и Макар Рукавишников завязал такой мат, что все дрогнули, как при неожиданном выстреле.

«Какой хам», — хотел было сказать Николай Кораблев, но сказал другое:

— Это у вас что, основной довод — мат?

— Сейчас некогда разбираться в словесах: война. — Макар Рукавишников шагнул в сторону и пошел вдоль эшелона, деловито похрустывая галькой. Так думалось ему, что он шагает деловито, как и полагается директору крупнейшего завода, но всем, кто смотрел ему вслед, на его широкую спину, на его широкий, совсем не мужской зад, казалось, что это шагает неуклюжая, толстая, ожиревшая баба.

— Ну и задок у нашего директора! — сказал кто-то из толпы.

Николаю Кораблеву от этих слов стало больно, будто смеялись над его родным братом:

— Не надо так. Вам с ним жить, — проговорил он. — Ума ему своего прибавьте.

За несколько минут перед этим к толпе подошли Иван Кузьмич и Степан Яковлевич. Степан Яковлевич, поблескивая улыбкой, шепнул другу:

— Ну, что, польтик? Видал, какой он гусь?

Иван Кузьмич сердито отмахнулся и подал руку Николаю Кораблеву, встав от него на почтительное расстояние. Но тот, увидав своего любимого мастера, притянул его к себе, обнял, расцеловал, повернул кругом и рассмеялся:

— Эх! Эх! Иван Кузьмич! Оплошал малость.

— Оплошал. Факт неопровержимый. Душа нарывала. А и дружище мой оплошал, поглядите-ка! Степан Яковлевич, что ты там, как невеста, стойшь?

Степан Яковлевич прокашлялся и через плечо Ивана Кузьмича протянул руку:

— Вот где встретились, Николай Степанович. За две тысячи километров от столицы.

Николай Кораблев хотел было и Степана Яковлевича принять в объятья, но сдержался, зная, что это совсем другой человек, не такой, как Иван Кузьмич, и, поздоровавшись с ним за руку, тепло заговорил:

— А Настя? Анастасия Петровна где?

— В Барнаул укатила. Вон куда! А у вас как семья-то? Ночью ведь все разлетелось, — сочувственно пробасил Степан Яковлевич.

Николай Кораблев напекось прикусил нижнюю губу, как бы на что-то досадуя, и, не отвечая на вопрос Степана Яковлевича, продолжал, вынув из кармана трубку и закуривая:

— В Барнаул? Ох, далеко! Ну, ничего. Обстроимся, всех перевезем сюда. А Мишка? Мишка? — вспомнил он полугая Мишку. — Неужели в Москве остался?

— Ну, нет! И его увезла. Ведь он чему научился? Поднимется чуть свет и орет: «Граждане. Воздушная тревога». Да ведь прямо в точности, как по радио. Вскочишь с постели, глядишь — ничего нет. «Ах, чтоб, мол, тебя разорвало». А он тебе в ответ: «Ах, чтоб тебя разорвало». Вот штуки какие стал откалывать!

Все весело засмеялись над «штуками» полугая. Но у некоторых рабочих еще кипела обида на Макара Рукавишникова, и они начали по его адресу отпускать злые шутки.

Николай Кораблев, неприятно поморщившись, сказал:

— Не надо. Не надо, товарищи. Завод ведь придется налаживать, а при таком отношении к директору это немисливо, — и увидав, как отрицательно закачал головой Степан Яковлевич, добавил: — Ну, что вы? Лошадь обучают, а он человек...

— Нет уж! — Степан Яковлевич нажал двумя пальцами кадык. — Лошадь — ее пля-

сать можно научить, а пустого человека — чему? Он ведь какой было фортель хотел выкинуть в Москве — всех рабочих уволить. Нарком вмешался, сказал: «Как так? Рабочих без завода оставить? Да ведь это топор на шею рабочего». Так что — продолжал Степан Яковлевич, — не пойдет у нас с ним дело, и точка.

Рабочие одобрительно загудели.

Из всего этого Николай Кораблев понял, что между Макаром Рукавишниковым и рабочим коллективом легла преграда, через которую ему вряд ли перепрыгнуть. Но он знал и другое — основное, что завод надо срочно восстанавливать, и поэтому решил сегодня же связаться с наркомом и «удомать его», чтобы главным инженером на завод назначил Альтмана. С этой мыслью, распростившись с рабочими, он и направился было в контору, как увидел Надю и Варвару. Несмотря на холод, на Варваре был белый халат с открытой грудью. Она шла рядом с Надей, обняв ее явно заискивающе, что Надя, по своей наивности, не понимала. Подойдя к Николаю Кораблеву, Надя сказала:

— Николай Степанович, Иван Иванович ждет! Завтрак остынет.

— Жалуетесь Надюшка-то на вас, — пропела Варвара и потупила глаза, затем вскинула их. — Как вы без семьи тут? Мы уж обоим хотим поухаживать за вами.. Не кушаете, не спите...

— Мне и одной хватит, Надюша, — серьезно проговорил Николай Кораблев и повернулся к Ивану Кузьмичу. — Что ж. Иван Кузьмич, посмотрите городок. Народ тут любопытный. Да и давайте запрягать батушку-Урал, — а приди к себе на квартиру, сел за стол и, поджидая Ивана Ивановича, который чего-то замешкался у себя в комнате, он подумал: «А может, я зря так с Варварой-то? Может, у нее ничего, кроме заботы, простой и человеческой, ко мне и нет? А я уж!» — И спросил вшедшую Надю: — Чего Варвара сюда лезет?

Надя по-простецки сказала:

— Говорит, любит, что ли, она вас.

— Ну, вот еще! Новость какая! Ты ее не пускай! В квартиру не пускай! И скажи, чтобы она больше... ну скажи... — он не договорил, в нем вспыхнуло мужское чувство гордости. — Какая... любит... красивая женщина. Очень красивая и... и даже очень, — проговорил он про себя и тут же увидел, как где-то за его плечом появились глаза Татьяны. Они укоризненно смотрели на него, и ему стало пакобно. — Знаешь, что, Надюша, — грубо добавил он: — Ты гони... гони ее... Скажи: это, мол, у тебя, бабочка, с жиру. С жиру бесишься. Так и скажи, — и снова с тоской подумал: «А тут еще этот Макар. Нет, нет. Позавтракаю, и надо связаться с Ильей, сказать: «Нарком, ошиблись мы».

Ивана Кузьмича, как и всех рабочих моторного завода, поразили своим видом окранный городок Чиркуль.

— Ого! Да тут живут я-те дам! — говорил он, переходя из двора во двор, раскланиваясь с жителями, расспрашивая, нет ли уголка.

Дома почти всюду были переполнены жильцами — строителями завода. Войдя в один двор, небольшой, но с каменными стенами вместо забора, как и соседние, он столкнулся с тонким, выгнутым, как одинокая березка в сосновом лесу, человеком. На нем были широкие, но короткие шаровары, лицо давно не бритое, волосы нечесаные и рыжеватые. На вопрос Ивана Кузьмича: «Нет ли уголка?» — он почему-то зло закричал:

— Не отвяжесь! Есть уж! Есть! Лезьте, а я вон под сараем жить буду, ай уйду в лес, вырою землянку. Пес с вами!

«Обозлен чем-то», — подумал, глядя на него, Иван Кузьмич, но от уголка не отказался, решив про себя: смягчится, — тем более что хозяйка оказалась, в противоположность хозяйню, очень любезной, гостеприимной, расторопной и совсем молодежавой, несмотря на свои сорок пять лет.

Был уже вечер. Хозяйка поставила самовар, а когда самовар вскипел, она вынесла его на огромный стол, затем подала кислое молоко, теплые лепешки, картошку в большой чугунной кастрюле и, пригласив Ивана Кузьмича за стол, сама села около самовара. Против нее села ее муж. Тут за столом он показался еще тощее, и оттого, что он был так высок и так тощ, нечесаная его голова казалась очень маленькой, будто заварной чайник. Первую чашку хозяйка налила мужу и украдкой глянула на Ивана Кузьмича. Хозяин большим клотком пил чай, отворачивал огромные куски лепешки и тискал их в рот. Взяв вилку, он принялся за картошку. Ел один, долго и только под конец, заметив, что гость ни к чему не притрагивается, сунул вилкой в картошку, скупно сказал:

— Ешь! Чего уж там!

Иван Кузьмич, с удовольствием выпив стакан крепкого чая, взял вилку и, взглядываясь в морщинистое лицо хозяина, робко спросил:

— Что ты, братец, какой суровый? Обидел, что ль, кто тебя пиз болит что?

Хозяин, хрустнув длинными, тонкими пальцами, буркнул:

— Супротивник я. Ну, вот, хонь казнил, хонь милый! Фамилию мою хочешь знать? Звенкин я. Все одно жить кончается.

— Во-он чего, — в тон ему прозвнес Иван

Кузьмич и как ни старался, так ничего путевого и не добился в этот вечер.

#### 4

Каждое утро они поднимались чуть свет, наскоро завтракали, выходили во двор, и тут Звенкина настойчиво предлагала:

— Отойди-ка в сторонку.

Иван Кузьмич отходил за угол избы, предполагая, что Звенкину потребовалось «по малой надобности», но однажды невольно подглядел, как тот вытащил из завалинки огромный, длинной с полметра, заржавленный ключ, открыл им калитку, снова спрятал, сказал:

— Потопали.

Иван Кузьмич удивленно произнес:

— Ох ты-ы! Ключ-то, братец, у тебя какой! Быка вполне можно свалить.

— И свалишь.

— А зачем?

— А воры?

— Воры? Они и через забор могут перемахнуть. Ты бы пожертвовал его в фонд обороны: железа-то сколько.

— Пожертвуешь еще, — и Звенкина зашагал, высокий, размашистый, будто из жердей.

Так он шагал каждое утро, не замечая, что Иван Кузьмич отстаёт, что ему вообще такое путешествие (семь километров на строительную площадку и семь обратно) тяжко. Звенкина на это не обращал внимания и шагал, шагал, шагал, что-то мурлыча себе под нос, часто откашливаясь, хрипло и натужно, будто протуженная корова.

«Что за человек? Жестокий какой», — думал о нем Иван Кузьмич.

И однажды поздно ночью хозяйка увидела, как Иван Кузьмич, входя в избу, еле поднимаемая отекавшие ноги, споткнулся о порог и чуть не упал, — тогда она гневно крикнула на мужа:

— Ты чего же это? Эй! Зенки-то где у тебя? Не видишь, гость-то закоченел? — Она кинулась к печке, достала горячую воду, налила ее в корыто. Несмотря на протесты Ивана Кузьмича, сняла с него сапоги и отпарила ноги, как мать ребенку.

В этот миг и глаза Звенкина, всегда пустые, похожие на гороховый кисель, дрогнули. Он засуетился, раздувая самовар, поглядывал на Ивана Кузьмича, произнося:

— Низвини уж меня! А и то — глаза-то у меня не на затылке, не вижу ведь. А шагать привык. Мы ее измерили, землю-то, ух сколько! — А когда Иван Кузьмич сел за стол, он сам налил ему стакан чаю, поближе подвинул кастрюлю с картошкой, все так же удивленно произнося: — Ох, ты-ы! Ешь, ешь! Это поль-

зительно. Мне дедушка всегда говорил: «Мнучек, всякую болезнь надо ёдой забивать». И ты ёдой выколачивай ее, шут ее дерь-то! И думаю я так, в барак переправимся. Там жить, а в воскресенье — к Зине: она отогреть нас будет.

#### 5

После этого они переправились в барак, построенный на скорую руку человек на двести. Иван Кузьмич, Степан Яковлевич, Звенкин и татарин из Сибири, бригадир монтажников Ахметдинов, отбили себе уголок. Ахметдинов, коротенький, широкий в плечах, угрюмый, перепугал Звенкина.

— Жутики они, татары-то! — шепнул он Ивану Кузьмичу. — Зачем его в наш уголок?

— Ну, что ты! И татары люди хорошие. Тебе все мерещится, — ответил ему Иван Кузьмич, но тут его отвел в сторону Степан Яковлевич и тоже шепнул, показывая на Звенкина:

— Что это за дылда с тобой? Упрег еще барахло у нас.

— Ну вот, новое дело! Он человек хороший. Впрочем, супротивник. А какой? Не говорит.

Не успели они закончить этот разговор, как к ним подошел Петр Завитухин, человек довольно странный и даже, по уверению врачей, душевнобольной. С ним все время происходили какие-то истории. Года три тому назад он в Москве, на моторном заводе, добился было того, что его поставили бригадиром в цехе коробки скоростей, но потом он неожиданно захандрил, начал плакать и вдруг превратился в какого-то своеобразного защитника собак. Целыми ночами он бегал по улицам Москвы, ведя отчаянную борьбу с теми, кто собирал бездомных собак и отправлял их за город.

— Убивают! Ведь убивают! — заливаясь слезами, кричал наутро в цеху Петр Завитухин. — И я напишу.... Я в Совнарком напишу.

В первые же дни войны он, достав справку от врачей, что является душевнобольным, отправился к себе в деревню куда-то за Ореол, а с наступлением немцев будто бы бежал оттуда и вместе с заводом прибыл на Урал, определившись в бригаду Ахметдинова.

Петру Завитухину было лет сорок пять, пальцы на правой руке отсутствовали (оторвало на распиловке леса), но главное — у него было какое-то чудное лицо: яйцевидный лоб заканчивался на макушке, от одного уха к другому тянулась бороздка из жестких волос; ноздри широкие, как у лошади. Лицо вообще казалось умным. Но стоило только Петру Завитухину выпятив губы и пожевать ими, как все лицо становилось глуповатым и даже преступным, — вот почему, встретившись с ним

в селе Ливне, Татьяна запомнила это лицо на всю жизнь.

Подойдя к Ивану Кузьмичу, он развязно потребовал:

— И меня примите, в уголок-то.

Иван Кузьмич, чувствуя к нему внутренний холодок, ответил:

— Да ведь некуда.

— Ну-у? Чай, как-нибудь втиснусь, — и тут же, посмотрев на Ахметдинова, произнес. — Чай, я не татарин гололобий. Чай, я свой — московский.

— Ну, ты вот что, Петр, — Степан Яковлевич весь затрясся. — Валий-ка вон туда. Вон видишь, есть место. Нечего тут околачиваться.

Петр Завитухин отошел, занял место, на которое показал ему Степан Яковлевич, и, сев на него, выхватил из кармана бумагу, карандаш, начал что-то писать.

Ахметдинов вяло сл хлеб, макая его в ведро, затем поднял голову, посмотрел на Петра Завитухина:

— Петра! Чего писал и зачем писал?

— Про хлеб... и руки у тебя, ой! — ответил тот, с жадностью поглядывая на хлеб. — Я ведь какой, — продолжал он, — я ведь все досконально знать хочу. Вот руки у тебя, ну и сила, как у льва, впрочем, чего я никогда не видал.

— Руки и у тебя есть, а голова нет.

Петр Завитухин вытянул губы и, сделав лицо глупым, кинул:

— А у тебя есть голова? Эко! Голова! Была бы голова, не заставила бы тебя горб гнуть... за хлеб такой.

Ахметдинов не нашелся, что ответить. Он был человек вспыльчивый, и когда в нем все начинало клокотать, он терял слова: он что-то гудел на своем родном языке, весь собравшись в комок, сжимая большие, угловатые кулаки. А тут, сверкнув раскосыми глазами, что-то прогудев, он вдруг выпалил, как из пулемета:

— Моя голова знает, что делать. А твоя голова — горшок. Твоя голова надо крутить и вместо умывальник ставить, тогда шалтай-болтай не будешь, — и поднялся, все так же не разжимая кулаки.

«Пес гололобий, жамкает еще», — с дрожью во всем теле подумал Петр Завитухин и, криво улыбаясь, забормотал:

— Да нет! Что ты? Шутю я. Шутю. А так, знамо, интерес большой. Понимаем мы, как сознательные... и даже с песней можем... и ходили... в Москве на Красной, вон где. Хоть я тебе спою, а?

— Тебе надо в лес бежать, с волком петь, — сквозь зубы процедил Ахметдинов и крупным шагом, сгибая половницы пола, вышел из барака.

— За что человека обидел, Завитухин? —

откашливаясь в ладошку, вступился Степан Яковлевич.

— Совесть, что ль, окончательно растерял, — упрекнул Иван Кузьмич.

Петр Завитухин вскочил. Лицо у него было хотя и перекошенное, но умное.

— А я что? Между двумя огнями повертись-ка, — бессознательно кинул он и мертвеющими глазами уставился в угол, со страхом вспомнив первое свое падение. Оно случилось лет десять тому назад и с каждым годом все наворачивалось, как снежный ком. Петр Завитухин боялся этого падения. Боялся прямо и открыто сказать о нем, как боится сифилитик, живущий в общегитии, открыто сказать о своей болезни: его немедленно выгонят из общегития. И во время войны Завитухин было убежал к тем, кто заразил его «душевым сифилисом». Он заявился к ним и открыто стал бахвалиться «своей преданностью» им, а те, посмотрев на него, как на бездомную собаку, посадили на танк и заставили показывать дорогу в села, а в селах людей, которых потом вешали. Так он побывал и в селе Ливне. А потом немцы, отступая от Москвы, предложили ему вернуться на завод и заняться «диверсиями». «А что я делаю? Что? Когда на тебя со всех сторон смотрят тысячи глаз. Самп бы попробовали... чортовы козбасники», — со злом и тоской подумал он и, спохватившись, что его «душевный сифилис» могут увидеть Иван Кузьмич и Степан Яковлевич, немедленно встряхнулся, вытянул губы, пожевал ими, затем, скособочась, как бы кого-то дразня, еркнул:

— А что? А что? Лошадь не покорми и та сбесится. Вот ведь чего, — причмокнув толстыми губами, он ринулся из барака следом за Ахметдиновым.

Так они и зажили в углу барака. Поднимались они чуть свет, бежали в столовую, становились в длинную, никому не нужную и бесполезную очередь. Но столовая, в которой они были прикреплены, вскоре сгорела (ее поджег Петр Завитухин), и им завтракать, обедать и ужинать пришлось на месте. Это было еще хуже, потому что, кроме холодной воды и хлеба, они ничего не имели.

— Образуется. Все образуется. Помнишь, Степан Яковлевич, у Льва Николаевича Толстого слово какое есть: «образуется»? И тут все образуется, — утешал Иван Кузьмич.

— Да ведь говорят, Москва не сразу строилась, — отвечал Степан Яковлевич, кашляя все с большей хрипотой. — А мы куда приехали — не в гости? И то удивительно, сколько тут сделано за какие-нибудь пять-шесть месяцев. Нет, Николай Степанович прямо чудеса творит. Конечно, чудело наш всё это опоганят.

— Как власть человека испортила. Я тоже про Макара Савельевича, — тихо и спокойно проговорил Иван Кузьмич. — Человек-то был какой чудесный, когда в термическом цеху работал. Заходил ведь он к нам, к Василию... по поводу обработки металла электричеством, — и чуть погодя, что-то припоминая, он добавил: — Я где-то читал, что ежели ангелу дать власть, у него рога вырастут. Выходит, правда?

— Это если ангел дурак. А умный — тот поймет: кто власть вручает, тот и отобрать ее может, — сказал Степан Яковлевич и громко захохотал.

## 6

Поднялись свирепые уральские бураны. Они неслись с гор Чиркульской долиной, сотрясали крыши бараков, хлестали, будто огромными сухими метлами, по их бокам и выли, крутились у дверей, намереваясь ворваться внутрь, чтобы приморозить все живое... И не хотелось подниматься с постели, согретой теплотой собственного тела, а так лежать бы и лежать, пока не утихнет злая метельца и не проглянет горячее солнце.

Первым высунул голову из-под одеяла Иван Кузьмич. Он спал в пальто с плюшевым воротничком, валеных сапогах и даже в шапке, но все равно: высунув голову, он сразу почувствовал, как во всему телу побежали ледяные мурашки. Повернувшись к Степану Яковлевичу, покашлявая, сказал:

— Эй! Пролетарий! Вставай, поднимайся!

Тот, не открывая головы, ответил:

— Сейчас. Эх! Бывало, все жаловался я на тюфяк. Тюфяк Настя купила, а он попался с каким-то таким, знаешь ли, ребром. Я ей: выброси, мол, ты эту пакость, а новый купи. Вот теперь бы этот тюфяк с ребром!

«Ах, да, да. А из-за чего я тогда, в субботу перед тем страшным днем, поссорился с Ильинишной? Ах, да! Я узнал от лесника, что пошли боровики, прибежал домой, а Ильинишна на меня обрушилась: «Скачешь, как заяц». Какой я тебе заяц? Я мастер, а не заяц, — вспомнил Иван Кузьмич, и ссора та вдруг стала ему смешна, и не только смешна, но ему еще стало как-то горестно, что тратили лучшее время на такие пустяки. — А вот теперь все рассылалось... и от Василия давно писем нет. — Он пощупал в изголовье сверток диаграмм, крепко зашитый в брезент. — Ничего, Вася... разум твой сохранию, а нарушителей прогоним, и твое дело в ход пойдет», — и тут в Иване Кузьмиче поднялась такая остервенелая злоба на тех, кто нарушил «большую человеческую мечту», что он привскочил с постели и выкрикнул: — Вставайте! Вставайте! Станки надо сруждать.

Степан Яковлевич еще некоторое время не жился в постели, высовывая то одну, то другую руку, а Звенкин сбросил с себя полушубок, босой прошелся к умывальнику, стукнул обеими ладонями в кран, удивленно произнес: — Эх, замерзла!

И барак начал пробуждаться со стоном, с кряхтением, с руганью и песнями...

Вместе со всеми рабочими Иван Кузьмич, Степан Яковлевич, Ахметдинов и Звенкин пробивались через буран к станции. Они шли на ощупь, наугад, видя перед собой только белесые тени. Шли задыхаясь, отворачиваясь то в одну, то в другую сторону, иногда слыша, как выкрикивает Звенкин:

— А ну-у, балуй у меня!

Придя на станцию, они все охнули: станки на платформах покрыты такой морозной сединой, что казалось, ниспалены электрическим током и к ним было боязно дотрагиваться. Степан Яковлевич первый вскочил на платформу, пунул погой станок.

— А ну-ка, поворачивайся.. довольно тебе отдыхать, — и вгорячах голый рукой ухватился за станок и тут же пронзительно вскрикнул: на ладони сразу выступил кровавый след, будто рука прикоснулась к раскаленному железу.

И вот, несмотря на то, что станки зашнуровали, несмотря на то, что все люди были плохо одеты, что вместо варежек у большинства на руках были потрепанные чулки, тряпки, — несмотря на все это, люди кинулись на станки. Страхивая с них морозную седицу, стаскивая их с платформ, люди кляли их на бревна и волоком тащили в здание еще без крыши, ставя тут на приготовленные фундаменты.

А буря бешевал, потешался, кидая в лица охапки колючего, словно битое стекло, снега. Люди стонали, падали, будто подбитые морозом воробьи, снова вскакивали и снова кидались на станки, еще более стеноя, скрежеща зубами. В этом бушующем буряне, собственно, ничего не было видно, ни людей, ни станков, ни тем более самодельных из бревен саней. Только иногда из белесой пурги вдруг выныривало что-то огромное, черное, облепленное живыми фигурками, и снова надо всем бушевали свирепая уральская метель. Иногда из метели, перекрывая ее завывание, вырывалась песня «Дубинишка», но буран своим воем глушил песню и крутил, выли, свистел, потешался над всеми... И трудно было понять, что руководило в эти дни полуголодными, уставшими от бессонных ночей, полураздетыми людьми, — только ли высокие патристические цели, или еще и русская удаля: «Эх, ты, буран, крутишь, а мы все равно тебя победим!»

Однажды утром, пробиваясь сквозь бушующую метель, на станцию прибыл Макар Рука-



вишников. Он явился все в том же лапчато-пегом кожаном пальто, без пояса, походный со спины на толстую бабу. Перебегая от одной группы рабочих к другой, он подбадривал:

— А ну, давай! Давай, ребятки! Родина нам отплатит.

Слова его были хорошие, но то, что именно он произносил эти слова, и то, что именно он прибыл сюда, вместо того чтобы там, на заводе, налаживать питание, — слова его раздражали людей. А он этого совсем не чувствовал. Разгорячившись, он даже сам впрягся, как коровник, в сапи, на которых лежал тяжелый станок, и поволок вместе со всеми.

Кто-то из рабочих сказал, как всегда, дипломатически тонко, не то ругая, не то похвалявая:

— А ну, директор, давай, давай! Хорошая у тебя спина — шире мостовой...

— Я ведь не такой, как те, кто в кабинетах-то сидят. Я со всеми рабочими в тяжелую минуту айда-пошел! — ответил на это Макар Рукавишников, не поняв издевки.

И было стыдно. Особенно было стыдно Ивану Кузьмичу и Степану Яковлевичу, старым мастерам моторного завода. Им было так же стыдно, как если бы их любимейший сын выкидывал какую-то глупую штуку при народе.

Серым вечером, промерзшие, уставшие, голодные, рабочие расходились по баракам, по землянкам, с тоской думая о том, что сегодня они будут есть, когда даже костер невозможно развести. С ними вместе шел и Макар Рукавишников. Он шел, чувствуя, как ноги у него отстают, и срамно стал бахвалиться:

— Что-то зад отяжелел у меня.

— Им думаешь, — вынул Степан Яковлевич.

Макар Рукавишников не расслышал и намеренно, чтобы восстановить рабочих против Николая Кораблева, произнес:

— Ничего. Сейчас чайку мне заварят... кусочек жареной баранины и, конечно, рюмочку, мы и отогреемся с Васькой. Знаете, кот у меня есть, Васька. Ну и смысленый! Как зачует запах жареной баранины, так и хвост трубой.

Иван Кузьмич сказал:

— О баранине-то можно бы и помолчать: голодные ведь мы.

— Ага! Допекло? — обрадованно вцепился Макар Рукавишников. — А кто столовую не дает? Ваш любимец! Уж больно ты его чтишь, Иван Кузьмич.

— Да ведь... — Иван Кузьмич замаялся и вдруг резко сказал: — Да ведь не заставишь себя каждого чтить.

## 7

Буран приостановил все: срывал людей с лесов, ледедил на земле, загонял в землянки,

бараки, претраждал путь огромными сугробами паровозам, автомобилям и выл, крутил, выдая во все стороны охапки колючего снега.

— Чорт-те что, чорт-те что! — сквозь зубы произносил Николай Кораблев, шагая по кабинету, кого-то поджидая и мрачно всматриваясь в Ивана Ивановича.

Иван Иванович сидел в уголке дивана и тихо покачивался, будто перед ним теплился камин. По его лицу блуждала улыбка, зеленеватые глаза то и дело широко отрывались, вспыхивали.

«Мечтает, — с досадой подумал Николай Кораблев, глядя на него. — Чудесный человек, замечательный инженер, а ведь вот неделю буран крутит — неделю мечтать будет», — он остановился и в упор спросил: — Что же будем делать, Иван Иванович?

— Да ничего. Буран оборвать невозможно: он может безобразничать и день, и два, и неделю. Тут так — как заладит, так и пошел стегать.

— Вы что ж, считаете положение безвыходным?

— Абсолютно.

— Чепуха. Таких положений не существует.

— Безвыходных?

— Да.

Иван Иванович скосил зеленеватые глаза и, сдерживая злорадный смех, сказал:

— Прыгните на луну.

— Я не про луну, а про землю. А придет время — и на луну прыгнем.

— Вы уж!

— Что «вы уж»? А вы уж? — глаза их сцепились, тогда Николай Кораблев шагнул к Ивану Ивановичу и с тоской произнес. — А ведь там нас ждут. Ох, как ждут!

Иван Иванович, предполагая, что тот говорит о своей семье, весь встрепенулся, сочувственно-ласково произнес:

— Ах, да, да. Конечно, ждут. Да еще как!

«Стольнул, — радостно подумал Николай Кораблев. — Но сейчас я его просто за шиворот возьму», — и вслух:

— Вы же знаете, что мы в первые месяцы войны потеряли огромное количество танков, самолетов, артиллерии. Мы в этом отношении остались почти нищие. И нас ждут, — подчеркнул он. — наших моторов ждут, Иван Иванович. А у вас что? Буран? Вот сегодня или завтра позвонят из Москвы. Что ответить? Буран? Это же смешно. — лицо Николая Кораблева вдруг как-то подобрело. — Ах да, — спохватился он. — Есть выход. Вы сократили план строительства на двадцать четыре дня... Это спасение.

— Ничего не понимаю, — Иван Иванович пожал плечами и фыркнул.

— Спишем ваши денечки на бурян.

Удар оказался в цель.

— Ну, нет. Это вам не пройдет, — резко заявил Иван Иванович, поднимаясь с дивана. — Я и минуты не дам. Уйду. У меня есть свой домик, есть жена — очень приятная женщина... Уйду и займусь научной работой.

— Так. Уйдете? А потом вас страна спросит, что вы делали во время войны?

— А мне все равно.

Такого ответа Николай Кораблев никак не ждал... и осекся.

«Да неужели это гниль? Да не может быть. Столько лет я его знаю», — подумал он и так сжал кулаки, что пальцы хрустнули.

— Вы это серьезно, Иван Иванович?

Иван Иванович какую-то секунду колебался:

— Ерунда! Вспылил! Я ведь тоже за стол победы хочу притти с победой. Но что делать? Вы намереваетесь приостановить бурян? Это ведь только Иисус Навин в библии крикнул: «Остановись, солнце!» и продолжал бить врага. Вы же не Иисус Навин.

— Я не Иисус Навин, но я знаю, что сильнее человека никого и ничего на земле нет... Для этого его, человека, надо умело организовать и вооружить.

Иван Иванович рассмеялся:

— Чорт вас знает, что вы за люди — большевики. Ну, как? Как вы устранили бурян? Как? Я вас спрашиваю.

— Очень просто. Все, что есть у нас на складах, — пальто, шинели, телогрейки, теплые белье, одеяла, валенки, варежки, шапки, — все немедленно же раздать рабочим. Все. И не жалеть. Пожалеет тут, значит погубит людей там, на фронте. Затем хорошенько накормить людей — сверх того, что мы им выдаем обычно. — И Николай Кораблев посмотрел на Ивана Ивановича и, видя на его лице скептическую усмешку, чувствуя, как у самого поднимается злость, продолжал: — И дать водки. По сто грамм хотя бы.

— Нет, уж лучше пол-литра на нос. А то с двухсот грамм просто скучновато будет. Пол-литра выдайте, глядишь и разгуляются, а потом вещички продадут и своей купят. Я предлагаю подождать. Утихнет бурян — навеемся.

— Ждать — самое легкое дело.

В кабинет вошел человек.

— Простите, что вот так, — проговорил он, стравивая с себя снег. Стравив снег, он шагнул к столу, падал всем телом вперед, будто вес на себе большую тяжесть. — Здравствуйте, — сказал он. — Лукин я... Послан на работу к вам. Вот! — и положил на стол пакет.

Николай Кораблев разорвал пакет, прочитал, посмотрел на Лукина, в его большие спи-

ные глаза и огрекомсидовал Ивана Ивановича!

— Парторг Центрального Комитета партии, — и в это время подумал: «Какой-то окажется?» — И к Лукину: — Очень хорошо, товарищ Лукин. Кстати, вы сразу попали в дело: бурян приостановил все работы. Я... предлагаю одеть людей, накормить сверх положенного, дать водки... и... и, — Николай Кораблев, сбитый резким отпором Ивана Ивановича, замялся. — И... я думаю, люди сломят бурян. Как вы на это смотрите?

Лукин застенялся, ответил не сразу:

— Я? Как смотрю? Пока я без возражения подчиняюсь вам: я новичок здесь. Но... но думаю, забота о человеке еще никогда даром не проходила.

«Хороший. Скромный», — решил Николай Кораблев. — Вы познакомьтесь-ка, — показал он на Ивана Ивановича. — Это наш главный инженер.

Иван Иванович весь взъерошился. Седящие, круто обрубленные усы у него ощетинились, а сам он, косо подав руку Лукину, сел к нему боком. Николай Кораблев, по телефону разыскивая Макара Рукавишниковца, видел, как Лукин о чем-то заговорил с Иваном Ивановичем, но тот притворился, что глуховат: сначала будто не расслышал, затем приложил ладонку к уху и стал слушать... Потом через силу улыбнулся... и вот лицо уже расплзлось в приятной улыбке.

«Покорил, — подумал Николай Кораблев. — Значит, умный мужик. Хорошо. Умного прислали», — и прокричал в трубку: — Рукавишниковца мне! Рукавишниковца!

Секретарша, хотя и знала, что директор ушел на станцию, однако она, как и ее директор, была в оппозиции к Николаю Кораблеву и требовала ответа:

— Я не знаю, где он. Не знаю и не знаю. И не обязана для вас знать.

— А где Альтман?

— У него есть свой секретарь, — и секретарша положила трубку.

Пока Николай Кораблев разыскивал Альтмана, Иван Иванович и Лукин совсем подружились: как только Кораблев кончил разговоривать по телефону, Иван Иванович, помолодев, подбежал к столу и громко, будто об этом надо было сообщить множеству людей, проговорил:

— Ученик мой. Видалк? И ученик покорила учителя. Знаете, что он мне сказал? «Уверенность в победе — самое большое оружие». Это он мне из моей же книги «Богатство Урала», — и, повернувшись к Лукину: — Ну да, но там я еще говорю и другое.

— Совершенно верно, — мягко согласился Лукин. — Кроме уверенности, должно быть знание,

— Точно. Точно. А я ведь вначале вас не узнал. А знаете что, тут и Альтман — главный инженер моторного завода.

— Ну-у? — Лукин весь засиял. — Старые мы с ним друзья. Ох, как я рад, что попал к вам.

Вскоре они все четверо — Николай Кораблев, Иван Иванович, Альтман и Лукин включились в дело. Вначале, когда пришел Альтман, они снова заспорили, особенно Иван Иванович. Альтман потребовал, чтобы наряду с рабочими-строителями были одеты, обуты, накормлены и рабочие моторного завода. Иван Иванович запротестовал, заявив: «Это не наше дело. Кормите и шлите вы сами там с Рукавишниковым». Его сбили. Но тут возникло новое затруднение. В силу того, что одна столовая сгорела, тысячи полторы рабочих моторного завода получили на руки сухой паек, а на улице бушевал буран, и они не имели возможности даже разжечь костры. Лукин предложил приготовить им ужин и разнести по баракам. Потребовались дополнительные баки, кастрюли. В наличии таких не оказалось. Значит, надо было их срочно делать, — это поручили Ивану Ивановичу. Лукин и Альтман отправились в город тормозить городские организации, а Иван Иванович, взъерошив волосы, сел за телефон. Первым он вызвал Коронова. Тот явился незамедлительно. Вкатившись в кабинет, он хлопнул в ладоши и пошел играть словами:

— Лошадку не покорми, и та сбесится — справедливо говорят, — повторил он слова Петра Завитухина. — А человек — он хитрее лошади. Лошадь что? Ягнуть хочет — спутай ее. А человека не спутаешь: ноги ему свяжешь, он рукой хватает, руки свяжешь, он словом так долбанет, что все разлетится. И давай крути в этом месте. Что? Жести надо? Найдем. Жестяшников надо? Найдем. Крути. Поднимай бурю. Меша, Николай Степанович, в улице-то Бураном зовут. Буран я и есть.

Нехватало то белой жести на баки, то жестяшников, то картошки, то хлеба, то подвод... И люди из кабинета Николая Кораблева звонили по всем местам, — по заводам, по торговым организациям, часто выезжая туда сами, оставляя в кабинете одного Николая Кораблева... И все откуда-то шло, стягивалось. Появилось железо, жестяшники, картошка, водка на пятнадцать тысяч человек. Все это откуда-то прибывало, и чем ни больше всего этого прибывало, тем больше росла боязнь у Николая Кораблева:

— Справимся ли, Иван Иванович? — говорил он. — Надо ведь сегодня. Понимаете, сегодня, а не завтра эту радость дать рабочим...

— Радость-то мы дадим, а вот сломят ли они буран — в этом я сомневаюсь, — решительно заявил Иван Иванович.

*(Продолжение следует.)*

---

## Строки любви

\* \* \*

Своей любви перебрывая даты,  
Я не могу представить одного,  
Что ты чужжою мне была, когда-то  
И о тебе не знал я ничего.

Какие бы ни миновали сроки  
И сколько б я ни исходил земли,  
Мне вновь и вновь благословлять дороги,  
Что нас с тобою к встрече привели.

\* \* \*

Пусть пристально глядят мужчины  
И судят, как хотят, — пускай,  
Ты не считай своих морщинок  
И лет себе не убавляй.

Бывают женщины — похожи  
На чуть привядшие цветы.  
Еще милее мне, дороже.  
Еще желанней стала ты.

\* \* \*

Тебе исполнилось сегодня тридцать восемь,  
И, может быть, хоть с виду весела,  
Ты с грустью думаешь: подходит осень,  
А там — зима, белым-бела.

А может, и не думаешь про это —  
Немало всяких у тебя забот.  
Дай бог тебе большое бабье лето  
И осень ясную, когда она придет.

\* \* \*

Как хочешь, это назови:  
Друг другу стали мы дороже,  
Заботливей, нежней в любви.  
Но почему я так тревожен,

Стал придавать значение снам,  
Порой задумуюсь, мрачней...  
Уж видно, чем любовь сильнее,  
Тем за нее страшнее нам.

\* \* \*

Ты со мной — и каждый миг мне дорог,  
Может, впереди у нас года,  
Но придет разлука, за которой  
Не бывает встречи никогда.

Только звезды в чей-то час свиданья  
Будут так же лить свой тихий свет.  
Где тогда в холодном мирозданьи,  
Милый друг, я отыщу твой след?

\* \* \*

Мне далеко до дому,  
И труден мой путь впереди,  
А до тебя другому  
Лишь улицу перейти.

Но я тебя лучше знаю.  
Я верю, пусть годы бегут,  
Что письма твои, родная,  
Не згали и не солгут.

Все так же твой быстрый почерк  
Ложится в моей судьбе.  
Я знаю, какая короче  
Дорога ведет к тебе.

Она — не назад сквозь рощи,  
Где даль тиха и светла —  
Сквозь дымные дни и ночи,  
Сквозь битвы к тебе пролегла.

\* \* \*

Люблю тебя, и потому, наверно,  
Не перед девушкой — перед женой,  
За что б ни взялся, хочется быть первым,  
Чтоб ты могла гордиться мной.

Не знаю, под какой звездой ли  
В глуши завьюженной рождался я,  
Но если я чего-нибудь да стою, —  
Причиной — ты, любовь моя.

\* \* \*

Любовь пронес я через все разлуки,  
И счастлив тем, что от тебя вдали  
Ее не расхватили воровски чужие руки,  
Чужие тубы по ветру не разнесли.

## Видит месяц

Как хорош на черной бурке  
Красный пламень башлыка!..  
Видит месяц в переулке  
С девушкой казака.

Далеко молва летела,  
Что в бою он дерзко, смел:  
Шел в атаку — знал что делать,  
Перед танком не робел.

А сейчас, хотя он в бурке,  
В той, в которой воевал,  
В мирном, тихом переулке  
Он всю смелость растерял.

Вот в лястве и месяц тонет,  
Темнота. Они одни.  
К теплой девичьей ладони  
Только руку протяни...

Рядом губы, рядом плечи,  
А казак чего-то ждет.  
Ждет... Ведь это первый вечер —  
Вместе, может, жизнь пройдет.

\* \* \*

Ты порой целуешь ту, порою — эту  
В папиросном голубом дыму.  
Может быть, в упреках толку нету,  
Да и не к лицу мораль поэту,  
Только страшно стариться тому,  
Кто любовь, как мелкую монету,  
Раздавал, не зная сам бому.

\* \* \*

Д. Е.

Мне глаза твои забыть едва ли.  
У евреек, кто-то мне сказал,  
Может, только в древности бывали  
Серые, как у тебя, глаза.  
Их не затуманить ни слезами,  
Светлое лицо подымешь ты, —  
И не отрывался бы часами  
От твоей библейской красоты.

Долгою дорогою земною  
Я пошел бы смело за тобой,  
Если б не вставал передо мною  
Тонкий профиль женщины другой.  
Если бы и до сих пор не бредил  
Той, которую в счастливый час  
Я когда-то в молодости встретил...  
Не затем, чтоб разлюбить сейчас.

\* \* \*

Годы, годы... пролетая,  
Не воротятся назад,  
Но цветет, не увядая,  
Вечной молодости сад.

Смех и шопот до рассвета  
Там у каждого куста,  
Там девчонкам-непоссиам  
По шестнадцать лет всегда.

Повита плющом ограда,  
Все дорожки там в цвету...  
То приснилось, что когда-то  
Хаживал я в том саду.

## Анюта

Целых двенадцать дней стоял полк в этом маленьком городке. Городок был плохонький, всего несколько улочек. Имелись в нем галантерейные магазины, где торговали шутовщицами, множество рестораничек с газированной водой, щедро подкрашенной ярким кровавым и лимонным анисом, и с прескверной самодельной водкой, проще говоря—самогоном. Но в каждом таком рестораничке стояли маленькие столики, покрытые белыми салфеточками, и если посетители не пили у стойки, а усаживались за столики, закуску к мутной водке им подавали на опрятных тарелочках, а все предметы — перчатки, солонки, пельнички — были приятны. Доставляло удовольствие трогать их и переставлять с места на место.

После долгих месяцев лесной жизни, после ночевки на болоте, после дождей, снегов, ветров, залитых водой биндажей — этот городок показался всем офицерам полка совершенно райским уголком.

Гаубичный тяжелый полк главного командования Красной Армии редко за время войны стоял в городах. Так уже повелось, что полк либо в первые времена войны сдерживал врага на рубежах обороны, либо во время побед и славы прорывал, протрамбовывал брешь пехоте и танкам, — отдыхать в городах было некогда.

Офицеры с утра занимались службой, уходили на батареи, где шли учения, занимались осмотром и испытанием новых, прибывших с Урала, орудий, устройством складов для тяжелых снарядов, следили за ремонтом тягачей и грузовиков. Обедали все в столовой, поругивая нового повара и вспоминая старого, убитого под Барановичами, служившего до войны в московском Метрополе, великого мастера борщей и жарких. После обеда разбредались по городу, некоторые, любители поспать, отдыхали на квартирах, а к вечеру все обычно собиралось в маленьком ресторане в отдельной комнате, где стоял большой стол под чистой скатертью, украшенный букетами искусственных цветов.

Там играли в шахматы, рассказывали, спорили, пили чай, — но не только чай, конечно, случались и напитки покрепче. Неподалеку от города, на небольшом полевом аэродроме, стоял штурмовой авиационный полк. Летчики с этого аэродрома летали на штурмовки германской территории, некоторые даже по два раза на день, а вечером приезжали в городок отдохнуть, сходить в кино, поухаживать за местными девицами и дамами. И надо сказать, многие из них пользовались успехом, не зря ездили.

Один из командиров встретил на улице одного своего старого школьного товарища и дальнего родственника, командира эскадрильи, капитана Котова. Летчик зашел в артиллерийский «клуб» и на следующий вечер привел своих товарищей летчиков. С этого дня повелось, что одну историю рассказывал артиллерист, а одну летчик. Летчики — любопытствующие, лукавые пернатые люди — знали множество новостей, они видели движение наших поездов, танковых, артиллерийских и автомобильных колонн в сторону германской земли, они следили, как отливала от границ немецкая жизнь, как двигались на запад, в глубь Германии, обозы, пешеходы с мешками, как дымивший вчера завод сегодня замирал, как пустынные вчера дороги заполнялись толпами беженцев, как полыхали пожары, зажженные дальним артиллерийским огнем наших батарей и бомбовыми сериями, пулеметными очередями штурмовиков и истребителей.

И артиллеристы с нетерпением говорили:

— Ах, ну, что же мы здесь сидим? — хотя они знали, что сидеть им здесь недолго, что им, и никому иному, прорубать ворота в германскую землю, ворота, в которые устремится великая армия.

Через несколько дней под городком остановилась бригада тяжелых танков, полк мотопехоты, все в новенькой, щегольской форме, вызвавшей зависть артиллеристов.

И тут нашлись общепризнанные, вместе воевавшие на горьких рубежах сорок первого и сорок второго годов. Они заходили в заднюю комнату ресторанички, играли в шашки,

шахматы, домино, шумели, смеялись, шли горькое белое вино, рожденное не виноградом, а картофелем и свеклой, рассказывали в очередь истории.

Ночью, когда компания расходилась, в черном небе стояло бледное зарево, и офицеры — многие из них были молоды годами, но имели волосы, посеребрённые жестоким горем военных лет — подолгу молча смотрели на зарево над немецкой землей. Никто из них не говорил при этом пустых и ненужных слов, слишком много значил для них этот далекий огонь: их честь, их горе, их разум, их седины, тайные слезы, их тяжкий труд, их любовь — все было в нем, в этом бледном огне возмездия. Они шли по пустынным затемненным улочкам, через площадь, где белело над каменной стеной здание женского монастыря, мимо огромного, как черный каменный тополь, костела, — простая и торжественная архитектура его была подобна застывшей, превращенной в гранит органной музыке.

Те, что жили на окраине, проходили мимо замка, окруженного стражей лип и буков, высоких мрачных елей. Когда сквозь осеннюю мокрую пелену тумана и мелкого дождя проглядывала поздняя луна, окна в замке и лужи дождевой воды на мостовой светились. А со стороны шоссе слышался глухой и недобрый робот танков, тягачей, грузовиков, шедших с востока на запад.

Эти прогулки после вечерней беседы особенно нравились начальнику штаба майору Казакову. Казаков был красивый, рослый мужчина, наделенный большой физической силой. О силе его, соединенной со смелостью и застенчивостью, ходили в полку рассказы. Казаков стеснялся своей силы, скрывал ее и хотел казаться болезненным, утонченным. Считал он себя натурой поэтичной, сложной и даже любил побренчать пальцем на рояле. Проходя мимо монастыря и замка, Казаков невольно вспоминал места, где прошла его жизнь, — родные Батраки, Вольск, Рузаевка. Вспоминались темные сеницы дощатого дома, где провел он детские годы, тесная полутемная комнатка с низким потолком, с окошечками, закрытыми вазонами, маленькая полочка книг. Вспоминал он старуху в засаленном, заплатанном платье, с морщинистым лицом, вечно напряженным и встревоженным, громогласный голос отца, любившего крепко выпивать и, выпивши, наводить в доме жестокий порядок.

Он и сам не понимал, почему прошлое упорно вспоминалось ему в эти дни. Казаков считал, что личная жизнь не удалась ему. Женится он во второй раз пять лет тому назад, но с женой прожил мало, все время переезжал, а она вечно болела и ей трудно было ездить следом за ним. Писал он жене редко и не ча-

сто вспоминал ее. Последние ее письма все приходили одно на другое. Казакову казалось, что она каждый раз посылает ему одно и то же письмо. Она писала, что здорова, ни в чем не нуждается, просит не беспокоиться о ней; она может вполне обеспечить себя и Тамару.

Тамара не была родной дочерью Анны Степановны Казаковой. В 1934 году Казаков служил в Казахстане и женился там на комсомолке-студентке. Отец его первой жены был казах, мать русская, и хотя у первой жены Казакова черты лица были совершенно правильные, а цвет кожи белый, девочка у них родилась смуглая и скуластенькая. Прожил Казаков со своей первой женой недолго, она умерла вскоре от туберкулеза, оставив ему трехлетнюю дочь. И потому Казаков так и поспешил со второй женой: некуда было пристроить девочку. Анна Степановна оказалась ему вполне подходящей подругой — спокойной, не легкомысленной. И она, милостивая девушка, согласилась пойти за него и сказала, что пострадает хорошо относиться к его дочке Тамаре.

Проходя мимо старого замка, по пустынной улице городка, освобожденного могучей советской силой, Казаков подумал: «Чорт, надо бы Анюте купить дюжину перламутровых пуговиц и послать при случае, вообще-то говоря».

Потом он стал вспоминать удивительные истории, слышанные вечером.

«Хорошо бы было записать эти истории, — подумал Казаков, — могла бы получиться замечательная книга, какая не мечталась ни одному современному писателю».

Казаков относился довольно сурово к современным писателям и был склонен больше к критике, чем к восхищению, читая их произведения.

«Все учат, все объясняют, — думал он, — а вот я не знаю, кто кого должен учить, они меня, или я их. Кто из нас больше жизнь знает?»

Пройдя домой, он вытащил из чемодана толстую трофейную тетрадь и уселся за стол. Летчики рассказывали про любовь, танкисты тоже большею частью вспоминали удивительные любовные случаи.

Один капитан танкист рассказал историю Героя Советского Союза командира танкового батальона, влюбившегося в польскую девушку-красавицу. В этой истории было много романтизма. Девушка не обращала внимания на влюбленного. Каких только подарков он ни делал ей, грозился застрелиться, пытался похитить ее, — она лишь смеялась. Даже родители просили ее согласиться и пойти замуж за рус-

ского офицера. И кончалась эта история тем, что танкиста привезли из боя убитым, он лежал на броне, закрытый плащ-палаткой, а девушка, вся в ныли, с растренавшимися косами, в слезах, бежала за боевой машиной, поняла свою, лишь в этот миг осознанную, любовь. Летчики рассказывали истории обычно не такие печальные, с более благополучным концом, но и в них было много романтизма.

— Вот я вас третий вечер слушаю, — сказал пехотный подполковник, человек уже не молодой, — и такое впечатление, будто вы все холостые: влюбляетесь, страдаете, женитесь, теряете головы. А будьте уверены, процентов семьдесят из вас женаты, и детишки есть верно. А? Я вам расскажу случай из совсем другой оперы.

И он рассказал, как летом сорок первого года потерял жену. Он служил перед войной на границе в районе Черновил. Спустя полтора года после того, как он оплакал ее и считал погибшей, жена отыскалась: она при бомбежке эшелона была ранена в плечо осколком, потеряла сознание, ее приютили крестьяне, вылечили, и она пешком, лесами, болотами, пройдя семьсот километров, перешла линию фронта и нашла мужа.

— Вот бы я чудесно выглядел, если бы женился к этому времени на красотке-машинистке, а? — спросил подполковник. — Позор ведь!

Артиллерист, майор Вовочкин, сослуживец Казакова, рассказал, как командир гвардейского гаубичного полка нашел весной 1944 года четырехлетнего сына. Жена его была убита во Львове немецкой бомбой в первый день войны. Мальчика случайные попутчики привезли в Чкалов и сдали сироту в детский дом. Командир полка сидел однажды нахмуренный, комиссар читал письмо от жены, — сам-то полковник не получал ни от кого писем. Комиссар ему говорит: «Иван Трифонович, погляди-ка, жена пишет, что усыновила ребенка, взяла из детского дома, мы ведь бездетные». Полковник, мужчина весом в восемьдесят восемь кило, с таким голосом, что свечи в блиндаже гасли, когда он сердился и кричал, глянул на фотографию, ахнул тихонько и упал в обморок. Узнал сына!

Летчик Котов, красавец с прищуренными глазами и с шрамом на виске, повел легкомысленный разговор.

— Такие ли еще бывают совпадения, — лукаво сказал он. — Вы уж не сердитесь, товарищ подполковник, но ведь жизнь моя такая, сегодня я есть, завтра меня нет. Товарищи скажут — «был».

И он рассказал, как зимой 1941 года написал письмо молодой женщине, с которой у

него был роман. Жила она в Ворошиловграде, на Советской, дом 5, а муж ее служил в армии в это время, в штабе тыла в Воронеже, там тогда штаб стоял, и проживал на частной квартире, тоже по Советской 5. И надо было такому случиться, на почте поставили штамп так неловко, что видно было лишь «Воро...», а остальное закрыло печатью, ну и послали письмо в Воронеж.

— Я потом этот конверт сам видел, — сказал летчик. — Ох, и дал супруг моей знакомой дрозда! Жуткое дело!

Все снова настроились на легкомысленный лад и стали рассказывать наперебой истории.

Казаков встал, прошелся по комнате, в сотый раз начал рассматривать фотографии, стоявшие на столиках и висевшие на стене. Все они изображали молодую женщину, высокую и рослую, с лицом, которое надо бы назвать очень красивым, если бы подбородок у нее был чуть-чуть меньше. Но и с этим недостатком лицо ее казалось Казакову замечательным. Женщина эта была изображена то вся в белом: в белом платье, белых чулках и белых туфлях, с теннисной ракеткой, то за пианино, в строгом черном платье, то верхом на лошади, в мужских саложках и спортивных брюках, то делающей гимнастику, то выходящей из воды в купальном костюме, то сидящей за пишущей машинкой, то за письменным столом.

Чем больше Казаков рассматривал фотографии, тем больше нравилась ему эта молодая, сильная женщина, всегда одинаково смеющаяся, показывающая красивые ровные зубы.

Это была дочь хозяина квартиры, адвоката Адама Федоровича Збарского. Збарский, седой мужчина, видимо сильно похудевший, так как и щеки его и брюки свисали складками, отлично говорил по-русски. До революции он учился в Люблинской русской гимназии, а затем окончил юридическое отделение Харьковского университета.

Он по вечерам заходил к Казакову и рассказывал о том, как жилось ему до войны, как он ездил в Брюссель к своему старшему сыну, вице-директору строительной фирмы, как бывал в Париже, дважды плавал на знаменитом пароходе «Нормандия» в Нью-Йорк, рассказывал, что у него был отличный автомобиль, который реквизировали немцы, и что он на этом автомобиле в субботние вечера ездил в Варшаву проводить воскресный день. Все рассказы его оканчивались одним и тем же: теперь-то немцы у него отняли все — и клиентуру, и практику, и возможность путешествовать, пользоваться удобствами. Немцы забрали и верховую лошадь, и собак, и прекрасное охотничье ружье. Теперь ему приходится самому



болодь дрова, старуха кухарка слишком слаба и стара, а нанимать дровосека у него нет средств.

— Да и притом еще, жаловаться на судьбу я не могу,— говорил Збарский,— многим пришлось хуже, чем мне. Они расстались не только с комфортом, но и с жизнью. Вот в соседнем красном доме жил мой товарищ, инженер Гедройц, еврей по национальности. Его восты и кости его жены и престарелых детей сгорели в лагере Освенцим.

У Збарского имелись определенные взгляды на мировую политику и стратегию войны. Все происходившее в мире лишь подтверждало его взгляды. Грозя пальцем, он говорил:

— Напрасно, напрасно англичане затягивают дела в Италии, им следует двинуться в Австрию, а Красной Армии в это время нужно наступать из Югославии в Грецию.

Когда Казаков возражал, что в генеральных штабах воюющих армий, наверное, лучше видят предстоящие задачи, он говорил:

— Ну, знаете ли,— и смеясь добавлял,— впрочем, если бы не вы с вашими пушками и танками, мои рассуждения недорого стоили бы.

Казаков, слушая его, кивал головой и нет-нет да и рассеянно поглядывал на фотографии адвокатской дочери.

Збарский ловил его взгляд и, забывая, что вчера говорил те же слова, объяснял:

— Вас интересуют, я вижу, фотографии, это моя дочь, она журналистка, спортсменка, чемпион тенниса, получила в тридцать девятом году летом серебряный кубок на состязании в Кракове.

Казаков оживлялся и расспрашивал адвоката о дочери.

Он узнал о ней много подробностей: она говорит по-английски, ей двадцать шесть лет, она была замужем и разошлась, у нее дочь, девочка, теперь живет у родителей бывшего мужа в Познани. Она отлично играет, пишет красками, ее статьи пользовались успехом. В «немецкие» годы она поселилась у старой тетки на хуторе, там тепло, есть творог, сливки, овощи, фрукты. Она ухитряется попрежнему заниматься спортом, кататься на коньках, летом плавать. Когда перед уходом немцы особенно бесчинствовали, она шесть дней вместе с обитателями хутора прожила в лесу, и пишет, что несколько не похудела, а принимала солнечные ванны на лесной поляне и ловила удочкой рыбу. Теперь она собирается пренехать к отцу.

«Эх, черт, не везет мне»,— думал про себя Казаков. Он почему-то вообразил, что, встретившись ему дочь Збарского, она обязательно влюбилась бы в него.

«Да, было бы что вспомнить,— думал он,— было бы и мне что рассказать».

В этот вечер, после шумных рассказов, после прогулки по ночным улицам мимо красивых старинных строений, он особенно сильно почувствовал, как неинтересно сложилась его личная жизнь. Не так, не так! Один из сегодняшних рассказчиков, женатый на летчице-героине, показывал вырезки из армейской газеты, где о ней пишут. Второй рассказывал об интересном знакомстве в Тбилиси с девушкой-профессором, знаменитым хирургом. А со стены, со столиков, из угла, где стояло высокое зеркало, смотрело на него смеющееся лицо молодой женщины с белыми, ровными, плотно посаженными зубами.

Было уже поздно, больше двенадцати ночи, а из комнат, где жил адвокат слышались голоса, видимо, к Збарскому пришел кто-то из знакомых, засиделся и, не имея ночного пропуски, остался ночевать,— так уже несколько раз случалось. Но вскоре голоса затихли. Под дверью Казакова кто-то тихонько покашлял и нежно, видимо, костяшкой пальцев, постучался.

— Вы не спите, товарищ майор?— спросил Збарский. Он произносил слово «майор», делая резкое ударение на первом слоге: «ма-ер».

— Нет, захожу,— сказал Казаков и прикрыл тетрадку газетой.

Вошел Збарский, держа в руках тарелку с большими красивыми яблоками.

— Хочу вас угостить,— сказал он, ставя тарелку на стол,— у меня сегодня торжество: дочь приехала и привезла от сестры целый мешок яблок. Пожалуйста,— сказал он и подошел к тарелке.

Казаков почувствовал, что краснеет.

— Вот как, с дорогой гостьей, дочка, говорит? — ненужно громко спросил он и еще больше покраснел, услыша свой неестественный, какой-то жестяной, и, как ему показалось, неприлично взволнованный и обрадованный голос.

Он уронил на пол зажигалку и хотя ясно видел, что она лежит возле ножки стола, нагнувшись, долго шарил рукой, желая справиться с глупым вопиением.

— Что это вы уронили, зажигалку?— спросил Збарский.— Да, дочка, была когда-то крошечная, теперь взрослая, самостоятельная женщина. Легла спать, устала с дороги, ехала подволом девяносто километров. Завтра я вас познакомлю. Что вы там ищете? Ох, молодой человек, очки вам нужны, я отсюда вижу, где лежит зажигалка!

Он вздохнул, взял с тарелки яблоко и с хрустом стал есть его.

— Подошел к ней пожелать спокойной ночи, а она уже спит, как в детстве. Посмотрел и чуть не заплакал. Вспомнил и бедную

жену, и прошедшие хорошие годы, которые не вернутся.

— Вам теперь легче будет, она вам помогать станет, женщина молодая, здоровая, спортом занималась, — сказал Казаков.

— Нет, нет, — сказал Збарский, — легче на душе будет, а так я ей не позволю ни к чему прикасаться. Да она ведь не надолго — проживет неделю, десять дней и упорхнет в Люблин. Там теперь газеты, редакции, встреча с друзьями.

Он опять вздохнул, взял с тарелки второе яблоко.

— Надо спать. Спокойной ночи. А то я у вас все яблоки съем. Сам принес, сам и съем.

Он простился и ушел, бесшумно шагая, но громко хрустя яблоком, а Казаков взял с тарелки яблоко, разломил его своими сильными пальцами и понюхал. Ему казалось: запах у яблока такой приятный и свежий оттого, что дочь Збарского смотрела на него и, наверное, сама снимала с дерева.

Он лежал на кровати, потушив свет: на стуле светились цифры и стрелки его карманных часов. Казаков не спал: сердце билось сильно, может быть, это яблоки светились ясным зелено-голубым светом? Сердце билось тревожно, но радостно. Так билось у него сердце в зимнюю ночь сорок первого года, когда он совершил памятное и знаменитое в полку путешествие: провел тяжелую огромную пушку в тыл к противнику по глубокому оврагу, засыпанному снегом, и в упор, беглым огнем сокрушил большой немецкий штаб, встречавший Новый год, и еще до рассвета пропутешествовал обратно тем же оврагом.

Он думал: «Почему так нескладно пошла жизнь по личной линии?» Вот кто-то сегодня спросил: «Что ж, Казаков, таинься, не рассказываешь?» Рассказать нечего! Если б не дочка, я, наверное, уже разошелся бы с Анютой. Перерос ее, вот в чем штука! Через месяц буду подполковник, а там, глядишь, и папаху надену, полна грудь орденов. Вдруг назначат после войны начальником гарнизона или комендантом в какой-нибудь заграничный город. Раут или прием торжественный: «Покорная просьба явиться с супругой». Ну как ее покажешь? Заговорят с ней по-английски. Моя не понимает. Может быть, теннис? А она этой ракетки чертовой в руках не держала. Может быть, на рояле угодно поиграть? Нет, что-то сегодня не хочется. Эх, чорт!..»

Он, незаметно для себя, предлагал Анюте занятия, в кои, судя по фотографиям и рассказам старика, отличалась молодая Збарская.

Ему вспомнилось, как в 1940 году в Латвии некоторые жены командиров, приехав из глубокой провинции, не умели носить модные

шляпки, не знали употребления всяких мелких предметцев. И ему все эти пустяки показались необычайно важными, значительными, совершенно необходимыми для правильной и красивой жизни. А сердце билось радостно и тревожно в предчувствии, — нет, даже не в предчувствии, в торжественной и веселой уверенности, что завтра произойдет необычное, неведомое.

Он ясно чувствовал это, словно молодая женщина, спавшая сейчас под одной крышей с ним, обещала уже ему свою любовь. Ему казалось, иначе не могло быть, — ведь десятки удивительных обстоятельств привели его в этот дом, столкнули его с молодой красавицей. Да и не билось бы так у него сердце, не охватило бы радостное смятение, никогда в жизни не испытанное им, если б не ждала его обещанная судьбой любовь.

Он уснул поздно, и снился ему не подходящий влюбленному сон: происходит экзамен в артиллерийском училище, его вызывает приехавший из Москвы инспектор и перед строем задает десятки вопросов, и ни на один Казаков не может ответить. А инспектор держит за руку его дочку Тамару и кричит: «Как заправлены? Где ваши пуговицы? Посмотрите на свои сапоги!» Все смеются, и Тамара смеется, а Казаков отправляется на гауптвахту.

«До чего глупо, однако!» — подумал он, сбрасывая одеяло. И тут же он услышал из соседней комнаты игру на пианино.

«Прослулась!» — подумал он, быстро натягивая брюки. Так как водопровод в городке взорвали немцы и в ванне были сложены дрова, Казаков умывался в комнате: старуха с вечера ставила в угол белый табурет, белый таз, белый кувшин и белое ведро для слива мыльной воды. Поспешно умываясь, чистя зубы, бреясь, подшивая воротничок, он все слушал музыку, то веселую до ярости, то задумчивую и тихую.

«Вот надо зайти, — думал он, — и затеять разговор. Сказать: — Сыграйте мне nokturn Шопена. — Он усмехнулся, представив улыбку женщины: — А вы знаете, что значит слово «ноктюрн»? Взорные мысли, повидному, лезли в голову под впечатлением дурацкого сна об экзамене в артиллерийском училище.

Он опаздывал: к десяти часам его вызывал командир полка.

Поспешно, на ходу надевая и застегивая шинель, Казаков вышел в коридор. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. За пианино сидела молодая женщина в розово-желто-зеленом халате, похожем на пеструю маскиро-вочную одежду разведчика-наблюдателя. Ее смуглая, открытая выше локтя рука была приподнята, пальцы ее нацелены над клавишами. И вдруг, словно Казаков окликнул ее, она рез-

ко повернулась, рука ее, не коснувшись клавишей, опустилась; и она глянула прямо в глаза Казакову долгим, почти суровым взглядом.

Он внешне спокойно поклонился, козырнул, быстро прошел к двери и только, спускаясь по лестнице, шумно и глубоко вздохнул. Теперь ему стало совершенно ясно: любовь с дочерью Збарского — это его судьба. Он понял это по тому, как внезапно повернулась она, он прочел это в ее взгляде, и, думалось, она тоже прочла свою судьбу во взоре майора.

— Точно! Все! — говорил сам себе Казаков, вкладывая в эти обычные армейские слова совершенно новый, поэтический смысл.

Командир полка вызвал Казакова в ту минуту, когда тот входил в помещение штаба. Они давно знали друг друга, — еще до войны полковник Трофимов преподавал в училище, где обучался Казаков.

Трофимов был человек не крепкого здоровья и часто простуживался. И сейчас, протирая кусочком замши пенсне, а затем поглаживая белыми пальцами с розовыми холеными ногтями свою седеющую бородку, он то и дело покашливал и тяжело дышал: повидимому, обострился его вечный фронтальной бронхит.

— Что же, однако, надо ехать, — сказал он, — посмотрим новые пушки.

— Вам бы не следовало, Анатолий Павлович, — сказал Казаков, — вы опять простудитесь, лучше бы переждали денег.

— Да, да, простудился и бессоница привязалась. Всю ночь почти не спал. — Он усмехнулся. — Читал «Войну и мир», кажется, в пятый раз. Ну и, доложу я вам, это не книга, а Великий океан.

— Еще бы, — сказал, подмигивая Казакову, адъютант Лобанов, — такого писателя, сколько мир существует, ни у одного народа не было.

Он вчера в «клубе» рассказывал очень смешную историю и, желая напомнить об этом Казакову, подмигнул.

Трофимов сказал:

— Лаплас мечтал составить дифференциальное уравнение, которое могло бы объять и законы полета воробья, и законы движения небесных тел. Вот, мне думается, наш Лев Толстой достиг этого. Ему все внятно.

Он посмотрел на часы и сказал адъютанту:

— Машина готова?

— Готова, товарищ полковник.

Новые пушки стояли на окраине города, возле кладбища. Трофимов приказал водителю остановить машину у кладбищенских ворот.

— Пройдем пешком, — сказал он.

— Товарищ полковник, тут до конца ограды проехать можно, гораздо ближе будет, вам ведь вредно пешком, — сказал адъютант. Он

терпеть не мог ходить пешком и даже в столовую, находившуюся на соседней улице, ездил всегда на машине.

— Ничего, ничего, погулять полезно, — сказал полковник.

Казаков шел следом за ним по узенькой прямой дорожке, выложенной мозаичным узором из красных, желтых и белых кирпичиков. Казалось, длинный каменный ковер проложен через все кладбище.

— Да-а, культурненько, — нараспев сказал Лобанов, — тут и полежать приятно.

Казаков оглядывал пышные монументы, окруженные чугунами и бронзовыми оградками. Памятники стояли тесно, один к одному. Некоторые памятники поражали своими размерами: особенно тяжелыми и массивными казались гранитные кресты; над многими могилами стояли мраморные и раскрашенные гипсовые скульптуры: ангелы с позолоченными крыльями, дева Мария в голубых одеждах, со склоненной головой. На могильных плитах лежали металлические венки с вечнозелеными листьями.

— Культурно, товарищ полковник, — снова сказал Лобанов.

— Мне, по правде говоря, не нравится, — не оборачиваясь, на ходу проговорил Трофимов. — Я не люблю, когда красят металлы и каменную скульптуру, да особенно в такой ярко-зеленый или небесный цвет. Безвкусно.

Казаков шел молча, оглядываясь, и ему вспоминалось кладбище в Рузаевке, где похоронена его мать: деревянный, некрашенный крест, замшелая скамеечка на тонких круглых ножках, и рядом с ней пыльный куст бузины над могильным холмом, рябина у кладбищенской ограды. И чувство радостного волнения постепенно померкло, полернулось туманом... Он и не знал, что печаль может быть столь спокойна и ясна...

Трофимов внезапно остановился.

— А хорошо бы сейчас дома очутиться, а, товарищ Казаков? — рассмеялся и снова зацагал.

Через маленькую калитку они вышли в поле, направились к рошице, в которую свозились с железной дороги пушки и боеприпасы.

И сразу привычная обстановка охватила Казакова.

«Вот и зима идет, — подумал он, глядя, как с дождевой пылью падают на землю мокрые серые снежинки. — Мир покроется прекрасным белым покровом, и мы очистим, при первых морозах, орудия от пушечного сала, смажем их хорошенько веретенным маслом».

И ему стало приятно, что поэзия зимы прочно связана в его сознании с пушками. Вместе со своими орудиями он встречал и зиму, и весну, и лето, ночевал в лесу и в поле, пере-

ходил быструю реку; он привык думать о них и думать за них, словно они живые, милые, но несколько чужаковатые существа, всегда нуждаются в опеке.

«Такие в книжках описываются старики-ученые,— подумал он,— мыслью они и сильные, а в обычной жизни нуждаются в постоянном уходе, как ребята малые: не знают, надо ли надеть зимнюю шапку или плед, как пройти, не застрявши в грязи, или уберечься от дождя и снега. А вот уже «на огневых» — у себя в кабинетах да на кафедрах — они сильные, непобедимы. Вот так и орудия».

Они пробывли на батареях до темноты,— новые пушки заняли все их мысли. Уже окончив деловую часть, командир батареи пригласил Трофимова и Казакова обогреться к себе в палатку. Там стоял накрытый столик, складные походные стулья.

Трофимов, потирая руки, сказал:

— Какие красавицы! Вы знаете, товарищи, ведь никто в мире, кроме нас, не может создать такую прелесть! Вы подумайте, советую вам, подумайте — ведь в нашей пушке выражен наш народный характер. Сколько в ней скромности, сколько красоты, и не пышной, внешне эффектной, а глубокой, подлинной красоты, сколько в ней сдержанности и какая в ней сила! Вы поглядите на нее, на такую вот, какая она стоит здесь; ее создали люди, знающие огромность русского простора — залвных лугов и болот, степей, песков, полей, люди, знающие метели, осенние дожди, глинистую землю, чернозем, суглинки. Ведь в ее формах запечатлен опыт тысяч странников, ямщиков, чумаков, солдат, если хотите, даже стариков-богомольцев, — ничего лишнего и все необходимое. Она создана, как и народ наш, для дальней, для трудной, для славной дороги. А сила ее — не видно ее как будто, но уж если она заговорит, куда сразу денется медвежья осторожная неторопливость! Когда мы работаем всем огнем нашего полка, мне обычно приходят на ум слова: «Глаза сияют. Лик его ужасен. Движения быстры. Он прекрасен, он весь, как божья гроза». И я думаю, это написано о тяжелом артиллерийском полке.

— Вы, товарищ полковник, говорите о пушке, как будто о живом существе,— сказал адъютант.— Если человек со стороны слушает вас, он подумает, что вы рассказываете о своем друге или родственнике.

— Что ж, такое есть у многих,— сказал Казаков.— Особенно это видно в отношении к пушкам оружейных расчетов. Иной так вокруг пушки ходит, как не станет старуха ходить за коровой, а старик за лошадкой; кажется, вот-вот подложит сенца, чтобы мягче ей спать.

— Да, у меня был на одной батарее Ма-

каркин-наводчик,— сказал Трофимов,— так он и вправду в бою разговаривал с гаубицей: то бормотал, то хвалил, то утешал.

— Макаркин? — спросил командир батареи. — Это мой, точно, он разговаривал, я сам слышал. Он сейчас уже убит. Как это то вариш полковник всех людей своих помнит, удивительно даже,— добавил он, не без умысла польстить Трофимову.

На обратном пути Трофимов сказал негромко Казакову:

— Илья Сергеевич, надо будет поехать осмотреть предполагаемые огневые позиции, скоро ведь выступать.

— Да что вы? Скоро в бой? — спросил Казаков.

— Этим определено пахнет,— сказал Трофимов.— Вот хочу послать Агафьева или, может быть, вы сами поедете. Как вы смотрите? Там уж нас и подождете.

Казаков живо повернулся и смущенно, но решительно сказал:

— Анатолий Павлович, если находите возможным, пошлите Агафьева, мне бы хотелось здесь побывать несколько дней.

— Пожалуйста,— ответил Трофимов.— Мне все равно, вопрос принципиального значения не имеет.

В городе Казаков попросил остановить машину, протиснулся с командиром полка и пошел на квартиру. И то волнение, что охватило его с вечера, вновь пришло к нему. Он нарочно сдерживал шаги, желая испытать себя и успокоить. Он ясно представлял себе, как все пройдет. «Вот и влюбился, вот и влюбился; я не думал, что способен». Ему все казалось ясным. После войны они снова встретятся. Он словно наперед видел, чувствовал, знал свою судьбу. А перед глазами его стояли внимательные, понимающие, ждущие глаза молодой женщины, ее полубожаемая рука. То яркое, необычное, чего он хотел и ждал, пришло к нему.

На углу он встретился с полковым писемнописцем, Терентьевым.

— Товарищ майор,— крикнул почтальон радостно,— вам письмо! — и протянул Казакову большую, тяжелый конверт.

— Решил вам на квартиру снести,— объяснял разговорчивый Терентьев, глядя с тем ласковым и тайным снисхождением, с которым смотрят люди на тех, кому приносят радостные и хорошие вести.— Пришел в штаб сдавать лотку, а сержант дежурный говорит: «Э, жалко,— говорит,— товарищ майор на батарею пошла, а оттуда прямо на квартиру пойдут, только завтра здесь будут». А я говорю: «Нет, давай назад письмо. Товарищ майор больше месяца как писем не имеет. Говори мне адрес, я ему снесу, чего ж ему радости такой до утра

ждать». А мне сходить недолго, сходить не трудно.

— Правильно, — сказал Казаков, желая поскорей кончить разговор, — спасибо тебе.

Он хотел дать Терентьеву закурить, но подумал, что тот станет невыносимо долго и обстоятельно сворачивать самокрутку своими заскорузлыми пальцами, заклеивать ее, потом, застенчиво улыбаясь, спросит: «Огоньку не разрешите ли, товарищ майор?» и снова станет бесконечно долго прикуривать, оберегая огонь от ветра.

— Еще раз спасибо, всего хорошего. Действительно, товарищ Терентьев, писем долго я не имел, — сказал Казаков и пошел к дому.

— А как же, я знаю, долго не имели, я всем письмам счет веду, — сказал ему вслед довольный Терентьев.

Казакову долго не открывали, и он, стоя под дверью, прислушивался. Потом он услышал одновременно медленные и торопливые шаги старухи-прислуги.

Обычно Казаков снимал шинель в своей комнате, но сейчас он разделся в коридоре — сделал он это не случайно, ему хотелось встретить по пути в комнату дочь адвоката — пусть предварительно посмотрит на его ордена. Но никто не встретился ему. Может быть, ее нет дома, ушла гулять или к знакомым? Он прошелся по комнате, потирая замерзшие руки, потрогал белый кувшин, стоявший на белом табурете. Кувшин оказался теплым. Заботливые хозяева налили горячей воды... Как приятно после годов трудной полевой жизни вдруг очутиться в дружелюбной семье, среди людей внимательных и заботливых, да еще в такой культурной, благоустроенной квартире. Правда, уходя, немцы поработали, чтобы оставить по себе след, — испортили и взорвали все, что успели: и электрическую станцию, и газовую станцию, и водопровод, сожгли театр. Но все же город остался городом со всеми своими неистребимыми преимуществами. Казаков зажег лампу, чтобы прочесть письмо. Он еще раз прошел по комнате, от угла к углу. Хотелось есть.

Поспешая домой, он решил не только пропустить обычную вечернюю встречу с товарищами, но и не ходить к обеду. Но тут он понял свою ошибку. Надо бы попросить дежурного по штабу прислать обед на квартиру с красноармейцем. Мало ли что, может ведь и с ним случиться бронхит, такой же, как и у романдира полка. Правда, он обладал действительно непоколебимым здоровьем, никакая болезнь за всю двадцатидевятилетнюю жизнь не приставала к нему. В этом было что-то неприличное, недостаточно интеллигентное, что ли. Вот у Трофимова, интеллигентнейшего человека, каждый раз то бронхит, то перебои сер-

дечные. Даже у сорванца альянтанта Лобанова иногда голова болит, иногда живот или зубы, — он ходит желтый, злой и мрачный.

Казаков нарочно отвлекал себя мыслями о пустяках, а сердце его было, как торжественный колокол, гнало торячую кровь в голову, и в голове шумели мысли, сливались в одну, а эта одна была коротка и проста: «Любовь!» Она стучалась к нему в сердце, он чувал ее приход.

За стеной вдруг послышались звуки рояля. Музыка была внятная и ясная. Казалось, торжественная, печальная душа ее доступна всем людям земли, казалось, ее могли понять и звери в лесу, и птицы на деревьях, да и сами деревья и трава могли понять ее.

Прислушиваясь к траурному маршу Шопена, Казаков вспомнил, как он сегодня шел рядом за Трофимовым по пестрому киршичному коврику.

Он сел на кровать и, вытащив из кармана письмо, поглядел на конверт. Он был уверен, что письмо от Анюты, но адрес был написан незнакомой рукой. Казаков раскрыл конверт и развернул несколько больших листов бумаги, исписанных плотным, косым почерком.

«Батюшки мои, кто это так расписался?» — подумал он, вглядываясь в мелкие буквочки.

И вдруг ему показалось, что в руках его взорвалась граната и его ударило мучительным, ошеломляющим огнем. Глаза его видели лишь первые строки письма: «...теперь, когда после смерти Анюты прошло уже больше четырех месяцев...»

Письмо было от старика-учителя, отца Анюты.

Казаков прочел первые строки, потом посмотрел середину письма, затем конец, потом начал снова читать с первых строк, и опять горестное волнение помешало ему разбирать трудный, мелкий почерк старика. Он прочитывал из письма отдельные фразы, откладывал его, снова брался читать и снова, стиснув зубы, закрывал глаза. А слово «умерла» заполняло его всего, все его тело, легкие, мозг наполнялись невыносимой, вязкой, тяжелой духотой, и он растегнул гимнастерку, стал растирать грудь, чтобы легче стало дышать. А музыка за стеной звучала спокойно и ясно. Старик писал обстоятельно, как летописец, видимо, желая в этой обстоятельности утопить, скрыть свое горе. Ему, видимо, хотелось написать письмо такое же печальное, торжественное и спокойное, как похоронный шопеновский марш, звучащий сейчас за стеной.

Он описывал жизнь Анюты с первых дней войны. Она сразу же в июле поехала на работу в колхоз и стала бригадиршей — работала до октября. Страшной, суровой зимой 1941 года

она работала в горячем цеху на пушечном заводе, хотя врач ей и запретили это, комиссия освободила ее от трудового фронта, признала инвалидом второй группы. Она выходила еще до рассвета, когда было совершенно темно, и шла в железные зимние вьюги семь с половиной километров до завода. А ночью она училась на курсах и в течение зимы стала лучшим чертежником в модельной одного из главных цехов. Ее премировали и несколько раз писали о ней в газете; не только в заводской и городской, но даже в «Правде» была напечатана про нее заметочка. Старик писал, что он прислал бы все эти вырезки и фотографии, но боится, что письмо пропадет, и поэтому лучше сохранить все у себя до конца войны. Тогда он передаст их Казакову при личной встрече.

Потом он писал о Тамаре. Пусть Казаков не беспокоится о ней, она теперь живет у него и учится в той же школе, где он преподает. Он писал, что девочка привязалась к Анюте, словно к родной матери, и до сих пор потихоньку подолгу плачет ночами. Утешать ее трудно: она неразговорчивая, скрытная, гордая. Анюта ухитрилась, тяжело работая, нежно ухаживать за ней, перешивала ей ночами свои платья, следила за ее здоровьем, читала ей вслух, помогала готовить уроки, ходила в городской отдел народного образования хлопотать о переводе Тамары в другую, лучшую школу. Он подробно описывал, как одно время соученицы стали дразнить Тамару за то, что она скуластенькая и косоглазая, и Анюта ходила к зачинщице этого преследования на квартиру, стыдила и убеждала ее, и та покаялась и сделалась лучшей тамариной подружкой. А уж лучшие куски из своего скудного пайка она отдавала девочке, а сама частенько голодала.

Потом он рассказал, сколько хороших слов Анюта говорила об Илье Сергеевиче, как она хранила к его приезду коробочку сардин, коробку хороших папирос, плиточку шоколада и две бутылки вина, все это и сейчас ждет его; тогда он придет с войны, они раскурят папиросы и выпьют вино в память об Анюте, а девочка съест шоколад.

На последней странице старик писал о тех неделях, когда Анюта лежала в больнице. Она написала двенадцать коротеньких писем Илье Сергеевичу и попросила отца каждые две недели после ее смерти посылать на фронт письмецо. «Пусть попозже узнает», сказала она. Потом она взяла с отца слово, что он возьмет к себе Тамару. Кончалось письмо словами: «Думаю, што и вы, и я можем гордиться нашей маленькой Анютой — у нее было настоящее человеческое сердце, скромное, верное, доброе».

Казаков сидел несколько времени неподвижно, потом весь затрясся, зажал себе рот рукой. Музыка за стеной стихла, ему казалось, что могут услышать его плач, и он лег, сунул голову в подушку. Его тело так сильно тряслось, что кровать поскрипывала.

— Любовь моя, любовь, моя Анюта, — говорил он в отчаянии.

Потом он вспомнил, как вчера, подумав об Анюте, сказал себе: «Надо бы пуговицу дюжину ей купить», вспомнил недавние свои мысли и, охваченный страшным стыдом и болью, вскочил, пошел из комнаты, надел шинель и выбежал на улицу. Резкий злой ветер очистил небо от туч, звезды, промытые холодным осенним дождем, светились недобрым стеклянным светом, казались острыми, зазубренными осколками, вонзившимися в небо. Ночное небо давило Казакова, словно над головой встал океан тяжелой и глубокой воды, просоленной всем горем мира.

До полуночи ходил он по улицам, мимо монастыря и старого костела. Иногда он останавливался и смотрел на светлый западный край неба, там восходила луна и горели далекие пожары над германской землей.

— О, лишь бы забыть свои давешние мысли, о, лишь бы увидеть хоть на час, хотя на миг живые глаза, лицо жены.

Он понял в этот самый тяжелый для себя час, что любовь чистая и самоотверженная посетила его, и он не узнал ее, не увидел, собрался искать ее там, где ее не было, потерял ее там, где она была.

Он понял, что и гордость, и сила, и величие побед — все это рождено скромным и терпеливым, любящим и верным, добрым и чистым человеческим сердцем. Как не понимал он этого, как не увидел он этого?

Ночью он пришел в штаб. Все офицеры были в сборе.

— А за вами посыльный пошел, — сказал ему Лобанов и шопотом прибавил: — Приказ получен, полковник ждет вас.

Трофимов посмотрел на Казакова.

— Что с вами? — испуганно спросил он.

— Ничего, личное горе, — сказал Казаков, и губы у него дрогнули. — Я письмо получил. Прошу вас, Анатолий Павлович, не спрашивайте меня пока об этом.

— Слушаюсь, — проговорил Трофимов и, вновь поглядев на Казакова, отвернулся. Потом он сказал:

— Илья Сергеевич, в шесть утра выступаем. И танки выходят через час, пехота тоже двинулась. Говорили мне, даже летчики собираются перебазироваться. Просмотрите порядок движения, проверьте маршрут, распорядитесь относительно маяков.

Перед рассветом Казаков вышел из штаба на улицу. Его окружили офицеры. Все было охвачено веселым и радостным возбуждением. Они смотрели, как тяжелые танки осторожно и медленно двигались по узенькой улице. Земля подрагивала под их тяжестью, окна в домах дребезжали. На повороте улицы танки за мгновение зажигали фары, и в ярком свете вдруг блеснули дула автоматов и каски мотоциклоты.

— Заденет такая машина домик, и не будет домика,— смеясь сказал чей-то голос.— Вот силаща, так силаща.

Казаков подозвал адъютанта штаба.

— Вот записочка хозяйню моей квартиры,— сказал он,— пошлите вестового с машиной за моими вещами. Два чемодана под кроватью, пусть только сложит постель и завернет в газету умывальные принадлежности. У меня времени не будет заскать самому. Я сейчас поеду вместо Агафьева на рекогносцировку местности, сюда уж не вернусь, приеду на новое место.

Когда Казаков, накинув поверх шинели плащ-палатку, сел в машину, к нему подошел старый товарищ его, майор Щеглов. Он осветил фонариком лицо Казакова и сказал:

— Что это ты осунулся так, сыпной тиф перенес? Или это от фонарика так кажется?

Машина медленно выезжала со двора, остановилась, пережидая, пока пройдет танк. Щеглов, держась за борт, наклонился над Казаковым и громко, в самое ухо, перекрикивая шум моторов, спросил:

— Что ж это ты не пришел сегодня на заключительную ассамблею? Мы думали, ты расскажешь про свою любовь. Или не было любви, не о чем рассказывать?

Казаков молчал. Потом он тронул водителя за плечо и сказал:

— Давай вперед, всех танков не переждешь,— и развернул на коленях карту.

Машина резко рванулась с места, так что все сидевшие в ней поклонились, и ушла в темноту.





Верь, мой товарищ! Ведь мы для того  
воевали,  
Старались, мучились, бились в дыму и  
крови,

Чтобы солдаты своих дорогих повстречали,  
Чтобы вернуть разоренную радость любви.

Шепчет седой командир: — Где же Коля  
и Надя?

Выдержи, вытерпи, спрашивать лучше  
не надо!

Скажет читатель: ты мог бы стихов  
своих властью

Сделать счастливым рассказ. Что ж о горе  
опять?

Я и сам бы хотел стать певцом человеческого  
счастья,  
Безмятежной походкой по радостной жизни  
шагать.

Но враги меня сделали яростным, жестким,  
угрюмым.

Много крови потеряно. Горечи много в груди.  
Юго-восточная Пруссия... Дьявол такую  
придумал.

Танки движутся дальше. Седой командир—  
вперед!



Родная! В разлуке — забыться б сном, —  
День — годом, минута — и та длинна.  
На мерзлой стене блиндажа штыком  
Я вырезал имя твое, жена.

Тебя вспоминая, вперед иду, —  
И тают снега, и раскрыт простор.  
Прощальной руки твоей теплоту  
Я чую в руке моей до сих пор.

Шлют ветры привет мне издалека:  
Видали, — ты шла к роднику одна.  
Глоток бы воды из того родника,  
Хоть каплю б из твоего кувшиана...

Ты — в сердце. Но путь к роднику лежит  
Далекий, тернистый, в огне и мгле.

И жажду — мечь — не вода утолит,  
А недруга кровь на прусской земле.

Пройду все германские реки я.  
На белокопытом вернусь коне  
Туда, где нас обнимала струя,  
Как часто река эта снилась мне.

Я знаю: встречая, примешь коня, —  
Нет аргамака на земле быстрее.  
Я знаю: шашку снимешь с меня, —  
Нет златоустинской стали острее.

Я знаю: винтовку возьмешь, — отдам, —  
Из метких самую меткой была.  
О, как ты прильнешь к моим губам,  
Хоть война иссушила их, обожгла.

*Перевод с кумыкского  
С. ОБРАДОВИЧ.*



## Болгарский народ в борьбе за новую Болгарию

### 1. Вековые традиции русско-болгарской дружбы

Невозможно переоценить историческую роль русского народа в национальном возрождении болгарского народа, в создании нового болгарского государства после почти пятивекового иноземного рабства. Тщетными остаются все усилия болгарских фашистов, реакционеров и прихвостней немецкого империализма фальсифицировать историю, вычеркнуть из нее все то, чем болгарский народ обязан великому русскому народу. Немецкие империалисты всегда старались использовать в своих захватнических целях стремление болгарского народа к свободе и независимости. Между тем поддержка, которую получали болгары от русского народа, основывалась на общности интересов, на традициях многовековой дружбы. Эти традиции сложились не только благодаря родственности происхождения и языков обоих народов. Они явились результатом экономического и, особенно, культурного общения русских и болгар на всем протяжении их истории.

Болгары — балканские славяне. Своё наименование они получили от болгарской дружины монгольского происхождения, которая под водительством хана Аспаруха к 680 г. перешла Дунай и вторглась в пределы Византийской империи. В союзе с Аспарухом воинственные славянские племена, населявшие Придунайскую область, сломали византийскую власть и основали первое болгарское государство, признанное Византией в 679 г. Ввиду своей малочисленности болгарская дружина с течением времени славянизировалась полностью, не оставив никаких следов в народном быту, языке и культуре болгарских славян.

На протяжении всей своей истории болгарские славяне оставались соседями русских и поддерживали с ними близкие сношения. При царе Симеоне Великом (893—927) Болгария достигла большого военного могущества и высокого культурного развития. Она охватывала почти весь Балканский полуостров и распространяла свою власть на север вплоть до Польши и Моравии. К этому историческому периоду относятся слова Энгельса о болгарях как о «нации, наиболее сильной и страшной в средние века». В 1018 г. Болгария попала под власть Византийской империи, но после ряда народных восстаний в 1186 г. болгары вернули свою государственную независимость. При царе Асене II (1218—1241) второе болгарское государство снова поднялось до большого могу-

щества. Однако к концу XIV века Болгария распалась на ряд уделов враждующих между собой феодальных князей и настолько ослабла, что не могла противостоять вторжению турок, которыми в 1393 г. она и была завоевана. Под властью турецких султанов, несмотря на многократные попытки к восстанию, болгары оставались непрерывно в течение почти пяти веков; только русско-турецкая война 1877—1878 гг. и победа русского оружия положили конец их национальному порабощению.

Война России с Турцией явилась величайшим событием в истории болгарского народа. Еще в начале войны в Кишиневе были сформированы из добровольцев болгар шесть дружин ополчения, число которых впоследствии было удвоено. Под командованием генерала Столетова они дрались за освобождение своей родины плечом к плечу с русскими войсками. Легендарная Шипка скрепила совместно пролитой кровью русских и болгар боевой союз двух братских народов. 19 февраля (3 марта) 1878 г. мирный договор в Сан-Стефано положил начало третьему по счету болгарскому государству, и с тех пор болгарский народ чествует этот день как национальный праздник.

Так нашла себе историческое подтверждение глубокая вера болгар в то, что они получают свободу от «дедушки Ивана», т. е. от России<sup>1</sup>. Замечательные памятники в ознаменование русско-турецкой войны и в увековечение памяти павших русских воинов, памятники в Софии, в Плевне, на Шипке — повсюду в стране, где происходили сражения, свидетельствуют о глубокой признательности болгарского народа русскому народу, заплатившему жизнью двухсот тысяч своих сыновей за его свободу. Но лучший памятник — это чувство глубочайшей благодарности и любви к своим братьям-освободителям, заложенное в сердце каждого свободолюбивого болгарина.

Сан-стефанский договор устанавливал полную независимость Сербии, Румынии и Черногории от турецких султанов. Вместе с тем он создавал полунезависимую значительную по размерам Болгарию, охватывавшую, кроме нынешней Болгарии, еще всю Македонию и Западную Фракию. Тем самым почти полностью была ликвидирована султанская власть над христианским нетурецким населением на Балканах. Но вслед за заключением договора воз-

<sup>1</sup> Академик Н. С. Державин. Племенные и культурные связи болгарского и русского народов, 1944, стр. 81.

ликли серьезные трения между державами. Англия не хотела Великой Болгарии, которая представлялась ей чуть ли не вассалом России; Австрия, стремившаяся получить часть добычи, сделала в сан-стефанской Болгарии претензии на южном пути экспансии к Салоникам и Эгейскому морю. Их поддержала Германия, в политике которой уже тогда обнаруживались стремления немецких империалистов продвигаться возможно дальше на восток.

Собравшиеся на конгресс в Берлине (июнь—июль 1878 г.) великие державы аннулировали сан-стефанский договор и расчленили освобожденную Россией Болгарию. Македония и Западная Фракия были снова подчинены турецкому владычеству. Южная Болгария была объявлена автономной областью, управляемой губернатором по назначению султана, и только придунайская Болгария образовала отдельное княжество, вассальное султану.

«В Сан-Стефано,— пишет Лависс и Рамбо в своей «Истории XIX века»,— Россия стремилась обеспечить освобождение всех христиан; в Берлине не считалась ни с справедливостью, ни с волей народов, ни даже со здравым смыслом и общими интересами. Заключительный акт является памятником эгоизма, делом взаимной зависти и личных счетов, делом безнравственным и жалким, потому что, нисколько не обеспечивая мира, он подготовил лишь многочисленные поводы для конфликтов и войн в будущем. Болгарский вопрос, македонский вопрос, вопрос о Боснии и Герцеговине... вот итоги европейской дипломатии на Берлинском конгрессе»<sup>1</sup>.

Реакцией болгарского народа на глубоко несправедливое решение Берлинского конгресса была его длительная и упорная борьба за национальное объединение. Уже 6 (18) сентября 1885 г. Южная Болгария восстала, изгнала султанского губернатора и провозгласила свое воссоединение с Северной Болгарией. Вторым важным шагом было провозглашение независимости Болгарии, последовавшее 22 сентября (5 октября) 1908 г. Россия и в этот критический момент помогла Болгарии избежать столкновения с Турцией, выступив в роли посредника при урегулировании возникших финансовых споров<sup>2</sup>.

Вторичное освобождение Македонии и Фракии от султанского ига произошло в результате балканской войны 1912—1913 гг. При деятельном посредничестве русской дипломатии 13 марта 1912 г. между Болгарией и Сербией был заключен союз, обеспечивавший почти полностью национальные интересы болгар. К этому союзу примкнули также Черногория и Греция. Россия из своих складов отпустила оружие, амуницию и обмундирование для болгарской армии. Пользуясь всемерной поддержкой России, балканские союзники нанесли дальное поражение войскам султана и оттеснили их вплоть до Константинополя и Дарданелл. Если балканская освободительная война и выродилась впоследствии в войну между союзни-

ками, закончившуюся поражением Болгарии, то здесь опять оказались интриги немецких империалистов, выбравших своим орудием болгарского царя Фердинанда.

Освобождение Болгарии от турецкого ига с помощью русского оружия сделало неразрывными вековые связи между русским и болгарским народами и расширило культурное общение обоих народов, причем, если в древнюю эпоху болгарская культура оказывала влияние на русскую, то теперь, вплоть до наших дней, могучее влияние России охватывает все области духовной и политической жизни болгарского народа<sup>1</sup>.

Дело национального возрождения болгар и освобождения их от иноземного владычества нашло широкую поддержку в русском народе. На русской литературе, понятной для болгар, в русских школах и в университетах воспитывалась болгарская передовая интеллигенция. Достаточно назвать таких крупных национальных деятелей и литераторов, как Жинзифова, Миледионова, Друмева, Чунтулова, Дринова, Каравелова, Ботева, Вазова, Алеко Константинова, Благоева, получивших образование или живших в России, чтобы оценить значение русской литературы и русской общественной мысли для национального и политического возрождения болгар. «Начиная с 50-х годов прошлого века и вплоть до 20—30 лет тому назад,— пишет историк болгарской литературы Анголов,— русская школа и литература сохраняют свое полное и исключительное господство у нас»<sup>2</sup>.

Под влиянием русской литературы и русского языка формировался новый литературный болгарский язык, в котором болгарские филологи насчитывают более двух тысяч русских слов.

В связи с этим проф. Цонев доказывал, что благодаря русскому языку и литературе болгары интеллектуально подынялись гораздо быстрее, чем если бы заимствования и культурный рост опирались на немецкую или французскую литературы. «Легионы русских книг, газет и журналов, поступающих постоянно на нашу землю,— писал тот же автор в 1902 г.,— постепенно освобождают болгарский дух от невежества, точно так же как легионы русских войск освободили болгарский народ от рабства... Через русскую книгу мы очень рано усвоили множество культурных понятий, очень легко познакомились с русской и европейской мы-

<sup>1</sup> О влиянии древнеболгарской культуры на культурную жизнь Киевской Руси см. в сочинении Н. С. Державин в цитированном выше сочинении. О культурном вкладе болгар в русскую письменность и древнерусскую литературу см. также: А. А. Шахматов. Очерк коверменного русского литературного языка, 1891; С. П. Обнорский. Русская правда, как памятник русского литературного языка, 1934; академик А. С. Орлов. Лекции по истории древнерусской литературы, стр. 16—18; История СССР, т. I, под редакцией проф. Лебедева и др., стр. 99; М. Н. Сперанский и др. Деления истории русской литературы и пр., стр. 207—208 и др.

<sup>2</sup> Б. Анголов. История на българската литература, 1933, ч. II, стр. 21.

<sup>1</sup> Лависс и Рамбо, т. VII, изд. 1937 г., стр. 365.

<sup>2</sup> Соглашение по финансовым вопросам, заключенное 19 апреля 1909 г. См. проф. Ю. В. Ключников и А. Сабанин. Международная политика новейшего времени и пр., 1925, ч. I-я, стр. 343.

силу, словом, в короткое время подняли народный интеллект»<sup>1</sup>.

Через русскую литературу XIX века преимущественно проникали в Болгарию идеи французской революции. Огромное влияние оказывали на болгарскую интеллигенцию великие русские писатели, толкавшие ее на борьбу с обскурантизмом и тиранией. Вожди болгарской национальной революции Ражковский, Каразалева, Ботев. Левский воспитывались под влиянием русских писателей-революционеров—Чернышевского, Добролюбова, Герцена.

Русская демократическая общественность с оптимизмом следит за национальным пробуждением и революционной борьбой болгарского народа и всемерно помогала ему, что находило отражение в сочинениях многих русских писателей той эпохи (например, в сочинениях Пушкина, Дала, Тургенева, Гаршина и мн. др.)<sup>2</sup>, в замечательных картинах Верещагина (его болгарская коллекция) и пр. Русские ученые Юрий Венелин, Ф. Ц. Успенский, В. Г. Васильевский, Погодин и др., не говоря уже о М. Дринове, разрабатывали историю болгарского народа. Интерес к истории Болгарии, как об этом свидетельствуют работы советских ученых, академика Н. С. Державина, А. В. Мишулина, В. Т. Горянова и др., возрос еще больше в советскую эпоху.

В освобожденной от турецкого ига Болгарии, после того как учредительное собрание 1879 г. в Великом Тырневе приняло одну из самых демократических для того времени конституций, народное образование стало распространяться еще шире. Учителя для гимназий и профессора приглашались из России, а чаще всего выбирались среди русской прогрессивной эмиграции. При отсутствии учебников на болгарском языке в гимназиях употреблялись русские учебники<sup>3</sup>. Сочинениями лучших русских писателей заполнялись народные и школьные библиотеки. Широко распространение получила русская нелегальная литература. Началась горячка переводов с русского языка. Новое поколение болгарской интеллигенции воспитывалось на русской литературе и через русскую литературу знакомились с современной международной жизнью и общественно-политическими движениями Европы.

Несмотря на то, что глубокие симпатии болгарского народа к русскому народу часто использовались реакцией в противонародных целях, ободрающая духовная струя неослабно проникала из России, где могучие демократические силы находились на подъеме и собирались атаковать бастион реакции.

На русской революционной и, особенно, на марксистской литературе воспитывалась болгарская революционная социал-демократия. Благоев, основатель болгарской социал-демократии, ознакомился с «Капиталом» Маркса на русском языке и получил первый опыт социалистической пропаганды среди рабочих, бу-

дучи студентом в Петербурге. В начальном периоде оформления марксистского мировоззрения революционных социалистов-тесняков этому способствовали преимущественно труды Плеханова. В дни первой мировой войны тесняки под влиянием большевиков укрепили свою антиимпериалистическую позицию. Великая Октябрьская революция оказала глубочайшее влияние на мировоззрение и деятельность всех передовых элементов рабочего движения. Учение Ленина—Сталина помогло болгарским марксистам-теснякам сформироваться в коммунистическую партию ленинского типа.

Традиции многовековой дружбы русского и болгарского народов настолько сильны и неоспоримы, что даже фашистские фальсификаторы истории, несмотря на все свои старания, не могут игнорировать их полностью. Однако фашистская пропаганда пытается отнестись к симпатии болгарского народа за счет старой, царской России, за счет царского самодержавия, утверждая, что они не относятся к новой, Советской России. С другой стороны, фашистские мошенники вопят на всех перекрестках, что советское правительство якобы продолжает «империалистическую политику» царского самодержавия и угрожает независимости Болгарии.

В действительности болгарский народ в своей массе горячо приветствовал Великую Октябрьскую революцию, потому что вместе с низвержением власти помещиков и капиталистов она вырвала и корни империализма царской России. Большинство народа понимало, что социалистическая революция в России не только не угрожает традиционной дружбе русского и болгарского народов, а наоборот, укрепляет ее и что с установлением советской власти не может быть и речи о какой бы то ни было империалистической политике России. В 1918 г. болгарские солдаты брательничали на фронтах с русскими солдатами.

Подвляющее большинство народа было возмущено политикой реакционных кругов Болгарии, поддерживавших интервенцию против Советской России. В 1919 г. буржуазное правительство отдало под суд весь состав ЦК коммунистической партии Болгарии за разоблачение им этой политики. Под нажимом массового народного движения в 1922 г. правительство Стамбульского выгнало штаб врангелевцев, руководимый белогвардейскими генералами Кутеповым, Самохваловым, Вязмитиным и пытавшийся создать в Болгарии базу для интервенции против Советов. В первой половине 1923 г. в Болгарию был допущен представитель советского Красного Креста, что явилось первым шагом к установлению дружественных отношений с советским правительством. Но канковский фашистский переворот (9 июня 1923 г.), свергнув конституционное правительство Стамбульского, снова ухудшил отношения Болгарии с Советской Россией, в лишь в 1934 г. обе страны обменялись дипломатическими представителями.

После низвержения царизма и установления советской власти для болгарских реакционеров отпала реальная возможность использовать русское влияние в своих целях. Все, что шло из России, было направлено в сторону прогресса, демократии и гуманизма. Это, конечно, увеличивало симпатии болгарского народа к советскому государству и ко всему советскому народу.

<sup>1</sup> Цитата приведена в вышеупомянутой книжке акад. Н. С. Державина.

<sup>2</sup> Роман Йорша «На рассвете» из жизни и борьбы болгарских революционеров имел широкое распространение в рабочей, демократической среде России в 90-х годах прошлого века.

<sup>3</sup> Пишущий эти строки учился в болгарской гимназии в Варне по «Всеобщей истории» Иловайского, по алгебре Давидова и пр.

Советская гуманистическая литература, несмотря на цензуру и дикую антисоветскую травлю, приобрела огромное влияние в Болгарии. Горький, Маяковский, Шолохов, Алексей Толстой и прочие корифеи советской литературы стали любимыми писателями болгарской интеллигенции. Она учится на примере великого исторического дела Сталина и его соратников, на замечательных достижениях социалистического творчества.

Советское правительство в противовес империалистическим правительствам аннулировало всю задолженность Болгарии царской России, составлявшую около 90 миллионов франков.

Тяга трудящихся Болгарии к Советской стране была исключительная. Каждый год к Первому мая и ко дню годовщины Великой Октябрьской революции советские профсоюзы приглашали болгарских рабочих и крестьян прислать делегацию в СССР. Болгары горячо отзывались на приглашения, выбирали делегатов, вырабатывали указы, собирали средства. Но реакционные правительства систематически конфисковывали собранные деньги, опасаясь, что делегаты, вернувшись на родину, разнесут по всей стране правду о Советском Союзе.

Вторая мировая война нарушила торговлю Болгарии с западными державами. Тогда для смягчения усугубляющегося кризиса болгарское правительство впервые решилось искать поддержку в СССР. По настоянию некоторых торгово-промышленных кругов, а главным образом под нажимом народных масс, было заключено торговое соглашение с Советским Союзом. О нем Божилков, тогда министр финансов, заявил, что «это самый благоприятный договор, который когда-либо заключала Болгария<sup>1</sup>. Договор был прямой противоположностью тех торговых соглашений, которые впоследствии немские хищники навязывали Болгарии. Советское правительство содействовало также добровольному возвращению Румынии Южной Добруджи, насильственно оторванной от Болгарии после балканской войны 1912—1913 гг.

На дружественное и благожелательное отношение советского правительства к Болгарии народ отвечал бурным выражением овсяих симпатий к братскому народу. Не считаясь с рождатками фашистского режима, всеми путями он высказывал, как сильно он дорожит дружбой с Советским Союзом и как высоко ценит культуру русского народа. Изувеченные цензурой, советские фильмы привлекали огромные массы зрителей, и каждое представление превращалось в слепую демонстрацию симпатий к Советской стране и ее руководителям. Газета «Известия», единственная из советских газет допускавшаяся в страну, распространялась в 10 000 экземпляров в одной Софии. То, что проникало в страну из советской литературы,

буквально расхватывалось. Посещение Софии советскими футболистами превратилось в мощную демонстрацию дружбы и симпатии к Советской России: жители болгарской столицы устроили восторженную встречу русским спортсменам.

Болгарский народ чувствовал приближение военной угрозы и, в массе своей не одобряя гонимости правительства к гитлеровской Германии, требовал укрепления дружбы с Советским Союзом. Просоветское движение в стране было так сильно, что на парламентских выборах в 1940 г. правительство царя Бориса вынуждено было обещать, что оно и в дальнейшем будет вести дружественную политику по отношению к Советскому Союзу. Несмотря на террор, кандидаты противофашистского блока получили огромное число голосов, и в парламенте появилась сильная антифашистская группа. Когда в конце 1940 г. стало известно, что советское правительство расположено заключить пакт о дружбе с Болгарией, подавляющее большинство народа в той или другой форме высказалось за такой пакт и требовало от правительства немедленного его заключения. Это был настоящий публицит в пользу пакта о дружбе и взаимной поддержке с Советским Союзом и против подготавливаемого правительством союза с гитлеровской Германией.

1 марта 1941 г. правительство против воли народа пустило немецкие войска в страну. Гитлеровские разбойники сразу почувствовали, что они окружены здесь враждебной атмосферой. Напрасно фашистская лжепропаганда пыталась изображать немцев «искренними друзьями» болгарского народа. Народные массы демонстративно выражали свои симпатии Советскому Союзу. Даже маршал фон Лист, по словам иностранных корреспондентов, жаловался, что «его солдаты в Болгарии чувствуют себя, как в Советской стране».

Немецкая оккупация только усилила ненависть болгарского народа к немецким разбойникам и укрепила еще более его симпатии к русскому народу.

## 2. Как Болгария оказалась в гитлеровском лагере

При столь глубоких корнях дружбы Болгарии и России естественно было ожидать, что в войне свободолубивых народов против разбойничьей Германии Болгария будет на стороне своего освободителя и друга — великого русского народа. Однако Болгария оказалась в лагере смертельных врагов Советского Союза. В лагере врагов России она участвовала и в первой мировой войне. Болгария в течение тридцати лет служила опорой немецкого империализма, и понадобилось вступление Красной Армии на болгарскую территорию, чтобы Болгария порвала отношения с Германией.

По своему хозяйственному укладу Болгария осталась преимущественно аграрной, мелкокрестьянской страной со слабо развитой промышленностью и отсталой техникой. Германские империалисты использовали хозяйственную и культурную отсталость страны, ее примитивные социальные отношения и включили ее в сферу своих интересов.

Ввиду своего выгодного географического положения на пути к заманчивому Востоку и в

<sup>1</sup> Торговый договор 1940 г. обеспечивал выгоднейший рынок для значительной части болгарского вывоза. Он способствовал почти полной ликвидации безработицы в текстильной промышленности, получившей огромный заказ и необходимое сырье от Советского Союза. Вместе с тем он обеспечивал повышение заработной платы рабочим.

тылу прочих балканских государств Болгария играла важную роль в захватнических планах германского империализма.

Задавшись целью поработить Балканы, которые они объявили «жизненным пространством» Германии, немецкие империалисты еще во время первой мировой войны наложили лапу на Болгарию<sup>1</sup>.

Готовясь к новой реваншистской войне, они укрепляли свои хозяйственные и политические позиции в ней. В 1939 г. Германия имела в своих руках больше 65 процентов экспорта и импорта Болгарии. Немецкая династия Кобургов на болгарском королевском троне, связанная с реакционными и империалистическими кругами Германии, сыграла роковую роль в судьбах болгарского народа.

Одной из главных забот немецкого ставленника, короля Фердинанда, был подрыв органической связи болгарского народа с Россией, так как эта связь мешала немецкому продвижению на восток. Окружив себя наиболее алчными и шовинистическими элементами буржуазии, Фердинанд особенно старался привязать к своему трону болгарское офицерство, превратить его в привилегированную, лично им облагодетельствованную и преданную ему касту. Опираясь на армию и меняя по своему усмотрению министров, Фердинанд фактически сконцентрировал всю власть в своих руках.

Предательская роль Фердинанда как немецкого агента стала ясна еще во время балканской войны 1912—1913 гг. В интересах немецкой олигархии он предательски сорвал Балканский союз, одержавший блестящую победу над турками, что привело к жестокому поражению и неслыханной катастрофе Болгарии<sup>2</sup>.

В качестве немецкого агента выступил Фердинанд и в мировой войне 1914—1918 гг., закончившейся для Болгарии еще более тяжелым поражением и новой катастрофой.

Война 1912—1913 и 1914—1918 гг. потребовала от Болгарии колоссального напряжения сил. 20 процентов населения было мобилизовано в армию. Лишь убитыми страна потеряла больше 150 тысяч человек. Она лишилась богатейших областей: Южной Добруджи, Западной Фракии и значительной части Македонии. Кроме того, она должна была уплатить тяжелые военные контрибуции. Войны привели Болгарию к полнейшему разорению.

Характерно, что Фердинанд, этот подлый немецкий агент, подвергнув в 1915 г. величайшему риску будущее болгарского народа, позаботился застраховать свое личное состояние от

каких-либо потерь в случае поражения. Берлинские хозяева гарантировали ему возмещение его личных хранившихся в Лондоне миллионов на случай конфискации их английским правительством. Сверх того в 1918 г. немцы пожаловали ему пожизненную пенсию в миллион марок.

В сентябре 1918 г. болгарская армия, находившаяся на Македонском фронте, восстала и тронулась на Софию, чтобы покарать виновников войны. В октябре испугавшийся Фердинанд бежал в Германию, оставив, однако, на болгарском троне своего сына Бориса.

Царь Борис продолжил реакционную и предательскую политику своего отца и даже превзошел его во многих отношениях. При его содействии во время военно-фашистского переворота 9 июня 1923 г. было низвергнуто правительство Стамбулуйского, казавшееся опасным для монархии и plutократии. Царствование Бориса отмечено массовой резней передовых элементов болгарского народа, беспощадным истреблением его вождей. Лишь за два года (1923—1925 гг.) в борьбе с фашистской реакцией погибло 30 тысяч крестьян, рабочих и интеллигентов. В своей книге «Палачи» Апри Барбов заклимил перед лицом всего мира кровавую «цанковщину», с которой неразрывно связано имя царя Бориса.

Реакционная клика Бориса разгромила и затретила самые сильные и популярные партии — Крестьянский союз и коммунистическую партию. Реакционеры распустили также профсоюзы и запретили рабочую печать. Обескровив и обезглавив народ, дезорганизовав и ослабив его сопротивление, Борис распустил впоследствии все демократические организации, ликвидировал остатки демократических свобод, фактически отменил конституцию и под ширмой «беспартийного режима» установил монархо-фашистскую диктатуру.

Борис допустил гнуснейшую коррупцию в стране. Охраняя свою власть террором и убийствами из-за угла, он окружил себя шайкой ступенивших бюрократов, воров и палачей. Он зорко следил за настроением в армии и систематически изгонял оттуда казавшихся ему неблагонадежными офицеров — антифашистов, республиканцев, демократов.

Благодаря режиму, установленному Борисом, немецкие хищники, начав порабощение Болгарии при Фердинанде, еще крепче обосновались в стране. К началу 1941 г., когда правительство Бориса тайно от народа примкнуло к Германии, настоящими хозяевами в стране стали крупные немецкие банки — Дейче банк и Дрезденер банк. Германия наложила свою руку на внешнюю торговлю Болгарии. Одно за другим захватывали немецкие тресты промышленные предприятия и рудники, подчиняли себе сельское хозяйство страны. В Болгарии развернули во всю свои хищнические операции германский строительный трест «Тодт», горный трест «Герман Геринг», химический трест «И. Г. Фарбен индустри», табачный трест «Балкантабак», электрические тресты «АЕГ» и «Сименс», тресты «Мандель и К<sup>о</sup>» и «Соля» и пр.

Пользуясь поддержкой царя Бориса, немцы привлекали к «сотрудничеству» болгарские банки и использовали их в своих целях. Дейче банк расширил свой филиал в Софии, превра-

<sup>1</sup> В книге Малеева Л. «Приносъ къмъ истината за катастрофата на България», содержится много материалов и документов о наглом хозяйничаньи немцев в Болгарии в 1915—1918 гг.

<sup>2</sup> Немецкий историк Ганс Мадоль в своей книге о Фердинанде на стр. 206 приводит текст доклада графа Берхгольда австрийскому императору о своем доверительном разговоре с Фердинандом 6 ноября 1913 г. Фердинанд сказал ему, что вторая балканская война была в интересах Австрии и что «если дела пошли бы так, как он хотел», то Австрия получила бы «свободный путь до Салоник».

тив его в могущественный немецко-болгарский кредитный банк. Дрезденер банк приобрел в качестве филиала старейший Болгарский торговый банк, контролировавший большую часть промышленных и торговых предприятий Болгарии. Банк «Болгарский кредит», основанный в 1934 г. при участии государства, путем слияния 21 частного банка, тоже стал «сотрудничать» в полном объеме с германскими банками и трестами. Кроме того, немецкие предприятия пользовались неограниченным кредитом в Болгарском национальном банке и его всяческим содействием.

Таким образом часть крупных болгарских капиталистов, спекулянтов и хищников пошла по пути предательства интересов Болгарии и сотрудничества с немецкими империалистами в деле ограбления болгарского народа и закабаления страны. Болгарские плутократы, связанные с немецкими трестами, стали яркими сторонниками проитлеровского курса царя Бориса и его правительства, вытеснив те группы болгарской буржуазии, которые были связаны с англо-французским и американским капиталом.

Наряду с этим в условиях фашистской диктатуры, пользуясь широкими возможностями для воровства, расплодилось многочисленная свора паразитических элементов — комиссионеров, посредников, спекулянтов, крупных и мелких воров, взяточников, продажных журналистов и «политических деятелей». Своим зарождением и существованием эти гнусные элементы целиком обязаны проитлеровскому курсу Болгарии.

По словам крупного болгарского буржуазного деятеля, добрая половина болгарских шельфов и депутатов парламента была куплена немцами. Немцами были подкуплены также высшие чиновники, журналисты, ученые, публицисты. Сотни миллионов шли в карманы высокопоставленных комиссионеров за то, что они принимали от Германии устаревшее вооружение для болгарской армии по высоким ценам или же выполняли заказы германского военного командования по строительству стратегических путей за счет болгарской казны.

Когда гитлеровские разбойники собирались нагнать на Балканы, они упустили в ход все средства, чтобы в болгарском правительстве оказались верные им люди. Царь Борис выдвинул на пост премьер-министра Богдана Филова, бывшего директора археологического музея, и позаботился о том, чтобы во главе армии и полиции стояли преданные ему люди вроде генералов Михова и Лукаша, палача Габровского.

Германские банки и тресты, захватившие важные позиции в хозяйственной жизни страны; болгарская финансовая олигархия и наиболее хищные группы промышленных капиталистов, сотрудничавшие с немцами в деле ограбления своего же народа; Кобургская династия и дворцовая камарилья, являвшаяся немецкой агентурой, вместе с фашистской сворой разнокалиберных жуликов, — вот те силы, которые, располагая властью и используя государственные аппараты, сумели заглушить народную оппозицию и вовлечь Болгарию в войну на стороне гитлеровской Германии.

Для этой цели Гитлер всемерно использовал также существовавшую рознь и соперничество

между балканскими странами. Спекулируя на хищных аппетитах разного рода шовинистов, фашистские дипломаты вели сложную игру во всех балканских столицах, чтобы добиться роли верховного арбитра в спорах между Болгарией, Югославией и Грецией, подобно тому как это им удалось при споре между Румынией и Венгрией.

Царю Борису и великоболгарским шовинистам Гитлер соглашался отдать Македонию, Западную Фракию и часть Сербии, если Болгария присоединится к странам «оси» и если она предоставит свою территорию в распоряжение немецких войск. Одновременно великосербским шовинистам на тех же условиях не только гарантировалась целостность югославской территории, но вдобавок еще обещалось предоставить выход к Эгейскому морю за счет Греции. В то же время Гитлер заверял Грецию, что он будет оберегать ее от болгарских и сербских домогательств, если она допустит немецкие войска на свою территорию.

После того как армии Югославии и Греции были разбиты, царь Борис с согласия Гитлера занял Западную Фракию и Македонию. Но всякий раз, как только софийское правительство пыталось сопротивляться возрастающим требованиям немцев, Гитлер через своих холопов в Афинах и Белграде напоминал ему, что «окончательная судьба» захваченных ими земель по-прежнему находится в руках Германии. Задача Гитлера в Болгарии облегчалась тем обстоятельством, что тут еще свежи были воспоминания о потерянных после войн 1912—1913 и 1914—1918 гг. Македонии, Западной Фракии, Южной Добрудже.

«Объединение Болгарии», «идеалы болгарского народа» явились той ширмой, за которой правящая монархическая фашистская шайка подготовила и совершила свою сделку с немецкими разбойниками в надежде на обогащение за счет ограбления «новых земель».

Болгарский народ чувствовал, что под флагом «национального объединения» гитлеровская банда, поработившая Европу и добившаяся мирового господства, готовила Болгарии рабство и кабалу. Чтобы усилить эти опасения народных масс, правительство мобилизовало всю фашистскую печать и поручило своим «ученым» доказать «извечную дружбу», якобы существующую между немцами и болгарским народом. С этой целью фашистские подручные, не останавливаясь ни перед какими извращениями, перекроили на свой лад всю болгарскую историю.

Вместе с тем фашистские «стратеги» всячески возвеличивали германскую армию, доказывая, что война должна закончиться быстрой и полной победой Гитлера без военного вмешательства Болгарии. Правительство уверяло, что «дружба» с гитлеровской Германией является «гарантией сохранения мира на Балканах».

Промекацкая лжепропаганда, призванная подорвать сопротивление народных масс подготовляющемуся предательству, без сомнения, возымела свое действие на некоторые отсталые слои, а также на колеблющиеся элементы из интеллигенции и офицерства. Фашистским аргументам поддавались особенно те люди, которые надеялись устроиться чиновниками на «новых землях», соблазненные легкой наживой.



Но в массе своей болгарский народ остался непоколебимым. Испытав уже раньше ужасы фашистской тирании, он глубоко ненавидел немецкую военщину вообще, а гитлеровских кровавых выродков особенно. Видя явную опасность порабощения, он настойчиво добивался заключения пакта о дружбе с Советским Союзом, усматривая в советском государстве единственную надежную опору своей независимости и процветания.

Некоторые слои промышленной буржуазии также понимали, насколько гибельны для Болгарии фашистские планы превращения страны в аграрную провинцию империалистической Германии<sup>1</sup>.

Однако фашистская клика отвечала на возрастающую оппозицию народных масс усилением террора и проведением политики «раздела и властвуй» в отношении к оппозиции. Царь Борис и Филев приурочили формальное присоединение Болгарии к странам фашистской «оси» к моменту вторжения германских войск в пределы страны. Они стремились противопоставить народному гневу гитлеровские пушки, танки и самолеты. Когда Филев объявил в парламенте, что 1 марта 1941 г. им подписан трехсторонний пакт, немецкие моторизованные дивизии уже переходили Дунай, а немецкие бомбардировщики стояли в боевой готовности на болгарских аэродромах.

Своей ногой от 4 марта 1941 г. советское правительство предупредило болгарских ставленников Гитлера, что эти их шаги будут иметь тяжелые последствия для Болгарии. Эти предупреждения полностью оправдались дальнейшим ходом событий.

### 3. Гитлеровский «новый порядок» и участие Болгарии в войне как союзника Германии

Позорно участие Болгарии в течение трех с половиной лет в войне против свободлюбивых народов в качестве «союзника» и сообщника гитлеровской Германии.

Болгария пропустила через свою территорию германскую армию к границам Югославии и Греции и тем помогла Гитлеру разгромить эти страны.

Болгария оккупировала Западную Фракию, Македонию, большую часть Сербии и тем взяла на себя роль гитлеровского жандарма в этих областях, помогая гитлеровским разбойникам душить освободительную борьбу югославского и греческого народов.

В декабре 1941 г. болгарское правительство объявило состояние войны между Болгарией, с одной стороны, и Англией и США — с другой. Для того чтобы обмануть народ, оно назвало эту войну «символической войной». На деле это было величайшей провокацией по отношению к двум мировым державам, последствия которой болгарский народ испытал, когда англо-американская авиация обрушилась на Болгарию и почти полностью разрушила ее столицу. Своим преступным актом болгарское правительство включило Болгарию в качестве немецкого плацдарма в так называемую «европейскую крепость» Гитлера и отдало ее во власть германского командования. Немцы обосновались в стране как настоящие хозяева, установили свои штабы, свою связь, взяли под контроль железные дороги и морские пристани. Аэродромы и противовоздушная оборона, по-

зorno проваливавшаяся при защите Софии от налетов англо-американской авиации, тоже перешли в руки немцев. В важнейших городах и в пограничных районах находились немецкие войска.

Немецкие империалисты широко использовали все богатства и ресурсы страны, преимущественно продукты земледелия и скотоводства, для ведения своей разбойничьей войны против свободлюбивых наций. По существу, Болгария была оккупирована немцами.

Правда, болгарские правители не решились объявить формальную войну Советскому Союзу. Учитывая глубокие прорусские симпатии народа и антинемецкие настроения в армии, боясь за свою власть, Борис и Филев отказались послать требуемые Гитлером десять болгарских дивизий на советско-германский фронт. Но на деле болгарское правительство помогало Германии в войне против Советского Союза.

Немцы заняли черноморское побережье Болгарии и создали здесь военно-морские базы и аэродромы. Судостроительная верфь в Варне перешла в руки немцев, в их распоряжение были переданы также болгарские транспортные суда. В Варне были сосредоточены немецкие подлодки и большое количество торпедных катеров и самоходных десантных барж. С болгарских аэродромов поднимались немецкие самолеты для боевых операций против СССР, по железным дорогам Болгарии перевозились немецкие войсковые части и боевое снаряжение для советско-германского фронта. Болгария кормила немецкую армию, отправляемую против Советского Союза. Позже, когда немецкая армия была разгромлена на юге и в Крыму, болгарские правители помогли немцам спасти остатки своих войск, предоставляя им убежище на болгарской территории.

Болгарское правительство помогало немцам еще тем, что посланные им оккупационные войска в Югославию и Грецию освобождали немалое число немецких дивизий для отправления на советско-германский фронт.

Еще в сентябре 1941 г. советское правительство особой нотой разоблачило нелояльность «позиции и действий болгарского правительства по отношению к Советскому Союзу», перечислив целый ряд бесспорных фактов, доказывающих, что Болгария превратилась в плацдарм для развертывания военных действий против Советского Союза со стороны Германии. Но это не остановило враждебных действий болгарских правителей. Не раз в течение войны советское правительство предупреждало Болгарию об опасности ее «союза» с гитлеровской Германией, ведущего ее к катастрофе, и дружелюбно указывало на единственный выход для нее: порвать «союз» с Гитлером и перейти в лагерь свободлюбивых наций.

И лишь когда советское правительство убедилось, что, несмотря на создавшееся в результате блестящих побед Красной Армии благоприятное положение, вассальная у власти немецкая агентура неспособна и не желает порвать с Германией, оно сделало единственно возможный вывод из «фактического ведения войны в лагере Германии против Советского Союза» Болгарией и нотой от 5 сентября 1944 г. со своей стороны объявило состояние войны СССР с Болгарией.

<sup>1</sup> См. ж. «Экономист», 1940 г.

Немцы, находившиеся в Болгарии, образовали государство в государстве. Считая себя представителями «высшей расы», они не подчинялись болгарским законам и судам.

Главный уполномоченный Гитлера, бывший посол в Софии Бекерле, командовал при помощи многочисленной банды агентов гестапо, «шеструкторов» и других лиц, которые орудовали во всех органах государства и армии. Он принимал участие в заседаниях министерского совета.

По его требованию парламентом принимались самые драконовские антинародные гнусные расовые законы, по его приказу организовывалась расправа над болгарскими патриотами, расстреливались и вешались тысячи антифашистов.

Если правительство не проявляло достаточной торопливости в выполнении наглых немецких требований, гитлеровский уполномоченный угрожал ему свержением. Гитлеровцы имели в стране своих верных подручных в лице генералов Жекова и Лукова, головореза Цанкова и др. Сам царь Борис в сентябре 1943 г. стал жертвой своих колебаний<sup>1</sup>.

Бюро печати при немецком посольстве в Софии фактически имело в своих руках всю болгарскую печать и руководило антисоветской травлей в Болгарии.

Пределом морального падения софийских сателлитов Гитлера была так называемая «антибольшевистская выставка», специально изготовленных в Германии подложных материалов о Советском Союзе. В своей ноте протеста советское правительство указало, что «подобный образ действий болгарского правительства в корне расходитя с традициями взаимоотношений между русским и болгарским народами» и определило этот акт как «проявление враждебного отношения к народам Советского Союза». Болгарское правительство было вынуждено закрыть досрочно эту выставку.

Целая свора фашизированных шарлатанов от науки принялась за работу, чтобы изобразить превращение Болгарии в аграрный придаток «Великой Германии» как «высшее благо» для болгарского народа. Руководящую роль в этом грязном деле играл «Журнал болгарского экономического общества», в котором обосновывалась мнимая нецелесообразность развития промышленности в Болгарии, доказывалась необходимость снижения якобы «слишком высоких производственных издержек» в промышленности путем сокращения и без того голодной заработной платы болгарских рабочих, проповедывалась необходимость сокращения населения Болгарии, так как страна якобы не в состоянии прокормить его, и т. п.

Немцы грабили и душили Болгарию, как любую оккупированную страну, но так как Болгария была «союзником» Германии, то они грабили ее руками болгарских министров и вешали и резали болгарский народ руками болгарских прокуроров, жандармов и палачей.

Соглашения о «торговом обмене» сводились на деле почти к безэквивалентному и моно-

польному вывозу в Германию почти всего, что только болгарские власти могли в принудительном порядке изъять из рук болгарских крестьян. В 1944 г. 90 процентов болгарского экспорта было направлено в Германию.

Немцы не испытывали никаких затруднений в финансировании своих сделок: Болгарский государственный банк платил за счет немецких экспортеров. Иное дело — выполнение немцами их обязательств по импорту. Немцы посылали в Болгарию детские игрушки, радиоаппараты, карандаши или совсем ничего не посылали, и таким образом задолжали Болгарии колоссальную сумму, приближающуюся по нынешнему вычислению к 75 миллиардам левов.

Кроме фактивного «торгового обмена», немцы грабили Болгарию при посредстве так называемой «централи для особых доставок», созданной для надобностей германской армии. В течение четырех лет этим путем немцы вывезли без всякого товарного эквивалента огромное количество пшеницы и других пищевых продуктов на общую сумму, превышающую 3 миллиарда левов.

Но и вывоз Болгарии в другие страны производился при посредстве Германии, причем вырученная золотая валюта задерживалась немецкими банками. Этим путем, — хвастал директор Болгарского государственного банка Гунов в немецкой газете «Зюд—Ост—Эх» от 20 марта 1942 года, — Болгария помогала Германии, участвуя в «финансировании войны».

О размере ограбления крестьян говорят следующие данные (см. «Работническо дело», декабрь 1943 г.): крестьянским хозяйствам с землей до трех га (а они составляют 40,2 процента всех крестьянских хозяйств) по выполнении «плановой» разверстки, навязанной немецкими «советниками», оставалось на прокормление семьи и скота 775 килограммов зерна, в то время как лишь на прокормление крестьянской семьи из четырех человек необходимо 1200 килограммов. Крестьянские хозяйства с землей от 3 до 6 га (а они составляют 31,1 процента) могли оставить для своих нужд лишь 1080 килограммов зерна. За принудительно изъятую часть своей зерновой продукции крестьянское хозяйство первой группы получало в среднем около 3000 левов, а хозяйство второй группы — около 10 000 левов. Что могла купить крестьянская семья на эти деньги, когда одна пара обуви стоила 3000 левов? Немецкие тресты платили болгарским крестьянам за продукты сельского хозяйства лишь 25 процентов той цены, по которой они сбывали их на берлинском рынке.

Последствия немецкого разбоя не замедлили сказаться.

Износошенность сельскохозяйственного инвентаря, уничтожение и вывоз рабочего скота, отсутствие удобрений, сокращение рабочей силы — все это вместе привело к разорению и деградации сельского хозяйства. По данным газеты «Работническо дело» (февраль 1944 г.), поголовье крупного и мелкого скота сократилось по меньшей мере на одну треть. Лишь зимой 1941/42 г. из-за отсутствия корма вымерло до одного миллиона овец и ягнят. Стадо свиней уменьшилось в четыре раза. Из-за отсутствия сырья промышленность замирала; в 1944 г. она работала лишь на 40—50 процентов

<sup>1</sup> Его брат принц Кирилл заявил перед народным судом в Софии, что Борис был умерщвлен немцами, надевшими на него во время перелета София—Берлин особую кислородную маску.

своей производственной мощности, а многие предприятия совершенно бездействовали. Ремесленники разорялись и пролетаризировались, а безработных гнали на каторжную работу в Германию.

Железнодорожный транспорт был приведен в катастрофическое состояние. Банковское обращение в 2800 миллионов левов в 1938 г. поднялось до 50 миллиардов левов к 15 сентября 1944 г. С 7207 миллионов левов в 1938 г. государственный бюджет возрос до 28 807 миллионов левов в 1943 г.; бюджетный дефицит за первые 7 месяцев достиг 6283 миллионов левов; летучие долги составили около 37 миллиардов левов.

Хозяйственная разруха, инфляция, финансовое банкротство, неслыханная нищета — вот к чему была приведена Болгария в результате трехлетнего хозяйничанья гитлеровцев.

#### 4. Борьба болгарского народа против гитлеровцев и низвержение фашистской диктатуры

Присоединение Болгарии к гитлеровской коалиции в марте 1941 г. вызвало огромное возмущение в народе. Гневные протесты раздавались во всех концах страны.

Занятие Македонии и Западной Фракии болгарской армией вызвало временные колебания в некоторых кругах интеллигенции. Но всякие сомнения исчезли, когда немцы совершили свое коварное нападение на Советский Союз. В этот момент вскрылась вся глубина предательства властвующей в Болгарии фашистской шайки, бросившей страну в стан захватчиков, в стан смертельных врагов Советской России, славянства и всех свободлюбивых народов. Глубокое негодование болгарского народа проявилось в всякого рода антигерманских демонстрациях, появились первые партизанские четы.

Правительство пустило в ход все средства лжи и террора, чтобы напавить народ на путь сотрудничества с Германией. Но усилия правительства оставались тщетными. Листовки, боевые антинемецкие лозунги и плакаты, письма, клеймившие политику царя Бориса и Филова, появились в десятках тысяч экземпляров.

Чтобы заглушить в массах народа симпатии к Советскому Союзу и посеять у них сомнения, болгарское правительство, по договоренности с Берлином, послало группу продажных журналистов во временно оккупированные немцами районы Советской России.

Болгарские разбойники пера с невероятной наглостью старались облить грязью русский народ и Красную Армию. Эта грязная кампания вызвала эффект, обратный тому, который ожидали ее вдохновители. Возмущенная болгарская общественность ответила на позорную травлю Советского Союза всенародным бойкотом фашистской печати.

Речь товарища Сталина от 3 июля 1941 г. дала могучий толчок борьбе антифашистских сил против коричневой чумы.

Холопы Гитлера в Болгарии понимали, что главная опасность грозит им со стороны рабочих, поэтому они принимали все меры, чтобы парализовать прежде всего их борьбу. Рабочих принудительно включили в казенные «рабочие союзы», объявили мобилизованными и закрепили на предприятиях, подчинив воен-

ной дисциплине. Многочисленная орава фашистских ставленников и полицейских агентов была занята «идеологическим воспитанием» рабочих, стремясь приобщить их к так называемому новому государству, которое строилось по гитлеровскому образцу.

Но усилия фашистской банды оставались тщетными. Об этом говорили многочисленные забастовки, волнения и демонстрации рабочих, непрекращающиеся акты саботажа и диверсий на предприятиях, изготовляющих продукцию для немцев, и на железных дорогах.

Антифашистская борьба рабочих проходила под руководством и при участии Отечественного фронта. Подпольная газета «Рабочее дело» настойчиво требовала: «Всеми средствами — саботажем, вредительством, огнем и мечом — мешать гитлеровским агентам грабить страну. Сделать невозможным пребывание немцев в Болгарии и изгнать их отсюда вместе с их агентурой».

Первое дело доходило до серьезных столкновений с полицией. По сообщению той же газеты, в Софии за две недели октября 1942 г. свыше 60 рабочих делегаций требовали увеличения заработной платы, нормы выдачи хлеба, мыла, обуви, угля. В Пловдиве подобные рабочие делегации насчитывали до 400 человек и превращались в бурные народные демонстрации.

Озлобление против властей росло и в других слоях трудящихся. Особенно бурные демонстрации голодающего населения происходили зимой 1942/43 г. как в городах, так и в целых районах страны. Многие усердные фашистские чиновники и агенты заплатились при этом жизнью. С каждым месяцем учащались диверсии на предприятиях. Патриоты разрушили железнодорожную линию между Павликени и Горно-Ореховица; происшедшая железнодорожная катастрофа на несколько дней прекратила движение на этом участке. Такие же катастрофы произошли на линиях Тырново—Стара-Загора, Пирот—Ниш, София—Перник. В Софии, Руссе, Варне и других городах участились убийства немецких солдат.

В феврале 1942 г. на софийском мясозаводском пункте произошло кровавое столкновение между немецким отрядом и болгарскими солдатами. В Софии возле домов, где проживали гитлеровские офицеры и солдаты, по ночам стали выставляться вооруженных часовых. Все немцы перестали выходить на улицу невооруженными.

В связи с изъятием сельскохозяйственной продукции всколыхнулась и деревня. Фашистская клика морочила бедствующих крестьян мифическими планами поднятия сельского хозяйства и благосостояния деревни. Крестьяне стали принудительно включать в «крестьянские задруги» под руководством фашистских ставленников, чтобы выжимать все, что они имели и производили.

Начиная с осени 1941 г., крестьянское возмущение нарастает по всей стране.

Все решительнее и смелее отказывались крестьяне выполнять навязанный им план посева и сдачи продуктов, скрывали свое добро, резали скот, прогоняли, а подчас и убивали правительственных агентов.

«Рабочее дело» приводило следующие факты, иллюстрирующие положение в болгарской деревне к июлю 1943 г.:

«В Пазарджинском районе, Пловдивской области, на складах хлебоэкспорта собрано не более 50 процентов намеченного по плану количества зерна, а некоторые села сдали всего 20 процентов. В ряде сел крестьяне изгоняли комиссии по изъятию, избивали старост, «бранников» и агентов по сбору хлеба. В Пловдивском и Чирпанском районах крестьяне разбили общественные молотилки, разогнали контролеров и молотили хлеб дома, скрывая зерно от сдачи. Массовое сокрытие хлеба, его тайная уборка и молотья наблюдались и в Хасковском районе, где собрано не более 40 процентов плана, а также в районах Харманли и Свиленград. Не получив ожидаемого результата в районах Видин, Бела Слатина и Плевен, власти приступили к обыскам у крестьян и к аресту «смутьянов».

В некоторых селах доходило до открытых столкновений, в других просто выгоняли сборщиков. Много крестьян ушло к партизанам.

Но фашистскую клику больше всего тревожило моральное состояние армии, в которой Рабочая партия и Отечественный фронт в целом вели энергичную разъяснительную работу. В октябре 1942 г. «Работническо дело» так формулировала задачи Отечественного фронта в армии: «Расстроить подготовляемое участие Болгарии в войне против СССР и его союзников... Прекратить оккупацию болгарской армией соседних стран и создать вместе с ними общий фронт борьбы против гитлеровской Германии». Неподчинение солдат фашистской муштре стало обычным явлением. Широкие размеры принимало дезертирство. Все чаще происходила кража оружия из казарм и со складов, переход солдат на сторону партизан. На территории Югославии сформировались болгарские партизанские бригады. Общая мобилизация в мае 1944 г. во многих местах была сорвана: большое число мобилизуемых пошло в горы, присоединилось к «народным повстанческим дружинам».

Кровавый фашистский террор лишь обострил борьбу. С начала войны, по сообщению болгарской диктатуры, через концлагеря прошло до 25 тысяч антифашистов. На основании данных амнистии, из тюрем было выпущено до 10 тысяч приговоренных на длительное заключение борцов против фашистской диктатуры. Огромно число расстрелянных и повешенных по приговору и без приговора активистов, в том числе солдат и офицеров. Были казнены руководители Рабочей партии (коммунистическая партия Болгарии) и рабочего Союза молодежи. Военно-полевые суды вынесли 1590 смертных приговоров и 8457 антифашистов приговорили к каторге. Они держали в своих лапах еще 12461 обвиняемых в антифашистской деятельности, которым угрожала смертная казнь, но 9 сентября вырвало их из рук палачей.

В ответ на разгул кровавого фашизма многие из палачей и злостных фашистских агентов были ликвидированы патриотами.

Весной 1943 г. развернулось в широком масштабе партизанское движение. Для его подавления, против его центра — Среднегорья, была направлена двадцатитысячная армия. Но блокада не удалась. «Население вело себя героически и проявило глубокую ненависть к фашистским палачам. Армия отказывалась подчиняться приказам преступных фашистских начальников. Поэтому фашистская шайка тоепешет перед близким народным возмездием...» («Работническо дело», июль 1943 г.).

Для дальнейшего преследования партизан и подавления народных выступлений был организован особый механизированный жандармский корпус.

Не смогли подавить партизанское движение министры полиции Габровский и Христов, оба они были смещены. 14 апреля 1944 г. правительство Божилова приняло чудовищное постановление, которым возлагалось на полицию и армию ликвидировать всеми средствами партизанское движение, истребить всех партизан.

Неслыханная кровавая волна пронеслась по стране. Она сошла с приходом к власти «смирнолюбивого» и «гуманного» правительства Багрянова. С согласия немцев, болгарские войска были сняты с турецкой границы и направлены во внутренние районы для подавления партизанского движения. Палачи беспощадно расправлялись с населением партизанских районов. В с. Перущице было расстреляно 40 человек, среди них и женщины. В Ямболе — 60. По приказу поручика Стоянова в с. Любеша было убито до 1000 человек, в с. Брдо жандармский офицер Горчилов расстрелял 230 жителей. Палачи обрушились также на Брацигово, Габрово, Стрелчу, Батак, Слизен, Варна и пр. Головы убитых, насаженные на трости, разносились по городам и деревням для запугивания населения. Правительство платило за каждого убитого партизана по 50 тысяч левов, фашистские тузы собирали среди крупных дельцов средства на «премии» для палачей; головы убитых представлялись в качестве «вещественного доказательства». Министерство полиции за 1943 и 1944 год израсходовало 62 миллиона 870 тысяч левов на «премирование» своих кровавых псов.

Но и третий обер-палач, профессор хирургии Станишев, министр полиции в правительстве Багрянова, которого немцы хвалили за его «хладнокровие», проявленное им при «оперировании» болгарского народа, должен был уйти в отставку.

Партизанское движение охватило почти всю страну. Везде действовали боевые группы, партизанские четы и отряды, а в некоторых областях целые повстанческие бригады, насчитывавшие до 1000 бойцов. Создались областные штабы партизанских отрядов, подчиненные верховному штабу народно-освободительной повстанческой армии, действующему под руководством Национального комитета Отечественного фронта. К моменту всенародного вооруженного восстания повстанческая армия насчитывала в общей сложности до 25 тысяч бойцов.

В органе партизанских отрядов Софийской области «Народный повстанец», Среднегорской бригады «Христо Ботев» и др. помещено много сообщений об операциях партизанских отрядов и их деятельности вообще. Но лишь после низвержения фашистского режима общезвестность узнала о подвигах и заслугах народно-освободительной повстанческой армии в борьбе за изгнание немцев: имена многих партизан, как Славо, Катя, Халачев и др., стали легендарными.

На основе растущего народного сопротивления проемецкому курсу и борьбы за низвержение фашистской диктатуры в начале 1942 г. возник Отечественный фронт. Он охватил самые активные и самые последовательные антифашистские партии, группы и

элементы, без различия их прежних партийно-политических программ.

В центре программы Отечественного фронта стояла задача «порвать союз Болгарии с гитлеровской Германией и другими державами «осси», очистить болгарскую землю от немецко-фашистских войск и гестаповских бандитов, обеспечить сотрудничество Болгарии с Советским Союзом, Англией, США и другими свободлюбивыми странами». Отечественный фронт требовал «немедленного отвода болгарских войск» из оккупированных областей и «дружественное соглашение с другими балканскими народами». Для осуществления своей программы, включающей еще самые существенные требования, способные обеспечить развитие страны по пути демократии и экономического процветания, Отечественный фронт ставил ближайшей целью своей борьбы свержение немецкой агентуры, свержение фашистской диктатуры и создание правительства Отечественного фронта, опирающегося на волю и поддержку всего болгарского народа.

К Отечественному фронту примкнули: 1. Рабочая партия (коммунисты); 2. Крестьянский союз имени Стамбульского; 3. Социал-демократическая партия; 4. Политический круг «Звено» — антимонархическая, преимущественно офицерская, организация; 5. Целый ряд кооперативных и культурно-просветительных организаций, а также множество независимых антифашистских деятелей в индивидуальном порядке.

Во главе Отечественного фронта стоял Национальный комитет, а на местах — областные и местные комитеты. Национальный комитет установил связь с маршалом Тито.

Инициатором Отечественного фронта являлась Рабочая партия, сумевшая, несмотря на двадцатилетнее подполье, жесточайший террор и истребление многих тысяч ее членов, сохранить свою организацию почти по всей стране и группировать вокруг себя значительные кадры беспартийного актива. Мужественная борьба Рабочей партии против фашизма, за освобождение Болгарии от немецкого ига, способствовала росту ее рядов и укреплению ее авторитета в широчайших слоях народа и интеллигенции. Рабочая партия совместно с Крестьянским союзом обеспечивали за Отечественным фронтом колоссальное влияние в стране.

Рабочая партия и Отечественный фронт шли по пути развертывания самой решительной массовой борьбы против немецких захватчиков и их болгарской агентуры. Они обратили особое внимание на создание и развертывание мощного партизанского движения в стране.

Поскольку на пути освобождения Болгарии от немецко-фашистского ига стояла немецкая агентура, они ставили непосредственной задачей ее низвержение путем всенародного вооруженного восстания, в котором партизанское движение и переход армии, патриотических солдат и офицеров на сторону Отечественного фронта должны были сыграть решающую роль.

Разгром немецких войск на юге Украины и в Крыму, вступление советских войск на территорию Румынии и их приближение к границам Болгарии весной 1944 г. вызвали перелом в фашистском лагере. Последовавшее грандиозное летнее наступление Красной Армии и успешная высадка англо-американских войск во Франции опрокинули все расчеты пронемецкой шайки.

Антигитлеровская коалиция проявляла все большую сплоченность и решительность в борьбе против Германии. Наоборот, гитлеровский блок распался — Румыния и Финляндия вышли из войны. Для самых прожженных фашистов стало ясно, что Германия проиграла войну и что близится час уничтожения раненого фашистского зверя в его собственной берлоге.

Ускоренными темпами Болгария шла к катастрофе.

С появлением советских войск вблизи Балкан антинемецкое движение в стране получило мощный толчок и огромный размах. Обострившийся внутриполитический кризис вынудил обанкротившееся правительство Божилова выйти в отставку.

Правительство Багрянова, пришедшее к власти 1 июня 1944 г., имело поручение выиграть время и путем жульнических маневров, демагогии и террора укрепить расшатавшуюся власть немецкой агентуры. Не могло быть и речи о срыве союза с Германией. Неопровержимым памятником жульничества и безответственности правительства Божилова и Багрянова служит опубликованная в советской печати дипломатическая переписка между правительствами Советского Союза и Болгарии за время апрель—август 1944 г. Наперекор общеизвестным фактам, болгарские правители нагло отрицали, что немцы использовали черноморские и дунайские пристани в военных операциях против Советского Союза. Сбывленный правительством Багрянова «строгий нейтралитет» должен был служить лишь маской. Жульничеством была его болтовня о «дружелюбии» к Советскому Союзу. На деле оно продолжало оказывать гостеприимство и помощь спасавшимся в Болгарию разгромленным Красной Армией немецким войскам и «не замечать», что немецкое командование организовывало новую линию обороны на болгарской территории. Отступающие немецкие войска разоружались лишь «символически», на деле они перевозились целыми эшелонами вместе с оружием, или «отнятое» якобы оружие возвращалось им на пограничной железнодорожной станции при выезде из Болгарии. Немецкие части перебазировались через Болгарию на советско-германский фронт. Немецкий черноморский флот перебазировался в Варне, где высаживались немецкие войска и направлялись дальше по назначению. Конечно, жульничество Багрянова никого не обмануло.

Провалилась также его попытка обмануть болгарский народ шумихой вокруг демагогической программы всяких «социальных и аграрных реформ»; смехотворное утверждение, что в лице Багрянова болгарский народ «взял свою судьбу в свои руки», утонуло в кровавой вакханалии, организованной по всей стране жандармскими башибузуками и палачами.

Перед народным судом в Софии царский лакей, немецкий прохвост и политический жулик Багрянов попытался еще раз обмануть общественность рассказами о том, что он якобы пришел к власти для осуществления «поворота» в политике Болгарии, что целью его политики было установить «дружбу с Советским Союзом, основанную на доверии», и пр. Но маска с Багрянова была сорвана оглашением его секретного доклада принцу Кириллу от 31 августа 1944 года, в котором он развешивал быв-

шему регенту подлинный смысл своей политики «нейтралитета», заключающейся в «лабиринтах» с тем, чтобы помочь немецкой армии оправиться от своих поражений.

Излагая подробно свой «стратегический план», он разъяснил ему, что своими «дружественными» излияниями перед Советским Союзом и своими «уступками» он преследовал лишь цель «замаскировать свое лабиринтное» и устранить всякое подозрение в том, что он «стремится лишь «выиграть время». На деле же он ненавидит Советский Союз, как «смертельный враг», и будет всеми средствами и самыми радикальными мерами «бороться против большевизма». Его заигрывания с коммунистами, его обещания «амнистии» и всяких «реформ» — это лишь часть его политического маневра; после политической дискредитации оппозиции он легко ликвидирует «полицейским путем» «1500—2000 заклётых коммунистических функционеров» и всех оппозиционных вождей.

Багрянов объяснил и цель своей отставки: «замаскировать выигранное уже время», «усилить подозрение врага», «внушить большевикам», что он «якобы является их лучшим помощником», исходя из того, что Болгария должна «до последнего момента полагаться на Германию». Он рекомендовал образовать новое правительство из «оппозиционеров» типа Муравиева, Гичева, Леушанова, Букова для завершения предпринятого им маневра. Этот документ обнаружил до конца предательское двурушничество не только Багрянова и его клики, но и всех его явных и тайных сообщников и приспешников.

В августе 1944 г. внутренний кризис достиг небывалой остроты. Единственной силой, способной еще спасти страну, являлся Отечественный фронт.

Отечественный фронт, имевший к тому времени за собой подавляющее большинство в народе и армии, 8 августа ультимативно потребовал от правительства немедленного поворота во внешней и внутренней политике и предупредил его, что «народ найдет силы и средства, чтобы не на словах, а на деле взять судьбу Болгарии в свои руки». Разоблаченный кулак, немецкий агент и банкрот Багрянов 30 августа ушел в отставку. Но заседав в регентском совете немецкая агентура в лице принца Кирилла, Филова и генерала Михова, связавшаяся не на жизнь, а на смерть с гитлеровской бандой, после неудачной попытки расколоть Отечественный фронт и ликвидировать народное оппозиционное движение, сделала последнюю попытку спасти режим и свою шкуру, возложив образование нового правительства на главарей «демократической оппозиции».

Так именovali себя лидеры не существующих уже правых буржуазных партий — демократической и народнической — Мушанов и Буков, а также близкие к дворцовым кругам правые лидеры крестьянского союза — Муравиев, Гичев и Димов. В своем стремлении сплотить против немцев и их агентуры все оппозиционные антифашистские элементы, вплоть до самых умеренных, Отечественный фронт многократно пытался привлечь к сотрудничеству главарей «демократической оппозиции», но напрасно. Группа рабочих деятелей ответила 7 ноября 1943 г. письмом Мушанову, в котором писала ему: «Везде, где происходит...

грозный поединок между народом и фашистской властью и немецкими оккупантами, вы колеблетесь и чаще возлагаете ваше доверие на дворец и дворцовую клику, чем на народ...» Группа рабочих деятелей 25 ноября 1943 г. писала также Гичеву: «Ваше отношение к нам и к борьбе трудящихся города и деревни крайне плохое и нетерпимое... Вы оказались человеком царя, а не народа... Ваше поведение ставит вас в центре реакционных сил». Эти бывшие вожди боялись гораздо больше народных масс, чем немцев. Своим уклонением от подлинной борьбы, боязью решительного разрыва с немцами и перехода на сторону антигитлеровской коалиции они лишь сеяли колебания в народе и армии и усиливали сопротивление со стороны немецкой агентуры.

Правительство «демократической оппозиции», возглавлявшееся Муравиевым, находилось у власти, начиная с 2 сентября, всего шесть дней. Огласив свою программу «демократических реформ» в самом ожесточенном для Болгарии вопросе — в вопросе о разрыве союза с Германией, оно проявило исключительную глупость и преступную безответственность. Вначале оно объявило «искренний нейтралитет», что по существу означало продолжение двурушничества Багрянова, дальнейшую помощь Германии, фактическое ведение войны против СССР. Через два дня оно на словах порвало союз с Германией, не предприняв, однако, никаких мер, диктуемых обстоятельствами, для предотвращения подготовлявшегося немецкими ставленниками вокруг Цанкова путча и для того, чтобы воспрепятствовать немцам создать на болгарской территории новую базу сопротивления. Наоборот, немцы продолжали хозяйничать, болгарская армия направлялась к Дунаю, следовательно, против Красной Армии; продолжалась и расправа полиции с народным антифашистским движением: еще 6 сентября в Софии по приказу министра полиции Димова полиция стреляла в демонстрантов.

Ни правительство Багрянова, ни правительство Муравиева не хотели воспользоваться решительным поворотом дела на фронтах, поворот с пронемишской политикой и вслед за Румынией присоединиться к антигитлеровской коалиции демократических держав, чего настойчиво и упорно добивался болгарский народ ценой бесчисленных кровавых жертв. Тем самым объявление 5 сентября состояния войны между СССР и Болгарией стало неизбежным.

Сговор правительства Муравиева с немецкой агентурой, продолжение двурушнической политики Багрянова, кровавая расправа с демонстрантами возмутили всю страну. Народ, партизанские отряды и преданные родине армейские части поднялись на решительную борьбу за свержение правительства, за установление власти Отечественного фронта. Вступление Красной Армии в северо-восточную часть Болгарии дало могучий толчок всенародному движению. Колебания исчезли. Целые войсковые части во главе со своими командирами переходили на сторону Отечественного фронта.

Еще 6 сентября ЦК Рабочей партии и Национальный комитет Отечественного фронта призвали народ, солдат и офицеров к решительной борьбе. Начались бурные массовые демонстрации. Забастовка горняков каменноугольного бассейна «Перник» должна была служить сигналом к забастовкам по всей стра-



ве. Она была блестяще проведена под руководством комитета Отечественного фронта. Часть офицеров со своими войсками перешла на сторону комитета, и попытка реакционных офицеров оказать сопротивление была сломлена. Вслед за горняками в Софии забастовали трамвайщики, рабочие железнодорожных мастерских, рабочие целого ряда других предприятий. В Пловдиве забастовка охватила все предприятия, железнодорожное движение было приостановлено до момента захвата власти Отечественным фронтом. Волна демонстраций и забастовок пронеслась по всей стране. По решению верховного штаба, партизанские отряды были подняты к городам. Восьмого сентября восстала Варна и сбросила фашистскую диктатуру; в тот же день в Плевне народ штурмовал политическую тюрьму и освободил заключенных. В целом ряде районов комитеты Отечественного фронта захватили власть и разоружили полицию.

В ночь с 8 на 9 сентября Национальный комитет Отечественного фронта свергнул правительство и захватил государственную власть, создав правительство Отечественного фронта. По особому плану, выработанному военной секцией Национального комитета, София была занята регулярными войсковыми частями, перешедшими на сторону Отечественного фронта, и партизанскими отрядами, подосланными в город. В Софию была подтянута танковая часть. Повстанцы заняли военное министерство, министерство внутренних дел, почту и телеграф, радиостанцию и другие государственные учреждения, арестовали офицеров генерального штаба, министров, высших представителей военной и гражданской власти. Была парализована всякая попытка сопротивления. Полиция осталась в своих казармах, где и была разоружена при содействии партизанских отрядов вновь сформированной народной милицией.

По примеру Софии, восстала вся страна. Некоторые реакционные войсковые начальники пытались оказать сопротивление, но они были смяты восставшими солдатами. Немецкие части, сконцентрированные около г. Кюстендиль, пытались прорваться к этому городу, лежащему на пути к Софии, но спешно посланная часть из добровольцев прогнала их.

Так объединенными силами народа, патристической части армии и партизанских отрядов была низвергнута ненавистная фашистская диктатура, державшая в своих кровавых тисках Болгарию в течение больше двадцати лет.

Победивший болгарский народ восторженно встречал вступающие на болгарскую территорию части Красной Армии, внуков своих освободителей от турецкого рабства, своих друзей и освободителей от гитлеровского ига.

В правительство Отечественного фронта под председательством Кимона Георгиева вошли представители Рабочей партии, Крестьянского союза, политического круга «Звено» и Социал-демократической партии, а также двое представителей независимой прогрессивной интеллигенции.

Вновь составленное правительство немедленно приступило к выполнению программы Отечественного фронта. Оно приняло отставку членов регентского совета и, согласно конституции, назначило новых регентов из числа высокоавторитетных и преданных делу Отече-

ственного фронта общественных деятелей, из которых до решения Великого народного собрания о будущей форме правления Болгарии возложены функции королевской власти от имени малолетнего царя Симеона II. Оно распустило парламент, арестовало министров, депутатов и прочих виновников гибельной внешней и внутренней политики страны и наложило секвестр на их имущество, приступило к очистке государственного аппарата и армии от предательских фашистских элементов. Правительство распустило все фашистские организации и конфисковало их имущество, закрыло все фашистские газеты и издания, заняло их типографии. Все осужденные за борьбу против немцев и фашизма были освобождены из тюрьм и им оказана помощь. Правительство немедленно отправило делегацию к маршалу Толбухину для переговоров о прекращении состояния войны и об участии болгарской армии в войне против Германии.

Отечественный фронт получил тяжелое наследство. Немецкая агентура нанесла большой вред свободолюбивым народам, заключив союз с Германией и в течение трех с половиной лет помогая всемерно немецким разбойникам. В грязных преступлениях и издевательствах над народом провинились болгарские власти в оккупированных землях. Приступая к строительству новой, демократической Болгарии, правительство Отечественного фронта сочло своей первой и важнейшей задачей исправить, насколько это только возможно, причиненное зло и положить конец излучению Болгарии, принимая всеми силами участие в войне против немцев на стороне объединенных наций. Отечественный фронт с первого дня взятия власти приступил к энергичной подготовке страны и армии к войне, передав главное командование в руки преданных Отечественному фронту генералов, очищая ее от реакционных офицеров-фашистов.

Болгарская армия в качестве совместно сражающейся союзной армии плечом к плечу с частями Красной Армии в Народно-освободительной армии Югославии уже одержала ряд побед над немецкими войсками под Нишом, на Стрелице, при Куманове, Скопие, Приштине и пр. Она содействовала освобождению значительной части югославской территории от немецких захватчиков. На основе заключенного 5 октября с маршалом Тито соглашения Болгария приступила к исправлению вреда, нанесенного Югославии болгарскими оккупантами. Этим она доказала свою готовность внести свой вклад в дело разгрома гитлеровской Германии — смертельного врага славян и всего свободолюбивого человечества.

28 октября 1944 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии между СССР, Великобританией, США, с одной стороны, и Болгарией — с другой. Подписывая его, болгарская делегация могла сказать, что многие из обязательств по перемирию правительство Отечественного фронта уже выполнило по своему собственному почину, в порядке выполнения программы Отечественного фронта.

Перемирие с Болгарией — результат согласованной политики трех великих союзных держав — еще раз доказало всю глубину военно-политического поражения Германии.

Но болгарский народ не остановился на этом

своим первым важным достижении. Второй этап начатой им войны против Германии ознаменован мобилизацией всех народных сил под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Ныне сорокатысячная болгарская армия сражается в составе войск 3-го Украинского фронта за окончательный разгром гитлеровских полчищ. Для поддержки армии идет напряженная работа всего болгарского тыла. Выпущенный «Заем свободы», встреченный всеми слоями народа с энтузиазмом, даст правительству Отечественного фронта необходимые средства для преодоления трудностей. Старая болгарская армия выполняла роль гитлеровского жандарма, обновленная же армия антифашистской демократической Болгарии является освободительницей страны от немецкого рабства.

Правительство Отечественного фронта, выполняя обязательство перед народом, приступило срочно к подготовке народного суда над военными преступниками, предателями и палачами. Начиная с 24 декабря по 1 февраля в Софии слушались процессы крупнейших проводников и инспираторов пронемецкого антинародного курса, приведшего болгарский народ к катастрофе. Перед судом предстал весь «цвет» болгарской фашистской клики: бывшие регенты, премьер-министры и министры, царские совестники и депутаты фашистского боль-

шинства. После сорокадневного публичного разбирательства «государственной деятельности» этой банды, вскрывшего всю гниль монархо-фашистского диктаторского режима, полное разложение, невероятное моральное падение и вырождение его агентов, суд вынес свой исторический приговор над гнусными погромщиками, гитлеровскими слугами и оберпалачами, возглавлявшимися Борисом и Кириллом. Этими грязными отпрысками ставшей роковой для болгарского народа династии Кобургов. Все они получили требуемое болгарским народом суровое, но заслуженное возмездие.

Учрежденные особым законом народные суды, которые весь народ приветствует как носителей подлинного правосудия, продолжают по всей стране дело оздоровления общественной атмосферы от гнусной фашистской заразы путем суровой кары ее преступных носителей.

Ныне, сплоченный в могущественном Отечественном фронте, болгарский народ прилагает все усилия к выкорчевыванию корней фашизма. В братском союзе с народами Югославии, в нерушимой дружбе с Советским Союзом, со всеми свободолюбивыми и демократическими народами, он расчищает путь и закладывает фундамент новой, подлинно демократической, независимой Болгарии.



## Рождение „Горя от ума“

Судьба автора в памяти народа и его судьба в науке далеко не всегда сходны. Прославленный автор любимейшего произведения — Грибоедов — чрезвычайно мало изучен. «Горе от ума» известно всякому и всеми любимо, чуть не каждый его стих, как и предсказывал Пушкин, стал пословицей. Слова великих актеров связались с образами героев пьесы, но какую биографию Грибоедова можно посоветовать прочесть советскому человеку? Какую книжку, объясняющую самое возникновение великой национальной комедии, можно предложить современному читателю? Литературоведческая судьба Грибоедова печальна.

Биографическая схема Грибоедова стала застывать и костенеть на рубеже XX века и в первое его десятилетие. В основном стабилизировался скудный запас биографических документов, приток новых приостановился, крупных работ исследовательского характера не появлялось, грибоедовская тема уже обжила в школьном преподавании, находясь под мощным прессом реакционных правительственных требований, и постепенно сложилась, а потом застыл бедный биографический графет, почти лишенный элементов истории. Грибоедовское время — это время «грозы двенадцатого года» и волнений Семеновского полка, время Пушкина и декабристов, эпоха великих событий и деятельности замечательных русских людей, но — удивительным образом — дыхание эпохи ушло из биографического граффита, и перед русским читателем он лежал бездыханным. Слабость исторических элементов в застывшей схеме сделала ее особо беззащитной перед лицом вторжения вульгарного социологизма. Последнему тем легче было «окупировать» грибоедовскую биографию. Вульгарный социологизм ославил великое произведение «самой барской» пьесой русской литературы, а великого писателя объявил «барником» и «денди», сторонником самого института крепостного права, возражающим лишь против его «злоупотреблений», равнодушным созерцателем политического кризиса своего времени.

Любопытной особенностью схемы была полная оторванность пьесы «Горе от ума» от бытия самого писателя. Схема гласила, что ро-

дизшился в 1795 году Александр Грибоедов после некоторого периода домашнего воспитания поступил в Московский университетский благородный пансион, а затем в Московский университет, обучался наукам словесным, затем юридическим, а потом математическим и естественным (именовался ряд профессоров — о студенческой среде ни слова), вшел в армию в 1812 г., на войну не попал, участвуя в формировании кавалерийских резервов, совершал такие-то гусарские шалости и, оказавшись в 1815 году в Петербурге, вышел в отставку и усиленно занялся «прожитием жизни». Далее следует рассказ о кулежах, театральных увлечениях, об истории с балериной Истоминой, о секундантстве в дуэли графа Заваловского с Шереметьевым, о гезде на Восток и о собственной дуэли с Якубовичем около Тбилиси. Затем возникла Иран и тут, согласно схеме, Грибоедов, совершенно неизвестно почему, вдруг начинает писать в 1820 году «Горе от ума» и проявляет себя великим писателем. Поистине в этой схеме «Горе от ума» падает с неба, и почему отставной гусарский кознет после истории с балериной и бурного прожития жизни вздумал вдруг написать самую политическую, самую общественную и насыщенную передовыми идеями времени пьесу — это остается загадкой. Живучесть этой искаленной до предела биографии можно объяснить лишь рутинной, «привычкой» и длительным периодом господства антинаучных тенденций.

Нельзя сказать, чтобы самая мысль создать и новую биографию Грибоедова не высказывалась раньше. Мысль о связи Грибоедова с эпохой и с общественным движением его времени формулировали А. И. Герцен, Аполлон Григорьев, Д. А. Смирнов, А. Галахов, А. Н. Пыпин, И. А. Гончаров и др., ею интересовался Д. Писарев, ею был увлечен Алексей Веселовский, однако, она не отличалась в законченную работу научного характера. Эту плодотворную мысль, восходящую, несомненно, к идейному наследству 60-х годов, отодвинула с пути и приглушила реакция 80-х годов, а затем она тлела под пеплом до тех пор, пока не началось возрождение вульгарного социологизма, фактически пытавшегося совсем потушить ее.

Появляем данные эпохи, соберем по крупицам неизученный материал, проверим привычные цитаты еще раз вздумаемся в известные первоисточники, заглянем в исследованные архивы грибоедовских современников и в

<sup>1</sup> Из подготовленной к печати монографии автора «Грибоедов и декабристы» (печатается в Гослитиздате).

фонды следственного дела декабристов — и общая картина рождения «Горя от ума» окажется совсем иной, нежели рисуется ее окосневшая биографическая схема. Многие документы не дошли до нас, многие голоса невозвратно умолкли, но все-таки по крупницам восстанавливаемая действительность многое может объяснить в творчестве писателя.

Московский университет Грибоедоваго времени был передовым учебным заведением. Преподавание стояло на уровне своей эпохи, многие университетские преподаватели, особенно русские профессора из разночинцев, сами были причастны к передовой идеологии времени. «Законы должны быть для всех граждан одинаковы», — учили студенты в руководстве проф. Л. А. Цветаева «Первые начала права естественного». «Когда власть монарха не подвергается никаким ограничениям, she называется деспотизмом», — читали они там же. «Цветаев говорил о преступлениях разного рода и между прочим сказал, что нигде в иных случаях не оказывают более презрения к простому народу, как у нас в России (хотя мне и больно, очень больно было слушать это, однако, должно согласиться, что бедные простодушные нигде так не притесняемы, как у нас)», — записал в своем дневнике в 1808 году студент Николай Тургенев, учившийся в университете в один год с Грибоедовым.

Грибоедов провал в Московском университете и университетском пансионе около десяти лет (примерно с 1802—1803 годов до середины 1812 года), он окончил два факультета, имел степень кандидата словесных наук и права, готовился к докторскому экзамену. Самая атмосфера университета и студенческая среда его времени не могли не оказать на него своего воздействия. Одновременно с Грибоедовым училось не менее 26 будущих декабристов. Мы встречаем тут П. Каховского, Никиту Муравьева, Николая Тургенева, А. Якубовича, С. Трубецкого, И. Якушкина, Артамона Муравьева, Н. Крюкова, Ф. Вадковского, Степана Семенова и мн. др. Учатся тут и многие друзья будущих декабристов, имена которых постоянно вылетают в историю общественного движения эпохи. — братья Петр и Михаил Чадаевы (первый из которых сам причастен к движению декабристов), князь Иван Шербатов, пострадавший по делу о восстании Семеновского полка, братья Раевские, Николай и Александр (сыновья героя 1812 года генерала Н. И. Раевского-старшего) и др. Студенчество охвачено новыми идеями, с жадностью тянется к новой литературе, обсуждает политические темы. Студенты тайно читают запрещенные сочинения. «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, запрещенную иностранную литературу. К лучшему другу Грибоедова, студенту Петру Чадаеву, приехал на дом сам московский полицмейстер отбирать запрещенные брошюры. Студенчество оживленно спорило о Вольтере и Руссо, обсуждало преимущества республиканского правления перед монархическим, переживало острые религиозные кризисы. Герои Плугарха — образцы политического поведения. В центре внимания молодежи стояла Россия, родина. «Ежели ты, повеса, осмелишься еще разинуть рот для хулы русских, которым ты быть не достоин, и чем я горжусь, то берегись: выавать тебя на одиночок будет для тебя много, и ты этого не стоишь, но вот взгляни на

мою палку и знай, что она заставит тебя молчать, ежели слова мои на тебя не подействуют», — так ответил студент Московского университета Николай Тургенев одному молодому человеку, посетителю кофейной, который осмелился с пренебрежением отозваться о России. Другой студент университета, Никита Муравьев, позже сам говорил о себе, что в студенческие времена «не имел образа мыслей, кроме пламенной любви к отечеству».

Эта пламенная любовь к родине уже соединена у многих студентов с критической мыслью по отношению к крепостному праву и деспотическому строю самодержавия. Уже бродят смутные замыслы борьбы за лучшее. В этой идейной атмосфере рос и развивался умный, талантливый, живой, «страстно учившийся» студент Грибоедов, в этой атмосфере написал он свою первую — не дошедшую до нас — комедию. Нет сомнений, что именно тут, в эти годы, закладываются основы его передового мировоззрения.

Также нет сомнений, что патристический порыв Грибоедова, который привел его прямо со студенческой скамьи в ряды армии в июле 1812 года — то есть в самом начале войны — не был безотчетным юношеским увлечением, а имел сложную идейную подоснову: на войну ушел не Петя Ростов из «Войны и мира», как думают некоторые исследователи, а студент Московского университета, окончивший два факультета, готовившийся к докторскому экзамену, юноша, изучавший труд Дежериандо по истории философских систем, друг Петра Чадаева, молодой человек, в беседе с которым находили интерес выдвигавшиеся политические деятели того времени (министр Штейн).

Время пребывания Грибоедова в армии было полно незабываемых политических впечатлений. Молодых людей того времени, по словам декабриста Якушкина, окружала «огромная обстановка». В том Иркутском гусарском полку, куда влился Грибоедов вместе с гусарами Московского полка графа Салтыкова, было около двухсот участников Бородинского сражения. Архив Кологривова рисует сложную жизнь штаба кавалерийских резервов в Бресте, где служил Грибоедов. Сюда, на границу, ранее других городов приходили вести о великих событиях времени — о Дрездене, о битве под Лейпцигом, о торжественном вступлении русских в Париж. Тут на глазах Грибоедова формировались новые полки, проходили в тыл партии французских пленных, совершались суды над дезертирами.

После заключения мира Грибоедов поехал в Петербург, в то же время, когда туда начали возвращаться русская гвардия из заграничных походов. Немало будущих декабристов, друзей Грибоедова, возвращаются из-за границы. Они видели страны без крепостного права, они побывали в палате депутатов, они зачитывались прениями в английском парламенте — они были полны новых политических впечатлений. Теперь понятно, что заграничные впечатления отнюдь не «породили» декабризм — критика крепостного строя возникла много раньше, и заграничные впечатления были лишь «катализатором», ускорившим ранее намечившийся процесс. Грибоедов прожил в Петербурге, повидимому, около четырех лет; вероятнее всего, он приехал туда вскоре после заключения мира в 1814 году, а уехал отсюда на Восток в августе 1818 года. Это было время, полное идейного кипения. Декабрист

Пестель охарактеризовал свое время замечательными словами: «Присшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько царств уничтоженных, столько новых учреждений, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворогов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобствами оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же... Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы, хлокотать». Именно в эту эпоху, столь ярко характеризованную Пестелем, и возникает самый замысел «Горя от ума», а затем и пишется вся пьеса. Она и не может быть понята вне своей замечательной эпохи.

В эти годы возникают и формируются предшественницы декабристских организаций — офицерские артели (офицеров Семеновского полка и офицеров генерального штаба); začínающееся движение таится некоторое время под формами масонских лож, и наконец, в 1816 году возникает и оформляется первая декабристская организация — Союз Спасения, или Общество истинных и верных сынов отечества. В конце 1817 года возникает вторая организация декабристов — Военное общество, промежуточное звено между ликвидированным самими декабристами Союзом Спасения и новой декабристской организацией — Союзом Благоденствия, который приступает к деятельности с 1818 года. Борьба против крепостного права и самодержавия стояла в центре слагающейся идеологии революционеров-дворян. Кипение этой идейной атмосферы возникающих декабристских обществ не могло не доходить до Грибоедова, имевшего многочисленные связи в декабристской среде. В окружении Грибоедова можно насчитать в это время не менее 43 имен декабристов и их друзей. Среди них — ближайший, задуманный друг Грибоедова Степан Никитич Бегичев, принятый в тайное общество в 1817 году, то есть ранее образования Союза Благоденствия; очевидно, Бегичев был принят или в Союз Спасения на исходе его существования, или в Военное общество. Бегичева принял в тайную организацию Никита Муравьев; позже Бегичев вступает и в Союз Благоденствия; из архивных документов известно, что Бегичев имел «Зеленую книгу» — устав Союза Благоденствия и позже сам принял в члены этого союза декабриста В. Ивашева. Упомянем близкого друга Грибоедова — П. Катенина, одного из инициаторов образования Военного общества, а также членов Союза Благоденствия Як. Голстого, П. Мухомова, П. Коварина. Среди этих знакомств — имена учредителей тайного общества — С. Трубецкого и Никиты Муравьева, тут близкие декабристам люди, которые через некоторое время сами окажутся в рядах тайного общества: В. Кюхельбекер, А. Одоевский, Поливанов, Кологривов. Тут такие близкие декабристам люди, как А. Пушкин, П. Чаадаев, И. Щербатов, А. Г. Строганов, А. А. Жандр, писательница В. С. Миклашевич. В эти годы Грибоедов является членом той же масонской ложи «Соединенных дру-

зей», куда входят П. Пестель, П. Я. Чаадаев, Илья Долгорукой, Ф. Шаховской. Через С. Бегичева Грибоедов связан с кавалергардским гвардейским полком (Бегичев — кавалергард), в рядах которого числилось 24 декабриста.

Грибоедов сам был живым элементом в среде этой молодежи. Его не могли не волновать идеи времени.

«В Европе, даже и в тех народах, которые еще не добыли себе конституции, общее мнение по крайней мере требует суда виноватому», — записал Грибоедов в своем путевом дневнике 1819 года. Ясно, что Грибоедов уже в то время убежден, что конституции добыты себе народы и что добывать конституцию — историческая закономерность: одни народы уже добыли ее, другие еще нет, то есть когда-то добудут. Это — типично декабристский круг идей. Именно тут, в декабристской среде, Грибоедов имел особенно легкую и частую возможность наблюдать основную коллизию своего времени, — молодого человека — сторонника новых идей — в его столкновениях со старым, крепостническим миром. Коллизия эта, обобщенная в образ Чацкого и во всей ситуации «Горя от ума», наблюдалась в те годы Грибоедовым в разнообразных конкретных формах и в разной обстановке, да и сам он, наверно, не раз попадал в аналогичные положения.

## II

По свидетельству лучшего друга Грибоедова Бегичева, «Горе от ума» было задумано в 1816 году. Замысел этот долго таился и вырвался, возникли герои, позже отброшенные автором (жеча Фамусова), и, наконец, с 1820 года работа вступила в период значительного оживления. На Востоке (повидимому, более всего в Грузии, в Тбилиси) Грибоедов написал первые два акта комедии (позже несколько переделанные), а вернувшись на родину, в 1823—1825 годах, закончил «Горе от ума» (последние авторские штрихи он наносил на текст еще в первой половине 1825 года).

Обратим внимание на одно существенное обстоятельство, относящееся к психологии творчества Грибоедова, к самому рождению комедии. Периоду творческого оживления работы над «Горем от ума» (1820) предшествует, а затем этой работе сопутствует сосредоточенный поток мыслей и образов, в сознании Грибоедова объединенный темой исторического движения человечества. Уехав из Петербурга на Восток в августе 1818 года и уже неся в себе неформальный замысел «Горя от ума», Грибоедов воспринимает яркие впечатления Кавказа и Ирана. Эти впечатления влекут за собою исторические ассоциации. Скопище «Кавказских громад», из которые, по словам Ломоносова, «Россия локтем возлегла» (Грибоедов вспоминает эти слова), будят в Грибоедове мысли об античной древности, о старейших мифах человечества. «Отъезд далее. Мы вперед едем. Орлы и ястреба, потомки Прометеевых терзателей», — записывает Грибоедов в путевых заметках 1818 года. «Округ меня неплодные скалы, над головою царь птица и ястреба, потомки Прометеевы терзателя», — вновь возникает у него тот же образ в письме к издателю «Сына отечества» в январе 1819 года. Древнейшие библейские образы — начало человеческой жизни — осмыслены Грибоедовым как историче-

ские, понять им как начало жизни человечества. «А хорошо было ночевать Мафусаилам и Ламехам; первый, кто молотом сгибал железо, первый, кто избралал цевницу и гусли,—славой и любовью награждался в обширном своем семействе. С тех пор как есть города и граждане, едем, едем от Финского залива до Тулузы, куда сын Товитов ходил за десятью талантами» — записывает Грибоедов 2 февраля 1819 года. Он остро, художнически перевоплощается в эти древние исторические образы: «Равнины едем до ущелья. Земля везде оголилась... Около горы сворачиваем вправо до Гаргар. Разнообразные группы моего племени, я — Авраам». Еще пример личного чувства, перевоплощения в образы страны: «В виду у меня скала с уступами, точно как та, к которой, по описанию, примыкают развалины Персеполя; а через ветхий мост, что у меня под ногами, ходил гудя; взлетел и, опершись на познанный мшистый камень, долго стоял, подобно Греву барду, не доставало только бороды» (1819).

Ощущение античности облекает у Грибоедова и возникающие ритмические состояния: «Не знаю, отчего у меня вчера во всю дорогу не выходил из головы смешной трагический стих: «Du centre des déserts de l'antique Arménie», — помещено в «Путевых записках» 1819 года. Фантазия художника сталкивает античные образы с образами современности: «Мне пришло в голову, что кабы воскресить древних спартанцев и послать к ним одного нынешнего персиянина велеречивого, — как бы они ему внимали, как бы приняли, как бы проводили?» (1819).

Иран, со всей остротой воскрешает образы древней Руси, и мысль от античности переходит к русскому прошлому Дмитрия Самозванца и царя Михаила Федоровича. И опять действительность осознается через острое художническое личное перевоплощение: «Беседа наша продолжалась далеко за полночь. Разгоряченный тем, что видел и проглотил, я перенесся за двести лет назад в нашу родину. Хозяин представил мне в виде добродушного москвитянина, угощающего приезжих из немцев, фарши — его домохозяином, сам я — Олгарий. Крепкие напитки, сырые овощи и блюда с сахарными брашнями, все это способствовало к переселению моих мыслей в нашу седую старину, и даже увертливый красный человек, который хотя и называется англичанином, а право, нельзя ручаться — из каких он, этот аноним только рассыпался в нелепых рассказах о том, что делается за морем, — я видел в нем Маржерета, выходяща при Дмитрии, прозванном Самозванцем, и всякого другого бродящего иностранца того времени, который в наших термах пил, ел, разжигался и, возвратясь к своим, ругательством платил русским за русское хлебосольство». Картины древнего угнетения и бесправия населения идут в том же плане восприятия: «Рвные уши и батоги при мне», — записывает Грибоедов (1819), употребляя древнерусский термин «батоги» — для иранских палок.

«Рабы, мой любезный... Недавно одного областного начальника, невзирая на его 30-летнюю службу, седую голову и алкоран в руках, били по пятам, разумеется, без суда...»

В феврале 1820 года Грибоедов пишет Катенину из Тавриза, вспоминая весну прошедшего 1819 года: «Весною мы прибыли в Тей-

ран... Жар выгнал нас в поле, на летнее кочевье, в Султанейскую Равнину, с Шааен-Шах Царем Царей и его Двором. Ах! Царь Государь! Не по длинной бороде, а впрочем во всем точь в точь Ломоносова Государыня Елизавет, Дщерь Петрова. Да вообще что за люди вокруг его. Что за нравы! Когда-нибудь от меня услышишь, коли не прочтешь... Начать их обрисовывать, хоть слегка, завело бы слишком далеко, в год чего не намоглись». Персия воспринималась как сгусток крепостничества — от этого вывода путь лежал к мыслям о России. Ираюская обстановка напоминала русское средневековье. Он жил как бы в сгущенном прошлом своей страны, был отброшен в это крепостное прошлое, против которого в настоящем уже был пробужден его протест. Наблюдение над упомянутой выше расправой, когда областного начальника, невзирая на его 30-летнюю службу и седую голову, били по пятам, «разумеется, без суда», непосредственно предшествует уже цитированной ранее мысли: «В Европе, даже и в тех народах, которые еще не добыли себе конституции, общее мнение, по крайней мере, требует суда винозатому, который всегда нарушают». Раздумье над деспотическим правлением рождалось в потоке мыслей об закономерной исторической смене одного социального строя другим; «в деспотическом правлении старшие всех подлее» (1819).

Вдумаемся в тот политический и социальный критерий, который отбирает явления из массы льющихся в сознание новых впечатлений и дает им оценку. Это критерий передового человека своего времени, осуждающего деспотизм, критерий сторонника конституционного устройства страны, добываемого народами. Этот критерий, пронизанный мыслью об исторической закономерности, — одно из завоеваний просветительской философии и передовой науки грибоедовского времени. Правовой критерий, при помощи которого рисуется и оценивается наблюдаемое явление, почерпнут в системе идей, противных деспотизму и самовластию: «Мирза потерял значительную сумму. Нашли воров и деньги, которые шах себе взял» (1819).

«19-го. Юсуф-Хан-Спадар делал учение с пальбою.

20-го. Шах его потребовал к себе.

— К чему была вчерашняя пальба?

— Для обучения войск вашего величества.

— Что она стоила?

— 2000 р. из моих собственных.

— Заплатить столько же шаху за то, что назвали без его спросу» (1819).

Деспотизм — постоянная тема размышления: «И эта лестница слепого рабства и слепой власти здесь беспрерывно восходит до бега, хана, беглер-бега и каймакама, и таким образом выше и выше». «Всего несколько суток, как я переступил границу, и еще не в настоящей Персии, а имел случай видеть уже не одних самовольных поступков».

Пользуясь тем же передовым критерием, Грибоедов давал оценку нравам и отношению к достоинству человека: будущий автор образа Максим Петровича, который сгибался в перегиб, когда надо было подслужиться, записывал в путевом дневнике наблюдения над «велеречивым персиянином»: «В Европе, которую моралисты вечно упрекают порою нравам, никто не льстит так бесстыдно» (1819).

Эта работающая над историческим

осмыслением виденного передовая мысль находит неожиданные критерии сравнения из жизни широкого мирового круга других стран. Грибоедов никогда не был в Америке, но у него, художника, было отчетливое зрительное представление об этой стране, достигнутое воображением; спускаясь к Арагве, Грибоедов отмечает «неожиданно веселую» картину: «Арагва внизу, все в кустарниках, тьма пашней, стад, разнообразных домов, башен, хат, селений... иные дики, как в американских плантациях».

Течение времени в веках, осознание исторического движения, поступательного хода исторического процесса было острейшим впечатлением Востока. Это был именно целый поток мыслей, постоянное их сосредоточение на этих вопросах накануне творческой вспышки и оживления работы над «Горем от ума». Грибоедов прочно был включен в русло исторического размышления и сравнения, а русло это вело к еще более острому, чем раньше, осознанию крепостничества как переходящей исторической формы.

Таким образом среда высоких мыслей о положении родины, о течении мировой истории, о развитии социального, политического строя и культуры человечества была как бы питательной средой идей, окружавших замысел «Горя от ума». Постоянное сравнение виденного с Россией, соотнесение к ней новых наблюдений — эта особая подслушанная работа сознания имеет несомненное отношение к творческой вспышке 1820 года. В этом свете понятно, как обостренно и художественно-отчетливо стала восприниматься уже ранее наблюдаемая и положенная в основу замысла комедии коллизия — столкновение двух миров, старое — крепостническое, с новым, молодым — антикрепостническим.

### III

Но изложенные выше соображения, конечно, не исчерпывают сложности той, условно говоря, «питательной среды», в которой жил и развивался замысел «Горя от ума». Вдумываясь во всю совокупность обстоятельств жизни Грибоедова на Востоке в период оживления творчества над комедией, отмечаем важнейшую особенность времени, которую никак нельзя не учитывать, изучая обстоятельства рождения «Горя от ума». В Европе развертываются потрясающие народы события — европейская революционная ситуация 1818—1819 годов, накануне которой и зародился у Грибоедова замысел «Горя от ума», переходит в революцию в том же 1820 году, в конце которого Грибоедов переживает яркую вспышку творчества. Революционные события в Испании, в Неаполе, в Португалии, а затем (1821) в Пьемонте и Греции сотрясают Европу.

Доходит ли их отзыв до далекой Грузии? Может быть, она, столь отдаленная от театра европейских событий, вообще ничего не знала о происходящем в Европе или, узнав после долгого времени, реагировала на события равнодушно и вяло? Фактические данные, частью почерпнутые из архивных источников, рисуют иную картину. То историческое движение, о котором так глубоко думал Грибоедов по пути на Восток и в первые годы своего там пребывания, вновь с опромной силой входит в его сознание уже в форме современных ему европейских событий. «Век нынешний» и «век минувший» во всем контра-

сте своего противостояния еще и еще раз предстают перед ним. А окружающая его в Грузии среда людей вновь охватывает его атмосферой идейного кипения, обмена мыслей о том же столкновении «века нынешнего» с «веком минувшим».

Грузия 1818—1823 годов, и прежде всего культурный центр страны — Тбилиси, была в курсе европейских дел, и оживленный людской коллектив, в среде которого постоянно пребывал Грибоедов, волновался вестями с Запада и глубоко переживал их.

В центре этого человеческого коллектива высилась монументальная фигура А. П. Ермолова, «прокошуга Кавказа» и, как говорит Грибоедов, «сфинкса новейших времен», старого вольнодумца еще екатерининской поры, суворовского ученика, участника антирусского противопривлестельного течения в армии при Павле I, изведавшего в его же царствование алексеевский равелин Петропавловской крепости, лишние чины, ссылку. Грибоедов сразу влюбился в Ермолова, по собственному выражению, «пристал к нему вроде тени». Около Ермолова группировалась многочисленная и разнообразная по возрасту (хотя молодежь явно преобладала) группа единомышленников и приверженцев, которых душевный друг Грибоедова Кюхельбекер тепло объединил в одном слове: «ермоловцы». Он поставил «ермоловцев» в один ряд с самыми дорогими его сердцу воспоминаниями — с «лицейскими» (так называли себя лицеисты), самыми близкими друзьями. Позже в стихотворении на смерть декабриста А. Якубовича Кюхельбекер писал:

Лицейские, ермоловцы, поэты,  
Товарищи! Вас подлинно ли нет?  
А были же когда-то вы согреты  
Такой живою жизнью...

Широкое содружество «ермоловцев» было объединено принципами свободолюбия и общими политическими настроениями. В числе «ермоловцев» — адъютанты Ермолова Н. П. Воейков и И. Д. Талызина, первый из которых был арестован по делу декабристов, Д. О. Бebutов, А. А. Вельяминов и мн. др. Из декабристов, которые прошли через пребывание у Ермолова на Кавказе до декабрьских событий надо указать на П. Каховского, А. Якубовича, В. Кюхельбекера, П. Х. Граббе, Фонвизина, Г. И. Копылова, братьев Александра и Николая Раевских. К этому надо добавить, что Кавказ, по выражению Александра I, вообще был «теплой Сибирью», куда ссылались неблагонадежные элементы, — их было большое скопление в корпусе Ермолова. К «ермоловцам» тесно примыкал ряд передовых грузинских людей, из которых Д. О. Бebutов уже указал выше; сюда же надо добавить Е. О. Палавандова, а будущего тестя Грибоедова, замечательного грузинского поэта Александра Герсевановича Чавчавадзе, надо отметить особо. Тесть, кстати сказать, был старше зятя всего лет на восемь (А. Г. Чавчавадзе родился в 1787 году), между ним и Грибоедовым, в сущности, не было разницы поколений. А. Г. Чавчавадзе принимал участие в кампании 1812 г. и заграничных походах, побывал вместе с русской армией в Париже и вернулся в Россию в составе того же самого лейб-гвардии гусарского полка, где служили П. Я. Чаадаев, Н. Н. Раевский, П. Н. Каверин.

Что особенно интересно, на Кавказе в при-

боевое время были люди, оказавшиеся живою связью с революционными событиями Запада. Николай Николаевич Квартано, сын русского консула в Испании, отпосылал за границу навестить отца, там присоединился к революционному отряду генерала Мина, боролся против Фердинанда VII, после победы реакции бежал в Бразилию, потом скитался по Европе, вернулся в Россию, был разжалован и попал в ссылку на Кавказ, в ряды того же Нижегородского драгунского полка, с которым у Грибоедова через Якубовича и А. Г. Чапчавдзе были особо прочные связи. Особенно примечательна фигура испанского революционера дона Хуана Ван-Галена, личного друга Антонио Квируги. Ван-Гален бежал из инквизиционной тюрьмы Мадрида и в конце концов оказался в грибоедовское время офицером Нижегородского драгунского полка и другом декабриста Якубовича. Ван-Гален довольно длительное время проживал в Тбилиси одновременно с Грибоедовым. Сюда, на Кавказ, к Ван-Галену приходили письма от революционных друзей, в частности от уже упомянутого генерала Мина. Узнав о победе революции в Испании, Ван-Гален уехал на родину и позже поддерживал переписку с друзьями в Тбилиси. Ван-Гален принадлежит интересный рассказ о дуэти Грибоедова с Якубовичем.

Но самым непосредственным вестником исторического движения времени, информатором о политических событиях Запада, конечно, был для Грибоедова В. Кюхельбекер, попавший в «теплую Сибирь» после своего путешествия по революционной Европе и спасенный Ермоловым от многих бед, ему грозивших, Кюхельбекер побывал в Германии, обсуждавшей только что совершившееся убийство доносчика Концебу и чтившей память его убийцы Захля; он посетил Ниццу во время Пьемонтской революции и значительное время провел в Париже, где читал лекции по русской литературе, вызвавшие недовольство царского правительства.

Отметим вместе с тем, что газеты и новые книги постоянно приходили в Тбилиси, в частности получалась и иностранная пресса. Ермолов обладал богатой библиотекой, пользование которой он широко разрешал всем желающим. «Библиотека его была отборная, особенно что касается до военного дела, до политики и вообще новой истории. Он выписывал и получал тотчас все примечательное, преимущественно на французском языке. Значительная часть книг испещрена его замечаниями на полях», — пишет его биограф Погдин. Переписка с издателями новых книг сохранилась в его архиве. По инициативе Ермолова в Тбилиси открылся офицерский клуб с богатой библиотекой, которая выписывала не только русские, но и иностранные газеты (например, «Constitutionnel» — обычный источник информации о западноевропейских делах и для передовой молодежи Петербурга). Сохранилось письмо Р. И. Ховена к Кюхельбекеру, где сообщается о подписке на «Мнемозину» в 1824: для «себя», то есть для библиотеки и знакомых, выписано 10 экземпляров, 50 экземпляров выписано в полках и 13 среди гражданских чиновников. Число по тем временам немалое — 73 экземпляра журнала только для Кавказского корпуса и Тбилиси. Это время

несколько более позднее, нежели интересующее нас в данный момент, но линия тут проявлена та же, что и раньше.

Такова самая краткая характеристика той среды, которая окружала Грибоедова в годы работы над первыми двумя актами комедии.

#### IV

Историческое движение пронизывает «Горе от ума». Оно дано в самой основе замысла — в коллизии двух миров, в столкновении двух лагерей. В. Кюхельбекер, почти что в присутствии которого писал Грибоедов в Грузии «Горе от ума» и которому первому читал он написанное, глубоко объясняет композицию комедии: «в «Горе от ума», точно, вся завязка состоит из противоположности Чацкого прочим лицам... Дан Чацкий — даны прочие характеры, они сведены вместе и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов — и только». — пишет Кюхельбекер. Есть основания думать, что Грибоедов не раз делился с ним мыслями и по вопросу о композиции пьесы, — может быть, эти слова друга доносят до нас и мнение самого автора (ср. письмо Грибоедова к Катенину).

Антагонизм двух лагерей и есть первый двигатель всего движения. Действующие лица пьесы отчетливо делятся на два лагеря. Молодой новатор стоит против лагеря старого мира, против защитников косности и отжившей старины и вызывает их на бой. За спиной героя, который один против многих — таков замысел пьесы — вышел на борьбу с крепостническим миром чувствуется немало сторонников. Это не только князь Федор, племянник князя Тугоуховской, который «чинов не хочет знать» и «в деревне книги стал читать», не только двоюродный брат Скалозуба, который «службу вдруг оставил», хотя ему следовал чин, но и множество упоминаемых и подразумеваемых лиц, которые уже давно тревожат лагерь Фамусовых и Скалозубов: тут и профессора Педагогического института, которые «упражняются в расколах и беззерии», и преподаватели лицеев и школ, и сторонники «ланкарточных взаимных обучений» и самое множественное число в восклицаниях Фамусова: «Все умудрились не по летам!», «Вот то-то, все вы гордецы!» и мн. др.

В любой пьесе для обеспечения действия нужно не менее двух лагерей. Эти лагери очень часто создаются воображением художника и вытекают лишь из его фантазии, из законного вымысла, даются авторским творчеством. Автор в праве «придумать» любое количество противостоящих и сталкивающихся групп. В пьесе Грибоедова и Катенина «Студент» также имеются два лагеря, делящиеся по признаку: один лагерь хочет, чтобы Варенька вышла замуж за Полюбина, другой против этого. Но замечательной особенностью «Горя от ума» является то, что его лагери не придуманы, а взяты из действительной жизни, имеют историческую реальность и значение. Пьеса родилась из глубочайшего осознания действительности.

Особое историческое качество этих лагерей состояло в том, что они были всемирноисторическим явлением. К моменту европейской

<sup>1</sup> В монографии разбор этой темы дан гораздо более подробно: тут он приведен в самом сокращенном виде.



революционной ситуации 1818—1819 годов они создались в ряде европейских стран. Они стали образовываться ранее, нежели Грибоедов задумал «Горе от ума», и продолжали развиваться, стягивая общественные силы к двум полюсам, позже того, как комедия была написана. Грибоедов словом художника воссоздал схваченное им из жизни явление в процессе его развития. Он выделил как важное и основное именно то, что было основным и важным в реальной жизни и имело богатую судьбу дальнейшего развития. Этот выбор явления и есть один из признаков высокохудожественного творчества.

Как же образовались и проявились эти лагери в реальной русской жизни и как были они осознаны современниками?

В России эпохи декабристов не создается революционной ситуации, и в революцию она не перешла. В этом глубокая подоснова неудачи 14 декабря. Однако в России того времени были налично те исторические процессы, которые подготавливают создание этой ситуации, и шли эти процессы в направлении к ее возникновению, убыстряясь и усиливаясь в своем развитии. Можно сказать, что революционная ситуация в России времен декабристов создавалась, но не создалась. Она не вызрела, не завершилась, хотя и была в процессе становления.

Исходным моментом образования двух лагерей исторической жизни европейских стран явился в изучаемую эпоху период наполеоновских войн. Во время военных действий против Наполеона и направление удара, наносимого Наполеону народным движением и европейскими правительствами,— было общим: внешне это сваление могло быть принято за одну общую цель у народов и правительств — свергнуть иго Наполеона. Это сваление скрывало внешнее проявление различий. К одной цели были направлены военные действия союзных правительств — свалить Наполеона хотел и Александр I, и Веллингтон, и Блюхер, и Аракчеев, и Фридрих-Вильгельм прусский, и австрийский император, и жадно настоорожившиеся по ту сторону Ламанша Бурбоны — гости английского правительства. Этого же — свержения Наполеона — хотели народные массы России, выгнавшие захватчика со своей родной земли в 1812 году и давшие сигнал народам Европы начать борьбу за свое освобождение, этого же хотели народные массы Испании, Италии, Пруссии, Австрии... Однако ближайшая общая цель не означала единства целей конечных: удар правительствами и удар народами наносился во имя разных конечных целей. Правительства воевали во имя восстановления старого и укрепления старого, народы шли в борьбу под лозунгами завоевания нового. Правительства боролись против Наполеона как против узурпатора законных престолов, народы шли на борьбу против тирана и угнетателя. «Вольнолюбивые видели в нем тирана, истребителя свободы, царелюбцы называли его хищником престола», — метко заметил Ф. Ф. Вигель. Сохранить феодально-крепостные устои, вернуть на престолы законных королей, укрепить господство дворянства и основать этот застой на дележе богатого наполеоновского наследства, капитализируя кровь народов, — такова была основная цель правительств. Свергнуть феодально-крепостное иго, ликвидировать абсолютистскую форму верховной власти, добыть себе куплен-

ную кровью политическую свободу, итти вперед, по линии молодого, нового, прогрессивного строя, а не гнить в старой феодальной колее — таковы были цели народов. Правительства демагогически пользовались народными настроениями, и воззвания правительства, пока шла борьба, походили на революционные прокламации.

Русский сенат даже запроектировал было медаль в память 1812 года с надписью «Зарево Москвы осытило свободу и независимость», да, повидимому, во-время спохватился.

Наконец Наполеон был свергнут, цели разъяснились, народы увидели, что они обмануты правительствами. Отсюда растет конкретный процесс борьбы правительств и народов, на которм и воспитывались декабристы. Они остро и отчетливо сознавали его. «Скоро цель конгрессов открылась, скоро увидели народы, сколь много они обмануты. Монархи лишь думали об удержании власти неограниченной, о поддержании расштатовшихся тронов своих, о погублении последней искры свободы и просвещения. Оскорбленные народы погребовали обещанного, им принадлежавшего; — и цепи и темницы стали их достоянием. Цари преступили клятвы свои...» — писал декабрист Каховский в своем письме к Николаю I.

Процесс был так отчетлив, что его прекрасно сознавали и люди других лагерей. Вигель пишет, что после Венского конгресса началась «постоянная борьба народа с правительством», а Греч, вращавшийся тогда в декабристских кругах, писал, что после 1815 года «не в одной России, — во всех государствах Европы народ был разочарован и обманут. Тонули — топор сулили, выгнали — топорича жаль. Низвержение преобладания Наполеонова произошло при восклицаниях «да здравствует независимость, свобода, благоденствие народов, владычество закона!» Венский конгресс показал, что о народах и правах их никто не заботится».

Декабристы с замечательной ясностью понимали, что и русский народ не исключение, что и он обманут. Он боролся за родину, которая могла дать ему освобождение, он надеялся на это освобождение от крепостного права. «Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа», — говорили возвращавшиеся с фронта русские солдаты. Эти слова записаны декабристом. Народ же хотел жить по-старому; об этом говорили участвующие крестьянские волнения, восстания в армии, что было новым для Александра. Об этом говорили донские волнения 1820 года, волнения в военных поселениях. Тот русский ополченец, который был задуман Грибоедовым в пьесе «1812 год», тоже не хотел жить по-старому: он боролся за отечество, надеясь на освобождение от крепостного гнета, но вынужден был вернуться на родину «под палки господина» и кончил жизнь самоубийством.

Правительство в России уже начало сознавать, что оно не может управлять по-старому. Сознывая надвигающуюся опасность, оно резко усиливает свою борьбу с нарастающим новым, усугубляет реакционную политику и в то же время мечется среди проектов реформ. Александр I, поддерживая Аракчеева, одновременно поручает Новосильцеву написать проект конституции: он сознает, что правительство не может управлять по-старому. Еще накануне 1812 года Карамзин убеждал его, что полное спасение — в сохранении ста-

ржо, что Россия может и должна жить, как при Екатерине, и что нет программы «преобразования» лучше, чем 50 хороших губернаторов; Карамзин уверял, что полное и неограниченное самодержавие «палладиум России». Однако самодержец после 1812 года видит объективную невозможность отстоять старое: она простекает не от качества его характера, не от степени его европейского образования и не от влияния воспитателя Лагарпа, — эта невозможность рождается российской действительностью. Ее вызывает к жизни объективный ход развития России. И если реформы суть побочные продукты революционной борьбы, то проекты реформ тоже не могут быть ни чем иным, как побочным продуктом того же процесса, только продуктом более незрелым, зеленым, недоразвившимся. Генезис их один. Они также результат объективно складывающегося процесса, независимого от воли отдельных людей.

Сознание близости надвигающегося кризиса возникает у самих представителей государственной власти; это также доказательство невозможности управлять по-старому. Сенатор Дивов, первый советник иностранных дел, помощник Нессельроде, так характеризовал общее состояние управления страной в ноябре 1825 года: «Если проследить все события этого царствования, то мы увидим полное расстройство внутреннего управления... мы видим, что во всех отраслях управления накопился огромный горючий материал, который может каждую минуту вспыхнуть. Исакиевский собор в его внешнем состоянии разрушения является верным подобием правительства. Его испортили, потому, что хотели построить на старом фундаменте новый собор из массы нового материала и в то же время сохранить ничтожную часть старого мраморного здания... Точно так же обстоит дело и с государственными делами: нет твердого плана, все делается в виде опыта, на пробу, все двигаются ощупью...» Секретарь императрицы Марии Федоровны Н. М. Лонгинов в переписке с С. Р. Воронцовым полагал: «В порядке вещей, что рано или поздно Россия не избегнет революции, так как вся Европа прошла через это. Пожар начнется у нас с этих прелюбных военных поселений, даже в настоящее время достаточно одной искры, чтобы все заподыхало». Близкий к русским правительственным кругам Жозеф де Местр, посланник при русском дворе от лишенного владений Сардинского короля, приходил к выводу, что перед Россией стоят только две возможности: рабство или революция.

История классово-борьбы показывает, что в периоды революционной подготовки враждующие классы все отчетливее стягиваются к двум полюсам — к будущему лагерю революционного действия и к лагерю борьбы с революцией. Этот процесс мы можем наблюдать в ряде европейских стран.

Дальнейший ход событий показал, что в России того времени революционная ситуация еще не вызрела, революционный класс не оформился, массовые революционные действия оказались невозможными. Страшно далекие от народа декабристы, представители дворянской революционности, не имели нужной силы. Однако они, «лучшие люди из дворян помогли разбудить народ» (Ленин). «Их дело не пропало» (Ленин).

Отсутствие революционной буржуазии России — одна из существенных особенностей ее революционного движения. Не буржуазия, а дворяне-революционеры выступают в ее истории как деятели буржуазно-революционного переустройства страны, борцы против самодержавия и крепостного права. Происходит выделение из дворянской среды дворян-революционеров, идейная поляризация дворянства. На одном полюсе — сторонники борьбы со всем отжившим в социальном и политическом строе, сторонники боя за новое, за движение страны вперед. На другом полюсе группируются и консолидируются защитники старого. Грибоедов не выдумал двух лагерей, не избрал их в своей поэтической фантазии, — он увидел их в жизни, переработал в творческом сознании и, как защитник нового, воссоздал в комедии жизнь.

Таким образом, самый факт нарастающей дифференциации двух лагерей оказывается проявлением предпосылок революционной ситуации. С этой точки зрения «Горе от ума» отразило всемирно-исторический процесс. Вместе с тем оно художественно отразило это всемирно-историческое явление в его своеобразной русской форме — идейной поляризации русского дворянства, формировании русского дворянско-революционного лагеря. Комедия дает этот процесс в его многообразии и глубине, отразив его в основном на рубеже 1820-х годов, когда и наблюдал его Грибоедов. Герой действует более всего словом — такова была в тот момент тактика ведущей организации передового лагеря — Союза Благочестия. Ленин назвал декабристов людьми, осуществлявшими «руководство политическим движением» своего времени. Говоря о 1825 году, он писал: «Тогда руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам, в особенности офицерам дворянам». Грибоедов, как мы видели, был кровно, теснейшим образом связан с этой средой и в идейном отношении.

## V

Исторические документы декабристского времени многократно констатировали факт образования двух лагерей, лежащий в основе комедии Грибоедова. Один из ярких примеров имеется в архиве «Зеленой лампы» — побочной управы Союза Благочестия: Грибоедов был в Иране, и работа над комедией еще не вступила в период творческого оживления, когда на заседаниях «Зеленой лампы» читался любопытный документ — «Письмо к другу в Германию», посвященное петербургскому обществу:

«Мой дорогой друг!

Вы спрашиваете у меня некоторые подробности о петербургском обществе. Я удовлетворю Вас с тем большим удовольствием, что лишен всякого авторского самолюбия и правдивость — единственное достоинство, на которое я претендую.

Посещая свет в этой столице, хотя бы совсем немного, можно заметить, что большой раскол существует тут в высшем классе общества. Первые, которых можно назвать правдоверными (погасильцами), — сторонники древних обычаев, деспотического правления и фанатизма, а вторые еретики, — защитники иноземных нравов и пионеры либеральных идей. Эти две партии находятся всегда в своего рода



войне, — кажется, что видишь духа мрака в схватке с гением света...

Все различия и видоизменения, которые чувствуются в тоне и манере здешних домов, могут быть сведены к этому главному различию».

Этот текст — прямой комментарий к «Горю от ума».

Факт возникновения двух лагерей в русском обществе свидетельствован и в записках Греча: «Офицеры делились на две неравные половины. Первые, либералы, состояли из образованных аристократов. Последние были служаки, люди простые и прямые (!), исполняли свою обязанность без всяких требований. Аристократы либеральные занимались тогдашними делами и кознями, особенно политическими, читали новые книги, толковали о конституции, мечтали о благе народа...» Никита Муравьев в своей рукописи «Мысли об «Истории Государства российского» Н. М. Карамзина» полагал: «Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом, добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков».

О тех же двух лагерях свидетельствует в своих «Записках» И. Д. Якушкин: «В 1814 году существование молодежи в Петербурге было томительно. В продолжение двух лет мы имели перед глазами великие события, решившие судьбы народов, и некоторым образом участвовали в них; теперь было невыносимо смотреть на пустую петербургскую жизнь и слушать болячиво стариков, зычвающих все старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли от них на 100 лет вперед». В этом замечательном тексте пропасть между двумя лагерями даже образно измерена временем: их разделяет целое столетие. Отсюда, из этого чувства исторического времени, протекшего между лагерями, возникает ироническое название «староверов» и даже «готтентотов», а у Николая Тургенева — «печенегов английского клуба». Защитники косной старинной столь же отдалены от молодого авангарда, как готтентоты или печенег от настоящего времени. Грибоедов употребляет ту же терминологию. Он пишет Бегичеву из Москвы в 1818 году: «Здесьние готтентоты ничему не аплодируют, как будто наперекор петербургским, или: «Ты жалуешься на домашних своих казарменных готтентотов». Декабрист Якушкин пишет: «То, что называлось высшим образованным обществом, большей частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, нас занимавших, показалось бы ужасным преступлением». Там же у него мы встречаем: «По мнению тех же староверов, ничто не могло быть пагубнее, как приступить к образованию народа». Та же терминология в тексте «Горя от ума»: «Пускай меня объявят старовером...» Позже лагерь староверов и «погасильцев» прямо осознавался декабристами в грибоедовских образах. Якушкин пишет в «Записках»: «На каждом шагу встречались Скалозубы не только в армии, но и в гвардии, для которых было непонятно, что из русского человека возможно выправить годного солдата, не изломав на его спине нескольких возов палок».

До катастрофы 14 декабря численность передового лагеря преувеличивалась возбужденными сторонниками нового и стала преумножаться после, в эпоху мемуаров. Отголоском первого впечатления является показание

Александра Бестужева на следствии: «Едва ли не треть русского дворянства мыслила почти подобно нам, но была нас осторожнее». Но Н. Басаргин в своих «Записках» пишет: «Конечно, малое число юных последователей новых идей сравнительно с защитниками старого порядка, между которыми находилось, с одной стороны, закоснелое в невежестве большинство, а с другой — люди, предпочитавшие всему личные выгоды и занимавшие высшие должности в государстве, — было почти незаметно». Истина, повидимому, где-то посредине. Но то обстоятельство, что Грибоедов привноспоставил старому лагерю только одного борца, чуть заметно нарисовав за ним плеяду единомышленников, очевидно, — проявление тонкого чувства исторической истины. Их было все же не так много, этих борцов за новое, и чаще был случай столкновения одного со многими, нежели многих с многими. Мир Фамусовых, Скалозубов, Коробочек, Собакевичей, конечно, был неизмеримо численнее передового лагеря.

Молодой возраст Чацкого — историческое отражение факта — молодости членов передового лагеря. Там, конечно, встречались и более пожилые люди (декабристы Фонвизин, Пассек). Однако молодость решительно преобладала — самому «старому» основателю Союза Спасения, Александру Муравьеву, было 24 года. Чацкий — сверстник декабристов. Молодой возраст, как черту передового лагеря, подметили, кажется, все мемуаристы эпохи. «Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную», — писал Н. Греч, называя кстати имя Грибоедова в качестве примера подобного молодого человека и помещая его в следующий ряд имен: Бестужев, Рылеев, Грибоедов. Каюсь в тюрьме и оплакивая свое вольнодумство, более «старый» по возрасту Матвей Муравьев-Апостол писал: «Первые вольнодумческие и либеральные мысли я получил во время пребывания нашего в Париже в 1814 году. По возвращении нашем в отечество... видал только молодых людей — самое вредное общество».

Среда передового лагеря была, разумеется, неизмеримо шире, нежели среда членов тайного общества; последние были лишь его авангардом. Декабристы были лишь выразителями мнения передовой России. Пущин упоминает о том, что они лишь явко говорили между собою «о возможности изменения желаемого многими в тайне». Якушкин оставил в «Записках» ряд имен нечленов общества, действовавших в духе общества (молодые Левашовы, Тютчев): «В это время таких людей, действующих в смысле тайного общества, сами того не подозревая, было много в России».

Идейная дифференциация начинается в это время поляризовать многие ранее более или менее монолитные организации. Дифференцируется «Арзамас» — на активно-политическое и нейтральное течения. Характерно в этом отношении известное выступление в нем Михаила Орлова. Идет дифференциация в масонстве, отделяется политическое направление от светско-нейтрального, или консервативно-аристократического. Процесс этот заметен на истории той же ложы «Соединенных друзей», к которой принадлежал Грибоедов: в ней постепенно обозначился раскол, часть членов отделялась, образовав ложу «Трех добродетелей». Процесс этой дифференциации коснулся даже Английского клуба — его членами были

и декабристы (Николай Тургенев) и самые заедкие старозеры. «Ну, что ваш батюшка? Все английского клуба старинный верный член до гроба?..» — спрашивает Чацкий Софью. А в третьем действии взволнованно восклицает: «Потом, подумайте, члены английского клуба, — я целые там дни пожертвую мольбе про ум Молчалина, про душу Скалозуба». И Чацкий и Фамусов — члены Английского клуба.

Более того, дифференциация двух лагерей дошла до быта, до повседневности. За ней не надо ездить на каватеру к Никите Муравьеву или вывезти ее на обривках у декабриста Глинка. Нет, она в то время, в сущности, всюду, так глубоко захватила она дворянское общество. Той же самой художественной черта «Горя от ума» — именно в том, что общество делится на два лагеря, собственно, в первой попавшейся и самой обыкновенной дворянской гостиной. Никаких особых сборищ нет в доме Фамусова, это рядовой дворянский дом. Чацкий приезжает туда не сражаться со старозерами, а на свидание с любимой девушкой. И, приехав совсем для другого, он немедленно выявляет собою деление общества на два лагеря.

Два лагеря сознательно стоят друг против друга. Чуть заговорил по-настоящему Чацкий с Фамусовым, последний сейчас же нашел нужные обобщения и квалификации, с предельной ясностью определяющие, с точки зрения старого барина, позицию Чацкого. «Боже мой! он карбонарий», «Опасный человек!», «Он вольность хочет проповедать!» Все эти категории отличает изречения Фамусову, — он не ищет их, не колеблется в определениях, он не раз, очевидно, оперировал ими, раз нашел их с такою легкостью. Даже княгиня Тугоуховская, мать шести княжен, сейчас же находит для Чацкого определение: «Я думаю, он просто якобинец» и полагает, что его «давно бы запереть пора». И даже глухая графиня-бабушка с белейшим запасом слов, и та, недосязав, все же что-то улавливает, вытаскивая нужное слово из арсенала пугающих ее понятий: «Ах, окаянный вольтерьянец!»

После всего сказанного выше ясны теснейшие связи, которые соединяют рождение пьесы в творческом сознании Грибоедова с бытием, его окружавшим. Грибоедов положил в основу пьесы не только зачатейшее явление времени, не только существнейший процесс в истории своей родины в годы своей жизни, — он взял явление в его развитии и художественно обобщил и воссоздал его тогда, когда оно, возникнув не так уж далеко до этого, было полно потенций дальнейшего движения.

В 1811 году двух лагерей в интересующей нас форме еще не было: Якушкин вспоминает офицерство как более или менее однородную дворянскую среду, — пали, курили, играли в карты. Лишь после 1812 года и освобождения Европы появляются отчетливые признаки ясного формирования двух лагерей — офицерские «артеля», серьезное времяпрепровождение, чтение газет, обсуждение политических новостей. Реакционер Ф. Вигель, приехавший к «свету» и дворянской среде еще до 1816 года, был поражен происшедшими переменами; вот его впечатление 1816 года: «Трудно мне изобразить, каким неприятным образом был я изумлен, оглушен пошлым, непонятным сперва для меня языком, которым все вокруг меня

загворило. Молодость всегда легковерна и великодушна и первая вспыхнула от прикосновения электрического слова. Довольно скромно позволял я себе входить в суждения с молодыми воинами; куда тебе! Названия запоздалого, старозера, гасильника так и посыпались на меня и, никем не поддержанный, я умолк».

Вот одна из неопубликованных документов, — донос на передовой лагерь. Довольно пишет: «Поселившись в Петербурге сперва для окончания процесса, а после по литературе, я в 1819 году уже имел обширный круг знакомства, составленный из знатных домов, которые я посещал прежде, служив здесь в полку, из бывших товарищей и соополетателей, из коих все почти или служили отличию или отличались на литературном поприще. С удивлением заметил я, что в Петербурге все занимается политикою, говорят чрезвычайно смело, рассуждают о конституции, о образе правления, свойственном для России, о особах Царской фамилии и т. п. Это прежде вовсе не бывало, когда я оставил Россию в 1809 году. Откуда взялось это, что молодые люди, которые прежде не помышляли о политике, вдруг сделались демократами? Я видел ясно, что посещение Франци Русского Армиию и прокламации союзных против Франци держав, исполненные обещаниями возратить народам свободу, дать конституции, произвели сей переворот в умах».

П. А. Вяземский хорошо подметил нарастающую динамику явления: «Ограниченное чисто заговорщицкое ничего не доказывает, — единомышленников много, а в перспективе десяти или пятнадцати лет вылит целое поколение к нам на секунду».

Явление дифференциации двух лагерей существовало и пьеса «Горя от ума». Грибоедов сбросил явление, за которым было будущее. Не был даже завершен тот обособленный и характерный этап существования и развития двух лагерей, который укладывался в период от возникновения тайных обществ до восстания 1825 года. «Горя от ума» возникло среди этого периода, само став фактором дифференциации лагерей, силой, их развивающей, формирующей революционную идею. В 1825 году, еще до восстания, самое обсуждение комедии после впечатления ее отрывков в «Русской Талии» (1824) показало эту дифференциацию лагерей: Дмитриев и Писарев говорили против пьесы как бы от «старозеров», А. Бестужев, Полевой, В. Оловеский, Сомов защищали ее от имени передового лагеря. И цензура, выйдя на сцену, как представитель господства и власти «старозеров» — не пропустила ее ни в театр, ни в печать.

Замечательное качество пьесы состоит именно в том, что она запечатлела развивающееся явление с большою судьбой.

Ничто так не оттеняет развития этого явления, как сопоставление самой комедии и взрыва 1825 года. Чацкий пока еще только держит гневные речи в гостиной, разговаривает со Скалозубом. Но пройдет 5—6 лет, и они встретятся на Сенатской площади с оружием в руках.

## VI

Но ко всему изложенному выше необходимо добавить еще одну существенную черту. Ни замысел комедии ни смог бы зародиться, ни

сама комедия не могла бы возникнуть без того, чтобы в сознании автора не определился предварительно характер самого критерия, отбирающего явления жизни и претворяющего их в художественный образ.

Никакое описание невозможно без определенного критерия. Это самым прямым образом относится и к художественному образу. Художественный критерий отбора характерного для создания образа — первое, что надо определить, анализируя его состав. Ничто не может быть зарисовано без определенной точки зрения. Где же, в каком лагере находится автор, описывающий образы старого мира в «Горе от ума»? Это и определил его критерий для отбора явлений. Автор, творчески отобразивший все характерное для создаваемого им образа Фамусова или Хлестовой, находится в противоположном им лагере — в лагере Чацкого. В этом критерии — одна из тайн, раскрывающих образы «Горы от ума». Ни Фамусова, ни Хлестову нельзя характеризовать именно такими, как нарисовал их Грибоедов, если поместить себя в лагерь Фамусова и Хлестовой. Как опишет Фамусова князь Петр Ильич, ищущий с ним в свет? Как обрисует Скалозуба господин Н. или господин Д., распространяющие слух о сумасшествии Чацкого? Весьма положительное-благодушные и симпатичными, но, отнюдь не такими, какими нарисованы они в «Горе от ума». Чацкий иронически рисует Скалозуба в разговоре с Софьей именно в том виде, в каком он представляется старому миру: «Но Скалозуб? Вот взглядежь, за армию стоит горой, и примизною стана, лицом и голосом герой». Вот так его примерно и описали бы с точки зрения старого лагеря. Для Хлестовой Скалозуб/ прежде всего «трех сажен удалец». Лиза очень точно описывает Скалозуба с точки зрения Фамусова, когда относит его к сорту зятяев «с звездами да с чинами», да еще и с деньгами: «И золотой мешок и метит в генералы». Сам Фамусов характеризует Скалозуба довольно подробно. Для него это «известный человек, солидный, и слажок тьму отличих навзтал»; у него не по делам завидный чин — он «не нынче завтра генерал». Если сложить все перечисленные приметы, подмеченные, выделенные самим старым лагерем, то получится нечто вроде следующего: «не жених — заглядежь, удалец, стязом сробный, голос громкий, звезды да чины, в генералы метит, чело; век солидный, изобретный и при деньгах — золотой мешок». Вот и все. В этом изображении нет ни грама грибоедовского Скалозуба. Чтобы подметить скалозубовские черты, надо смотреть на Скалозуба из лагеря Чацкого, только тогда получится «хрипун, удавленник, фэгот, созвездие маневров и мазурки», который даст вам фельдфебеля в Вольтеры, «а пикиште, так митом успокоит». Следовательно, все образы старого мира, столь ярко выписанные мастерской кистью автора, только потому и могли быть созданы Грибоедовым, что критерий отбора характерных черт был рожден в лагере Чацкого. Автор сам находился именно там, потому-то он и увидел их такими. Замечательной особенностью этой занятой автором позиции наблюдения является то, что только с этого места и можно видеть движение идущей вперед жизни. Выше обрисованный в старом лагере образ Скалозуба ли-

шен качеством какой бы то ни было точной апохи. Это вообще выгодный военный жених/ Так его могли бы охарактеризовать дочери и какая-нибудь заботливая мамаша екатерининского царствования и хлопотливая тетушка накануне русско-японской войны. Но «хрипун» и «удавленник», дающий вам фельдфебеля в Вольтеры — точные исторические слова александра царствования. Весь грибоедовский образ, содержа высокое обобщение тупого фронтовика и врага всего нового, презирающего просвещение и передозую мысль, вместе с тем является образом фронтовика арачевского времени. Поэтому в пьесе Грибоедова и выявлено с такой силой огромное историческое движение.

Таким образом, «Горе от ума» родилось не только в результате общего осознания автором двух лагерей его времени, их борьбы и исторического движения; автор проник в явления действительности как художник, и в его глубоком понимании закономерного движения действительности родился и его постижение проникновенный — проникающий в существо — критерий отбора черт для художественного образа. Наличие двух лагерей — это и архитектурный план пьесы и критерий создания образов.

«Горе от ума» было задумано Грибоедовым тогда же, когда возникло первое декабристское тайное общество (1816). «Дух времени», который, по словам Пестеля, заставлял везде «кумы клекотать», канун европейской революционной ситуации 1818—1819 годов, дифференцирующаяся на два противоположных лагеря Россия, общение с членами тайного общества — это и есть общественная атмосфера возникновения замысла. Поскольку первый петербургский период жизни Грибоедова есть время первоначального замысла комедии «Горе от ума», пора расстаться с представлением об этом времени как о периоде «прожигания жизни». Замысел комедии родился, рос и развивался в атмосфере раннего, вместе с ним родившегося декабризма. Идеи, которые влекли вперед развитие замысла, были в широком смысле слова декабристскими идеями. Коллизия двух миров — старого и нового — является сразу и основой, композиционным стержнем комедии, без которого рушится замысел и критерием создания образов. Эта же коллизия является и основной исторической предпосылкой декабризма, реального общественно-го движения грибоедовского времени.

Ясно одно: надо расстаться со старым, окостеневшим графаретом грибоедовской биографии и творчества, надо понять автора и рождение великой русской национальной комедии в глубочайшей исторической связи с живым общественным движением времени. Кратко говоря, надо понять их связь с историей. А через это осознать и великое общечеловеческое значение комедии для наших дней. Советскому народу, борющемуся за новое, за самую возможность поступательного движения всего человечества, против сил, стремящихся отбросить человечество к рабству и крепостничеству, дорого то, что в сокровищнице его культуры есть жемчужина, великое произведение о новаторе перед лицом старого крепостнического мира — «Горе от ума». И прав декабрист А. Бестужев, который сказал: «Будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных».

## Об идейности и тенденциозности искусства

В русской художественной литературе, о которой Горький сказал: «Наша литература — наша гордость», неизменно высоко ценилась общественно-идеологическая роль искусства. Всякая попытка снизить великое предназначение искусства служить народу встречала сильный отпор в передовой общественной мысли и критике. «Все в человеке, все для человека», — эти слова Горького могут быть прекрасным эпиграфом ко всей великой русской литературе. Искусство и жизнь были в ней едины и никогда не противопоставлялись с целью возвысить абстрактное «прекрасное» над жизнью, превратить искусство в нечто самодовлеющее, способное жить без связи с действительностью, равнодушное к борьбе народа. Щедрин в гениальной сатире «За рубежом», высмеивающей извращения буржуазного искусства, в нескольких словах определил сущность настоящего искусства: «Мы включаем в эту область человека, со всем разнообразием его определений и действительности».

Вспомним рассказ Глеба Успенского «Выпрямляла». В нем Успенский с негодованием обрушивается на то распространенное в буржуазном обществе понимание искусства, которое исключает из него главное и убивает его душу живую: идейность искусства, связь его с глубокими интересами человека, с судьбами человеческого общества. Герой рассказа, сельский учитель Тяпушкин, побывав в Лувре, не может забыть ни с чем не сравнимое впечатление от статуи Венеры Милосской.

Он вспоминает стихотворение А. Фета, посвященное описанию красоты Венеры: «И целомудренно, и смею, до чресл сияя наготой, цвет божественное тело неуязвимою красой». До чего же мелко воспринято поэтом величайшее произведение искусства, думает Тяпушкин. «Мало-помалу я окончательно уверился, что и Фет без всяких резонов, а единственно только под впечатлением слова «Венера», обязывающего воспевать женскую прелесть, воспел то, что не составляет Венеры Милосской даже маленького краешка в общей огромности впечатления, которое она производит. В самом деле, если художник хотел поработать нас красотой женского тела... зачем он завязал это тело «до чресл»? Уж коли тело, так давай его все целиком; тут уж и лямка какая-нибудь, сияющая «неуязвимою красотой», должна потрясти простых смертных. Вот новые французские скульпторы, так те не то что «красоту», а «истину», «милосердие», «отчаяние» — все изображают в самом голом виде, без прикрасы. Прочтешь в каталоге: истина, а глаза-то смотрят совсем не туда... отчаяние... подойдешь, поглядишь и думаешь

вовсе не об «отчаянии», а о том, что «эка, мол, баба-то... растянулась, — словно белуга».

«И как бы вы тщательно ни разбирали этого великого создания с точки зрения «женской прелести», вы на каждом шагу будете убеждаться, что творец этого художественного произведения имел какую-то другую, высшую цель».

И далее Успенский излагает эту «высшую цель», хорошо передавая тем самым художественный идеал великой русской литературы.

«Ему (т. е. художнику) нужно было и людям своего времени и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными. — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила рукой».

Он брал то, что для него было нужно, и в мужской красоте и в женской, не думая о поле, а пожалуй, даже и о возрасте, и лоя во всем этом только человеческое. Из этого многообразного материала он создавал то истинное в человеке, что составляет смысл всей его работы, то, чего сейчас, сию минуту нет ни в ком, ни в чем и нигде, но что есть в то же время в каждом человеческом существе, в настоящее время пожем на скомканную перчатку, а не на распрямленную... И желание выпрямить, высвободить искаленного теперешнего человека для этого светлого будущего, даже и очертаний уже определенных не имеющего, радостно возникает в душе».

Вот такое понимание искусства свойственно было всем лучшим русским писателям. «Желание выпрямить, высвободить» человека — эта тенденция властно прокладывала себе дорогу в русской литературе и была основной идеей художественного творчества передовых русских писателей. Отсюда та глубокая и органическая тенденциозность, которая так свойственна русской классической литературе, отсюда ее глубочайшая идейность, придававшая ей огромное общественное значение, делавшая ее «учебником жизни», оружием в руках передовых партий и классов. Русская революционная критика — критика Белинского, Чернышевского, Добролюбова, — формулируя основные законы искусства, борясь за подлинно научную эстетику, опиралась прежде всего на опыт русского искусства. В частности, прекрасно разработанный и всесторонне обоснованный ею эстетический принцип идейности и тенденциозности искусства был прямым выражением лучших сторон этого искусства.

Во всей мировой литературе и критике немало можно найти примеров такой острой и яркой постановки вопроса о значении идейности в развитии искусства, как та, которую мы находим в русской критике, развивавшейся, повторяем, на опыте русской литературы. Белинский, Чернышевский, Добролюбов разоблачили, показали всю несостоятельность того взгляда, по которому настоящее искусство и идейность, художественное творчество и сознательные симпатии и антипатии, искусство и тенденциозность несовместимы. Передовые писатели не стеснялись отождествлять литературу и пропаганду, не боялись таким отождествлением принести малейший ущерб искусству. Они прекрасно знали, что этим и не может быть принесен какой-либо ущерб искусству, ибо нет подлинного искусства вне «мыслей и мыслей», как говорил Пушкин. Идейность и вытекающая из нее тенденциозность (в истинном смысле этого понятия) не противоречат законам искусства, а, напротив, является основным его законом.

Его хорошо формулировал Щедрин:

«...Необходимость относиться к явлениям жизни под тем или иным углом зрения, укрепленная воспитанием и всею совокупностью жизненных условий, нисколько не может служить стеснением для творческой деятельности художника, а напротив того, открывает ей новые горизонты, оплодотворяет ее, дает ей смысл. Художник становится существом не только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно принимает своей грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не возбуждает умственную деятельность, не заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные симпатии или антипатии. Без этой подстрекающей силы художественное воспроизведение действительности было бы только бесконечным повторением описания одних и тех же признаков»; «...закон, в силу которого писатель-беллетрист не может уклониться от необходимости относиться к действительности под определенным углом зрения, остается непререкаемым и избежать его имеет право лишь тот, кто в то же время заявляет право и на полное невнимание публики».

Конечно, такое понимание складывалось в борьбе с противоположными взглядами.

Советская литература наследовала эту великую традицию русской классической литературы, обогатив ее новыми идеями, отражающими глубочайший процесс строительства социалистического мира.

И здесь, конечно, в советской литературе, дело не обходится без ошибочных взглядов. Мы воспользуемся некоторыми высказываниями на этот счет, чтобы в своей общей постановке вопроса избежать отвлеченных рассуждений.

В своей книге «Горький среди нас» К. Федин правильно называет вопрос о тенденциозности вопросом, «которым занято искусство всех времен и народов, русское — больше, чем какое-либо иное, а революционное советское искусство — больше, нежели русское когда-либо в прежнее время...»

К. Федин считает, что причина затянувшихся споров на эту тему состоит в том, что обычно не отделяют художника от искусства, творца от его творения. Искусство тенденциозно, но тенденциозно оно лишь объективно, то есть в том смысле, что всякий может извлечь из ис-

кусства ту или иную тенденцию. Но природа самого художника не тенденциозна — он «не хвалит и не порицает», он «не проповедник и не философ».

Свою точку зрения тов. Федин излагает так:

«Причина споров на эту тему, мне кажется, лежит в том, что, говоря о тенденции, кто разумеет намерения художника, а кто — одно из свойств искусства. Искусство тенденциозно. Это значит, что из любого произведения искусства с неизбежностью вытекает тенденция. Но художник не тенденциозен. Это значит, что он свободен от намерения что-либо насильственно придать своему искусству. Такое понимание складывалось у меня из пройденной художественной практики и давало необходимый «воздух» в работе. Я был счастлив найти много позже превосходную иллюстрацию своего взгляда в известной книге Станиславского.

Рассказывая о своей работе над ролью Сатиня в горьковской пьесе «На дне», Станиславский приходит к такому заключению: «...в роли Сатиня я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана (во «Враге народа» Генриха Ибсена). В Сатиние я играл самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении пьесы, и как раз она-то не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике и о тенденции, и она сама собой, интуитивно, создалась».

Нельзя сказать более выразительно о нетенденциозности природы художника».

Конст. Федин. «Горький среди нас», вторая часть. Гослитиздат, 1944 г., 129—130 стр.)

Если бы, однако, причина споров вокруг вопроса о тенденциозности искусства лежала в таких простых вещах, как умение или неумение отделять «намерения художника» от «свойства искусства», то едва ли им было бы занято «искусство всех времен и народов».

Не так уж, в сущности, трудно бы догадаться о существовании найденного тов. Фединым различия, и мыслящее человечество давно уже нашло бы в себе силы подняться до такого «разумения». Если оно не поднялось до него и поныне еще продолжает «споры», то, очевидно, корни их лежат куда глубже, чем это кажется тов. Федину.

Снова вспомним, как ставился этот вопрос в русской литературе, скажем, в 50-х годах прошлого века.

Шла борьба между двумя крайними точками зрения, представителями которых были Дружинин и Чернышевский.

Представитель первой точки зрения, Дружинин, защищавший мысль о нетенденциозности природы художника, писал:

«Твердо верую, что интересы минуты скоропреходящи, что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он (поэт) в бескорыстном служении этим идеям видит свой вечный якорь. Песнь его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и значением» («Библиотека для чтения», 1856 г., ноябрь, стр. 31).

Представитель другой точки зрения, Чернышевский, защищавший мысль о тенденциозности природы художника, называл искусство «учебником жизни» и считал, что каждый человек, который одарен художническим талантом, в

своем произведении сознательно или бессознательно произносит «живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников)».

Судите сами, читатель, в какое нелепое положение попал бы человек, который, вмешавшись в спор между Дружининым и Чернышевским, заявил бы, что источник их споров состоит в том, что оба они смешивают «ячмерания художника» со «свойством искусства», что если бы они видели это различие, Чернышевскому не было бы надобности спорить с Дружининым, а Дружинину с Чернышевским.

Тенденциозность или нетенденциозность природы художника и искусства представляла всегда и представляет сейчас самым большим и острую общественную проблему, чтобы ее можно было решить игрой слов.

Споры на тему о тенденциозности искусства всегда были по существу спорами о назначении искусства, о социальной направленности его, о том, за что, за какие идеалы должно оно бороться, какие стороны жизни оно должно «поощрять и хвалить». Вот почему, а не по какой-либо другой причине, вопрос этот имеет столь долгую жизнь и служит предметом споров во все времена и эпохи.

Гов. Федин рассказывает, что он счастливо был найти подтверждение своей точки зрения у Станиславского. Мы также воспользуемся воззрениями Станиславского, чтобы на опыте этого выдающегося деятеля искусства проверить свои мысли. Станиславский опасается, как он работал над ролью Сатина в пьесе Горького «На дне». Именно из этого описания Федин извлек вышеприведенные слова, которые должны были, по его мнению, служить подтверждением мысли о нетенденциозности природы художника.

Приведем полностью соответствующий отрывок из книги Станиславского.

Рассказывая об экскурсии на Хитров рынок, сошедшей участками спектакля «На дне» с целью изучения быта и типов человеческого «дна», Станиславский пишет:

«После описанной знаменитой экскурсии на дно жизни мне уже было легко делать макет и планировку — я чувствовал себя своим человеком в подполье. Но для меня, как актера, являлась трудность: мне предстояло передать в сценической интерпретации общественные настроения тогдашнего момента и политическую тенденцию автора пьесы, высказанную в проповеди в монологах Сатина. Если прибавить к этому босаяцкий романтизм, который толкал меня на обычную театральность, то станут ясны трудности и опасные для меня, как актера, рыфы, на которые я то и дело наталкивался. Таким образом в роли Сатина я не мог сознательно добиться того, чего бессознательно достиг в роли Штокмана. В Сатине я играл самую тенденцию и думал об общественно-политическом значении пьесы, и как раз она-то не передавалась. В роли же Штокмана, напротив, я не думал о политике и о тенденции, и она сама собой, интуитивно, создавалась».

Снова практика привела меня к заключению, что в пьесах общественно-политического значения особенно важно самому захват мыслями и чувствами роли, и тогда сама собой передается тенденция пьесы. Прямой же путь, непосредственно направленный к самой тенденции, неизбежно приводит к простой театральности.

Мне пришлось немало работать над ролью,

чтобы до некоторой степени отойти от неверного пути, на который я попал первоначально, в заботе о тенденции и романтизме, которые нельзя играть, которые должны сами собой создаться — как результат и заключение правильной душевной работы. («Моя жизнь в искусстве», стр. 456—457.)

Как видим, ни единым словом, ни единой мыслью Станиславский не защищает здесь нетенденциозность природы художника. Напротив, речь идет у него о том, как актер должен играть, чтобы наилучшим образом передать общественно-политическое содержание, а отсюда и определенную тенденцию пьесы Горького. Станиславский вполне справедливо выступает против той «тенденциозности», которая в игре актера лежит на поверхности, а не вытекает из художественного реализма, передающего всю жизненную правду действительности. Вот эту поверхность, которая несовместима с искусством, так как подменяет «мышление в образах» декламацией идей, нельзя отождествить с тенденциозностью как определенным общественным, классовым содержанием и направлением искусства. Это — разные понятия и не различать их значит не понимать самых элементарных вещей.

Искусство должно быть прежде всего искусством, — говорил в свое время Белинский — страстный провозвездник идейного и тенденциозного искусства. Никакие высокие идеи не спасут искусство, если творец его выступает не как художник, а как простой передатчик идей и мыслей. Более того, в литературном произведении, в котором самые прекрасные идеи переданы не средствами искусства, не в форме художественных образов, обесцениваются и самые идеи; они не доходят и не могут дойти до читателя. «Без всякого сомнения, — писал Белинский, — искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, а все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное намерение, дурно выполненное».

Те же мысли высказывал и такой знаток искусства, как Фридрих Энгельс, давший ряд образцов работ в области эстетики и литературной критики. Энгельса, кажется, также меньше всего можно заподозрить в проповеди нетенденциозности природы художника. Он прямо заявлял о своих симпатиях к тенденциозному искусству.

«Я ни в коем случае, — писал он, — не противник тенденциозной поэзии, как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте, и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политически-тенденциозная драма. Современные русские (письмо писалось в 1885 г. — М. Р.) и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все сплошь тенденциозны».

Кажется, яснее выразить свое отношение к тенденциозным художникам невозможно. Однако тот же Энгельс говорил, что тенденция,



внешним образом преподнесенная, не органически вытекающая из самой сущности художественного произведения, из положения и действия героев,—такая тенденция мешает произведению подлинного искусства. «Но я думаю,— добавляет он к только что приведенным словам,— что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось, и что писатель не обязан подносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов». (К. Маркс и Ф. Энгельс. Об искусстве, стр. 63.)

Такое понимание вопроса мы найдем и у Горького. Горький совершенно ясно и определенно говорил о тенденциозности искусства и художника. Еще в своих набросках «Истории русской литературы» (1903 г.) он писал:

«Литература — роман, повесть и т. д. — является наиболее распространенным и удачным приемом пропаганды тех или иных идей».

«Будущи более читаемой и владетеле живости своей убедительной, чем философия, литература этим самым является и наиболее распространенным, удобным, простым и победоносным способом пропаганды классовых тенденций».

«Рассматривая всякого человека, как продукт эпохи, племени, класса, мы, разумеется, по-таким же углом должны рассматривать и писателя...»

Но Горький, резко подчеркивая свою мысль о тенденциозности искусства и художника, вместе с тем, подобно Энгельсу и Белинскому, добавлял, что «для романа мало голых мыслей», что писатель должен давать живой образ человека, в противном случае его произведение не будет произведением искусства: «Для романа необходимо лицо, необходим человек со всей сложностью психики своей».

Вернемся, однако, к Станиславскому. Разве в приведенном из книги Станиславского отрывке речь идет не о том же самом непреложном законе искусства, о котором говорили и Белинский, и Энгельс, и Горький?

«Мне предстояло передать в сценической интерпретации общественное настроение тогдашнего момента (то есть накануне революции 1905 года. — М. Р.) и политическую тенденцию автора пьесы...»

Следовательно, великий русский актер и режиссер сознательно ставил перед собой задачу передать резлюционную тенденцию горьковской пьесы. Но опыт подсказывал ему, что тенденцию играть нельзя, что попытка подойти к разрешению задачи прямым путем чревата неизбежным провалом и умалением общественно-политического содержания пьесы. Искусство не знает легких путей. Оно требует от художника обходных путей, чтобы тем вернее, тем глубже и точнее передать великую идею развивающейся жизни. «Важно самому захватить мыслями и чувствами роли, и тогда сама собой передастся тенденция пьесы»; тенденция должна выступить «как результат и заключение правильной душевной посылки» — вот конечный итог рассуждений Станиславского. Что это значит: тенденция как результат и заключение правильной душевной посылки? Это и значит, что тенденция в произведении искусства должна не навязываться, а вытекать из жизненно-правильного, реалистического изображения действительности, из всего строя художествен-

ных образов, типов, конфликтов, положений, или, как сказал прекрасно тот же Белинский, мысль должна быть в художественном произведении конкретно слита с формой, «составлять с ней одно, теряться, исчезать в ней, проникать ее всю».

Буквально то же самое говорит Станиславский о своей работе над ролью Штокмана в пьесе Ибсена.

Где же здесь основание для умозаключения о нетенденциозной природе художника? Может быть, и тов. Федин также имеет в виду такого рода «тенденциозность», а не идейность художника? Допустим, но какой же тогда смысл в его противопоставлении: художник нетенденциозен, искусство тенденциозно? И художник, и искусство равным образом не терпят того, что несозместимо с самой их природой. Нет, мысль Федина совсем иная: художник сам по себе независим от тех или иных идейных тенденций. Отсюда и его утверждение: «Не тот порицает и хвалит, кто создает искусство, а тот, кто извлекает из него выводы».

Нередко мысль о нетенденциозности искусства и художника основана на том, что искусство — это сфера чувства и сердца и по самой своей природе не принимает сознательных идей, сознательных симпатий и антипатий. Идея будто бы могут лишь насильно быть навязаны искусству, в его же царстве нет места для них. Идейность, тенденциозность внешни по отношению ко всему строю, ко всей душевной организации субъекта искусства; мысль, идея, «проповедь», «философия» — чужеродное в искусстве тело.

Но почему художник должен насильственно навязывать своему искусству те или иные тенденции? Несомненно, всякое «насилие» над волей художника вредит его искусству. Но почему он не может быть добровольным носителем тех или иных идей и тенденций? Что же, тенденциозность идей Пушкина или тенденциозность идей Горького была насильственно «придана» им или эти идеи были душой их искусства, их органическим стремлением, внутренним пафосом их поэзии?

Перелистайте писания многочисленных в прошлом сторонников нетенденциозного искусства и вы увидите, что в качестве основного аргумента всегда, во все времена ожесточенных споров, выдвигалась мысль о том, что между искусством и философией нет мостика, что художник независим от идей.

«Искусство можно назвать цветком человеческих чувствозаний».

«Чувство поэзии имеет много общего с чувством мистического».

«Поэт воистину творит в беспмятстве».

«Художественная оценка, не являющаяся сама до себе художественным произведением, не имеет никаких гражданских прав в мире искусства».

И т. д. и т. п.

Но кто назовет хотя бы одного художника в мире, которого можно было бы считать нетенденциозным, независимо от того, сознательно или бессознательно становился он в своих произведениях на сторону тех или других идей.

Сама объективная общественная жизнь, стремления различных групп, классов, борьба между противоположными стремлениями и интересами, насквозь проникнуты тенденциозностью. Художник живет не в безвоздушном пространстве, и общественная борьба, современником

которой он является, хочет он этого или не хочет, сознает он это или не сознает, так или иначе отразится в каждом его слове, в каждой его мысли. Все дело в том, как эта борьба отразится в произведении художника и какая тенденция будет иметь перевес — тенденция прогрессивных, передовых классов или тенденция реакционных и отживших свой век классов. Конечно, художник может вообразить себя выше всяких противоборствующих тенденций и стремлений, он может жить в свой личный мир или создать какой-нибудь фантастический мирок, до которого не доходят волны бушующего океана современности. Но кто же станет утверждать, что природа такого художника нетенденциозна? Напротив, всякий скажет, что такой художник чрезвычайно тенденциозен, но что это тенденциозность мещанина, обывателя, мелкого человека, помогающего своей «нетенденциозностью» старым силам мира. Никакому художнику — ни гению, ни самому заурядному, — не дано выйти за пределы своего времени и конфликтов, которые для этого времени характерны.

«Личность поэта, — писал Белинский, — не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких явлений извне. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других».

И Белинский, обобщая в этих словах лучшее, что было в мировой и русской литературе, был глубоко прав, говоря, что дух времени не может действовать на художника менее, чем на деятеля в другой области жизни. Человека, который осмелился бы заявить, что природа философа, экономиста, юриста, политика нетенденциозна, просто осмеяли бы. Но есть еще у нас люди, всерьез считающие, что о художнике это можно сказать.

Таким образом, вопрос должен быть перенесен из одной плоскости в другую. Из плоскости рассуждений о том, тенденциозна или нетенденциозна природа художника, в плоскость решения вопроса: какая тенденция помогает художнику творить подлинное искусство и какая тенденция мешает, вредит искусству? Это единственно допустимая и подлинно научная постановка вопроса. В этом сущность вопроса о тенденциозности искусства и художника.

Есть стремления, которые противоречат правде действительности, объективной тенденции исторического прогресса общества. И такая тенденция противоречит и художественной правде. В искусстве же правда — решающее условие, первый элемент художественности. Ложь, говорил Лев Толстой, уничтожает в искусстве всю связь между явлениями: «порочком все рассыпается». Но в то же время художник не есть некая организация, которой свойственно автоматически отражать правду действительности. Художник, как и всякий человек, сын своего времени и класса. Он смотрит на действительность сквозь определенные классовые интересы, которые он или сознательно усваивает и защищает, или бессознательно впитывает в себя. Действительность предстает перед ним, по выражению Шедрина, под определенным «углом зрения», и в искусстве очень много зависит от этого «угла зрения». Идейная тенденция не только не безразлична для искусства, она основной нерв и душа искусства, она создает тот пафос, без которого нет настоящего искусства. Но идейная тен-

денция, расходящаяся с объективной правдой жизни, вносит противоречия в художественное произведение, и как бы велик ни был художник, эти противоречия так или иначе скажутся в его создании.

В этом отношении чрезвычайно поучителен пример действительно великих художников. Велики они прежде всего потому, что в какой бы эпохе ни принадлежали, они пробивали себе дорогу, нередко сквозь чашу всяческих противоречий, к передовым и идейным тенденциям своего времени, и голос их звучал, как голос прогрессивного человечества. Потому их имена и сохранились в памяти человечества и будут жить, пока существуют люди на земле. Великие русские писатели XIX века — достаточно яркое тому свидетельство.

Однако хорошо известно из истории литературы, что те или иные убеждения некоторых великих художников прошлого противоречили правде исторически развивающейся жизни. В этом одна из существенных особенностей вопроса о тенденциозности в искусстве прошлого. Известно также, источником каких мучительных переживаний и колебаний часто было для писателей это противоречие. Горький в своих набросках истории русской литературы приводит поучительный пример: «Воскресение» Льва Толстого.

«Возьмем опять Толстого: задача — найти для дворянина достойное его место в жизни. Попутно автору пришлось коснуться всех сторон жизни, впасть в очевидные для нас и поучительные противоречия с основной своей идеей, много раз нарушать ее цельность, наконец, ему, проповеднику пассивного отношения к жизни, пришлось признать и почти оправдать в «Воскресении» активную борьбу».

Читатель хорошо помнит эпиграф к «Воскресению», в котором выразилась одна из тенденций великого писателя в этом произведении: тенденция примирения, пассивности, самосовершенствования человека как главного условия достижения счастья на земле. И линия Нехлюдова действительно подчинена этой тенденции. Но эта тенденция вопиюще расходилась с тем, что великий русский художник наблюдал в жизни, расходилась с его художнической искренностью, с душевным мужеством гения, который имел силу противостоять неправде и своим же ложным надеждам и верованиям.

Что же получилось в результате этого противоборства между ложной тенденцией и правдой действительности? Даже у такого гения, как Толстой, ошибочная тенденция не могла не сказаться отрицательно, и отсюда те очевидные для каждого противоречия, которые внесены ею в произведение. Как бы насильственно звучит голос Нехлюдова — и его слова противоречат основному положительному смыслу произведения, торжествующему свою победу над проповедью непротивления злу и самосовершенствования. Вы читаете последние заключительные слова Нехлюдова, они должны уверить вас в том, что лишь исполнение евангельских заповедей — «единственный разумный человеческий смысл жизни», но эти слова хотя и нарушают цельность произведения, уже бесильны заглушить в вашей душе жажду борьбы, активной борьбы против реального зла на земле, мешающего человеку жить счастливо. Ибо это стремление возникает из всего содержания произведения, из правдивого изобра-



жения основного драматического конфликта, представленного с той трезвой и честной правдой, на которую был способен Толстой.

Какие выводы напрашиваются из этого примера? Неправильная идейная тенденция дает знать о себе даже в художественных произведениях таких великанов, как Лев Толстой. Но в них—в произведениях подлинного искусства реальная жизнь пробивает себе дорогу, часто преодолевая влияние ложных тенденций. Следовательно, идеалом искусства и художника является совпадение, слияние идейной тенденции с правдой жизни, исторически прогрессивных сил.

Может быть, в связи с этим не лишним будет привести высказывание одного из представителей великой русской критики, которая всесторонне исследовала этот вопрос и дала научно-революционное решение его. Мы имеем в виду следующее высказывание Добролюбова.

«Художник, — писал он, — руководимый правильными началами в своих общих понятиях, имеет все-таки ту выгоду перед неразвитым или ложно развитым писателем, что может свободно предаваться внешним своей художественной натуре. Его непосредственное чувство всегда верно указывает ему на предметы; но когда его общие понятия ложны, то в нем неизбежно начинается борьба, сомнения, нерешительность, и если произведение его и не делается оттого окончательно фальшивым, то все-таки выходит слабым, бесцветным и нестройным. Напротив, когда общие понятия художника правильны и вполне гармонируют с его натурой, тогда эта гармония и единство отражаются и в произведении. Тогда эта действительность отражается в произведении ярче и живее, и оно легче может привести рассуждающего человека к правильным выводам и, следовательно, иметь более значения для жизни».

Вполне понятно, что те или иные общие начала, правильность их или неправильность, имеют исторический характер. Речь идет не о правильности вообще, а о той правильности воззрений художника, которая выражает исторически прогрессивные для своего времени тенденции развития общества.

С этой точки зрения легко понять исторические особенности советской литературы и вытекающую из этих особенностей новую постановку вопроса о тенденциозности искусства и художников в наших условиях.

Всемирно-исторические отличительные особенности советской литературы и искусства заключаются в том, что их идейная тенденциозность и направление полностью сливаются с интересами трудящихся масс, с объективными интересами бесконечного исторического прогресса. Это слияние создает для художника тот идеал в искусстве, который, выражаясь словами Добролюбова, дает возможность художнику абсолютно свободно предаваться внешним своей художественной натуре и не вступать в конфликт с правдой жизни. Идеи советского общества, социалистическая природа его строя открывают невиданные еще в мире просторы для всестороннего развития человека и человечества. Эти идеи и практика советского общества непримиримы ни с какими задержками в историческом прогрессе. Напротив, они наиболее полно выражают исторически возросшую потребность в создании такой обще-

ственной организации, в которой будут устранены все и всякие препятствия, мешающие человеку идти вперед, проявлять свои творческие возможности, жить жизнью, исполненной глубокого смысла и интереса. Никогда еще жизнь общества не достигала такого творческого созидательного подъема, никогда еще таким бурным потоком не текла жизнь народа и никогда еще так не раскрывались душевные силы людей и не сверкали такой человеческой красотой их героические деяния, как в стране, поднятой к новой жизни Великой социалистической революцией.

Вот почему фашизм — самый злейший враг всего человечества и всего человеческого — в советской стране встретил силу, которая не дала ему задушить современную цивилизацию, и которая спасла мир от гибели.

Тенденциозность советской литературы и всего советского искусства — отражение вот этой самой спасительной для человечества борьбы и жизни советского народа, отражение самой сущности советского строя, тающего в себе чудотворные возможности исторического развития во имя человеческого счастья.

Что может быть более плодотворным началом для настоящего художника, живущего жизнью народа, интересами человечества, чем такая тенденциозность, преследующая самые высокие общественные идеалы? В этой идейности, в этой глубоко плодотворной тенденциозности нашего искусства его сила, залог его расцвета. Все лучшее, что было создано советской литературой, все те произведения, которые вошли не только в историю литературы, но и в быт нашего народа, основаны на соединении глубокой советской идейности с правдивым и искренним отношением к впечатлениям действительности.

Какой же смысл в свете всех этих непреложных фактов имеет утверждение тов. Федина, будто бы нетенденциозность природы художника дает необходимый воздух в работе? Не вернее ли было бы сказать, что стремление советского художника не быть тенденциозным равносильно стремлению заткнуть все поры, сквозь которые проходит столь необходимый для художника животный воздух идейности, той идейности, которая удесyatepяет творческие силы писателя, дает ему ясное понимание происходящих событий, создает необходимую гармонию с его художественной натурой и является подлинным ферментом его искусства. Какой же художник в нашей стране — если только он честен и искренен в своем творчестве, если он, как настоящий художник, действительно любит человека — «искусство великое и трагическое» (Горький), если он считает своим долгом возвеличивать человека, — какой же художник вынужден был бы навязывать своему искусству те самые тенденции, души и смыслом которых является подлинная человечность, активное вмешательство в жизнь, с целью искоренения из нее всех сил, губящих и обесценивающих жизнь человека. Не является ли, напротив, первейшим признаком истинного художника, подлинно художественного таланта его органическая тенденциозность, — показатель того, насколько восприимчив он к историческим процессам, совершающимся в нашей стране, — процессам столь значительным и важным для судеб человечества?

Еще один аргумент обычно выдвигается в пользу идеи о нетенденциозности природы художника — несовместимость мастерства с обращением художника к современности: современность — где больше всего тенденциозна, она давит на художника, заставляя его стать на ту или иную точку зрения, овладевает от внутренней сосредоточенности и т. д.; поэтому подлинное искусство и изображение животрепещущих и злободневных вопросов современности составляют некое противоречие.

К сожалению, и этот аргумент можно найти в рассуждениях К. Федина. Тов. Федин, правда, много говорит о том, что лично он, с начала своей писательской деятельности, не мыслит себя, как художника, вне связи с современностью, вне тех вопросов войны и революции, которыми жил весь народ. Но обставляет это таким количеством оговорок, что впечатление читателя невольно раздваивается и ему трудно отделаться от другого, прямо противоположного мнения: настоящее произведение искусства создается не изображением современности, а изображением эпохи, ставшей уже прошлым.

«Да, да, материал современности зыблется — это ощущалось мною до физического страдания, да и не одним мною, а всей молодой литературой, взявшейся за сизифов труд ее создания. Десятки раз уподоблял я этот материал сухому песку, который, будучи зажат в горсти, тем больше утекает сквозь пальцы, чем сильнее сжимаешь кулак. Только тот хорошо знает это коварное и насмешливое свойство материала современности, кто годами пытался удержать в своей руке как можно больше песка нынешнего дня, несмотря на великий и часто легкий соблазн работать на мраморе прошлого. Пример «Войны и мира», ставший классическим, преследовал нас и надоел своей неопровержимостью. Любая большая неудача писателя, изображавшего современность, казалось, упрочиwała тот взгляд, что для написания произведения искусства необходимо расстояние между художником и эпохой, им изображаемой. Ссылка на «Войну и мир», «Фауста» и «Дон-Кихота» обобщала судьбу наших попыток с опытом отцов и дедов, которые устами Флобера утверждали: «Чтобы создать что-либо длительное, необходима твердая база; нас тревожит будущее, нас удерживает прошлое. Вот почему ускользает от нас настоящее».

«Возможно, в интересах искусства и даже просто художественного мастерства я должен был бы обратиться или обращаться к материалу более независимому от злобы дня — к истории...» (123—124 стр.)

Итак, обращение к злобе дня ущербно для интереса искусства и «просто художественного мастерства». Верно ли это? Подтверждается ли это опытом развития мирового искусства? Действительно ли «опыт отцов и дедов» оставил потомкам завещание не братья за изображение современности, так как это снижает искусство и мастерство художника?

Послушаем сначала, какого мнения на этот счет придерживался Белинский, который, как известно, неплохо в своей эстетике обобщал опыт «отцов и дедов» искусства, притом самых лучших и великих предков современного искусства.

Белинский ставит вопрос в упор: мешает ли изображение современности искусству быть

настоящим искусством — и дает на этот вопрос следующий ответ:

«Порча искусства вследствие влияния современных общественных вопросов могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей ступени, но и тут она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного, и еще более — в страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? Верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? Преувеличенная мелодрама, эффекты, небывалые характеры вроде принца Родольфа, — словом все ложное, неестественное, ненатуральное, а все это выходит огню не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности, и никогда — на целое произведение».

Тов. Федин ссылается на Флобера. Почему он не ссылается на Белинского, воспитывавшего великую русскую литературу именно в духе изображения животрепещущих, полных злободневности вопросов современности? Или, может быть, Флобер более прав, чем Белинский? Но кто же не знает, что объективизм, проповедуемый Флобером, был сугубо тенденциозным и способствовал не обострению, а притуплению социального чувства художника.

Послушаем теперь мнение такого знатока и теоретика литературы, как Щедрин: «...когда действительность, втягивает в себя человека усиленно, когда наступает сознание, что без нашего личного участия никто нашего дела не сделает да и само собою ни под каким видом не устроится, тогда необходимость сознать себя трагикомом, необходимость принимать участие в общем течении жизни, а следовательно, и иметь определенный взгляд на явления ее представляется настолько настоятельной, что слеза ли кто-нибудь может уклониться от нее. И чем пристрастнее художник вникает в эти текущие интересы, которые он не без презрительной улыбки именовал временными, тем более убеждается, что это суть интересы не менее важные, нежели те, которые он, переносясь в другую сферу, несколько напыщенно называл вечными, и что, в конечном анализе, не может существовать того мелкого человеческого интереса, который бы не был интересом вечным уже по одному тому, что он интерес человеческий».

Если же взять живую практику мировой литературы, то совсем нетрудно будет убедиться, что «опыт отцов и дедов» служит ярким доказательством того, что изображение современности не только не чуждо искусству, но является душой действительно великого искусства. Пример русской литературы, опять-таки один из самых выдающихся. Чему же он учит?

«Война и мир», — говорит тов. Федин, — преследовал нас своей неопровержимостью». Конечно, если бы Толстой написал только «Войну и мир», он вошел бы в историю как великий художник. Но Толстой велик не только этим своим произведением. Он велик прежде всего тем, что, пользуясь выражением Ленина, глубоко отразил свою эпоху и его произведение — зеркало этой эпохи. Толстой написал «Анну Каренину», «Воскресение», «Утро поме-

щика», «Крейцерову сонату», «После бала», «Власть тьмы», «Людери», «Плоды просвещения» и многие другие произведения, в которых изображал не историю мидян, а живую и современную ему действительность, ставя самые острые вопросы жизни своей страны и народа.

Пушкин также писал исторические произведения — прозаические и поэтические. И в них он велик, и в них проявлялась пушкинская тенденциозность, — вспомним хотя бы изображение Пугачева в «Капитанской дочке». Но Пушкин вошел в историю как величайший художник, давший несравненные картины современной ему жизни России, изобразивший «эпико-поэтическую историю русской жизни». В ней нашло свое отражение все, чем жила Россия его времени: и революционное движение декабристов, и ненависть крепостных к своим угнетателям, и страстное желание лучших людей России видеть свой народ свободным, короче говоря, великая поэзия Пушкина меньше всего создавалась на «мраморе прошлого». Напротив, чем больше поэт обращался к современной жизни, чем сильнее переносились корни его искусства к корням народа, с историческими потребностями народа, тем сильнее, как отметил Белинский, становилось искусство поэта, тем более жизненными соками наливалось оно.

А Гоголь? Может быть, Гоголь велик по-настоящему лишь там, где он обращался к материалу прошлого? Может быть, «Ревизор», «Мертвые души», «Старосветские помещики», «Женитьба», «Шинель», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и другие произведения великого писателя слабы как творения искусства, ибо они до краев наполнены не историей, а горячей злобой дня?

А Лермонтов, Тургенев, Островский, Г. Успенский, Чехов, Горький... Горький, который всеми своими мыслями, каждым движением своей души, всей своей человеческой натурой жил и боролся в современности, о ней писал, ее изображал, был активным борцом рабочего класса за коренные изменения жизни, радовался Человека, Горький, написавший «Мать», «Мои университеты», «Городок Окуров», «Фому Гордеева», «Егора Булычова», «Трое», «Жизнь Клима Самгина» и многие другие произведения, в которых могучий прибой современности не умолкает ни на мгновение.

Оказывается, достаточно утверждение Федина просто сопоставить с оглавлением того, о чем писали великие художники прошлого — «отцы и деды», — чтобы увидеть, что напрасна ссылка на них. Оказывается, что не «мрамор прошлого», а «зыбкий» материал современности, живой дух эпохи волновал художников и не давал им покоя, пока они свои чувства, свои переживания, свои мысли не оформляли в художественных образах.

Что это — случайность или закон? Случайно ли это обращение великих художников к материалу современности, или в этом проявился один из великих законов искусства?

Разумеется, никакой случайности здесь нет. Это закон, которому должен подчиняться всякий талант, если он не хочет себя погубить. Потому и идейно подлинное искусство, что оно не может жить вне этого закона. Художник не живущий вопросами, выдвигаемыми каждой новой исторической эпохой, не оставит следа в истории. Рафаэль, говорил Чернышевский, не

был бы Рафаэлем, если бы он рисовал птичек, арабески, цветочки и перед его картинами не останавливались бы в благоговении. В самой природе искусства заложена эта необходимость творить из фактов живой текущей жизни образы, влетающие в общий хор общественной борьбы, ибо искусство есть одна из форм общественного сознания, определяющегося условиями жизни народа. Народ не может жить и никогда не живет одним прошлым. Он живет настоящим, теми «проклятыми вопросами», которые настоящее рождает. Это коренные вопросы его жизни, его борьбы, его судьбы. Он от них отвлечься не может, ибо они для него — предмет не искусства, а жизни и смерти. Если художник хочет быть голосом своего народа, он не может не писать о том, чем живет народ, что составляет его радость и горе, чем заполнены его мысли и чаяния.

Художник — не сам по себе, не самостоятельное целое, а часть того целого, которое называется классом, народом, обществом. Если он пишет лишь о том, что лично его интересует, он перестает быть органической, необходимой частью этого целого, и народ равнодушно взирает на все его усилия. Нет другого более действительного средства самоуничтожения, художника, чем стремление находиться не на почве современности, как бы эта почва ни была «зыбкой», быстро изменяющейся, не отложившейся еще окончательно... Всякий крупный шаг вперед, делаемый мыслителем или художником, — шаг, означающий переворот в обычных представлениях, имеющих уже прочность предрассудка, — всегда связан с живыми запросами современности, с возведением этих запросов в принцип теории искусства.

По этой причине великие представители искусства могли быть и были подлинными революционерами в своей области, творили новые формы искусства, обогащали язык своих народов и выступали как законодатели, определявшие направление искусства на целые исторические периоды.

Жизнь в современности возвышает искусство. Отвлечение от общественных интересов времени убивает его. Искусство по самой своей сущности — частица и отражение этих общественных интересов, и потому его голос — голос самой современности.

Мы говорили: художник должен, обязан жить современностью, иначе его искусство не будет иметь корней в народе, в действительности. Но этот вопрос должен быть рассмотрен и с другой, так сказать, субъективной, стороны; может ли художник, если он настоящий художник, быть равнодушным к современности? Может и способен ли он, как художническая натура, повернуться спиной к живым событиям времени? Опыт «отцов и дедов», то есть опыт мирового искусства, дает ясный и определенный ответ и на этот вопрос.

«Мыслитель и художник, — писал Лев Толстой, — никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать; мыслитель и художник должен страдать вместе с людьми для того, чтобы найти спасение или утешение. Кроме того, он страдает еще потому, что он всегда, вечно в тревоге и волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра может будет поз-

дно, — он умрет. И потому страдание и самоотвержение всегда будут уделом мыслителя и художника».

То же самое, но другими словами, говорит о природе настоящего художника и Белинский. Современные вопросы и исторические потребности времени должны быть, на его взгляд, «пульсом созданий поэта», «их преобладающей страстью», «их главным мотивом», «основным аккордом их гармонии».

«Ни один поэт не может быть велик от самого себя и через самого себя, ни через свои собственные страдания, ни через свое собственное блаженство; всякий великий поэт потому велик, что жорни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву общечеловечности и истории, что он, следовательно, есть орган и представитель общества, времени, человечества. Только маленькие поэты и счастливы, и несчастны от себя и через себя; но зато только они сами и едущают свои птичьи песни, которых не хочет знать ни общество, ни человечество».

Трудно более ярко выразить то противоречие, которое существует между действительной природой художника и художественного мастерства и мнением, полагающим, что природа матерства требует, чтобы художник выводит свои узоры на «мраморе прошлого».

Если обратиться к опыту советской литературы, то мы в нем найдем подтверждение общего прогрессивного закона развития искусства. Все лучшее, что создано было советскими писателями с первых дней возникновения молодой литературы, было отражением величайшего революционного переворота, произведенного народами нашей страны. Советское искусство появилось на свет как детисца революции и сразу же заговорило новым голосом о новой жизни, о новых людях, о новых человеческих отношениях. И советский народ в этом голосе узнал свою литературу, увидел отражение своей борьбы и своих интересов, и связь между народом и литературой с каждым днем становилась крепче. В этой связи молодые художники советского народа черпали вдохновение для своего творчества, находили ту силу, которая им была необходима для того, чтобы выступить в качестве создателей нового, социалистического искусства.

Совершенно ясно, что вне этой связи просто немислим был бы процесс становления советской литературы. Это не значит, разумеется, что в советской литературе не было и нет места для жанра исторического романа или исторической поэзии. Нельзя себе представлять литературу, которая не обращалась бы к прошлому и не пыталась с точки зрения своего миропонимания осмыслить прошлое. В этом отношении произведения на исторические темы — не изолированная и самостоятельная часть литературы, а ее органический и необходимый элемент.

Будучи всеми своими корнями связана с современностью, помогая народу осуществлять грандиозную программу социалистического переустройства страны, советская литература обязана была по-новому осветить и события прошлой истории, изобразить так, как только она может, те или иные явления исторического развития. Из этой необходимости возникла и выросла на древе нашей литературы сильная ветвь исторического романа: произведения о

Петре I, о декабристах, о Пугачеве, о народных движениях прошлого и т. д. заняли в советской литературе свое почетное место. Без них литература наша была бы беднее. Даже в условиях великой отечественной войны, когда все внимание советских людей сосредоточено на современных событиях, потребность исторического самосознания подталкивала советских писателей к необходимости обратиться к прошлому русского народа и дать произведения о Суворове, Кутузове, о войне 1812 года, о Грозном и т. д.

Но было бы наивно думать, что исторический роман, повествование о прошлом свободно от тенденциозности, что художник, имея дело с историей, может оставить за порогом своей комнаты свои идеи, страсти, свою точку зрения. Современность и здесь врывается в сферу писательского творчества и накладывает свою печать на все, что создает художник. И здесь все зависит от того, какова тенденция художника, каковы его идеи, способен ли он правдиво изобразить историю, руководствуясь правильным пониманием ее. Плодотворным своим стремлением помочь сегодняшней борьбе народа, или он склонен уходить в историю, чтобы не слышать навойливого для него шума современности или даже мешать ей делать свою работу. С этой точки зрения противопоставление «мрамора прошлого» быстро текущей «злобе дня» теряет всякий смысл.

Конечно, при всем этом историческая тема имеет по сравнению с материалом современности свойство отстоявшегося материала. Но разве это обстоятельство хоть сколько-нибудь может поколебать тот факт, что прежде всего произведения о современности, произведения, в которых дана новая эпоха, отражена новая жизнь, — что прежде всего такие произведения являются могучим стволем литературы, ее основным содержанием, тем, что дает ей право быть литературой борющегося народа и выступать от имени народа.

Да, материал современности гибок, подвижен, эластичен, но это тот материал, из которого история лепит новые, более совершенные, более прогрессивные формы жизни. Советский художник в особом положении. Той действительности, в которой он живет, особенно свойственно быстро меняться, рождать ежедневно и ежечасно все новые и новые, небывалые в истории явления. Никогда никакая современность не содержала в себе столько творческих сил, не имела такого запаса созидательной энергии, так бурно не развивалась, как советская современность. Это и естественно. Из советской современности рождается новый мир, и потому так интенсивны и так глубоки процессы, происходящие в ней.

Рождение нового мира, нового человека, новых человеческих отношений — вот та прочная и неизбежная основа, та всепобеждающая движущая сила, которая все изменения и процессы, совершающиеся в нашей действительности, направляет в одно русло и придает им не хаотический, в ясный, прозрачный, строго закономерный характер.

Что может еще более гармонизировать с исканиями художников, с их мечтой о художественном воплощении человека, чем этот процесс рождения нового мира и новых людей, — процесс, в котором все — и малое, и великое — просит на ходст художника, в котором так

глубоко проявляется титаническая сила, характер и красота освобожденного человека. И потому так ценно всякое художественное произведение, которое дает нам возможность ощутить нашу великую современность. Потому так велико воспитательное значение произведений тех советских писателей, которые уже сегодня, в пылу борьбы, когда материал еще не «отстоялся», не стал достоянием истории, дают образ нашего мира и наших людей. Конечно, не во время войны будут созданы многочисленные художественные эпопеи о войне. Но глава тем писателям, которые уже сейчас своими произведениями о войне советского народа против фашистского мракобесия отвечают самым глубоким духовным потребностям миллионов борющихся людей. Пусть это будут первые наброски о великой освободительной войне, но в них — отражение той жизни, которой живет ныне народ, тот обжигающий воздух войны, которым он дышит, те чувства, которыми он охвачен. И такие художественные произведения, будучи элементом, частью общей борьбы, оружием борьбы, необходимы сегодня.

Когда-то Лев Толстой, поддаваясь искушению некоторых своих теоретических взглядов,

был склонен отрицать значение своих несравненных художественных произведений на том основании, что они посвящены не «вечным» темам, а темам «преходящим», «временным». «Дела мои забудутся», — жаловался он. Но его дела не забылись и никогда не забудутся, и именно потому, что в своих произведениях он с гениальной силой поставил не «вневременные» проблемы, а те коренные и животрепещущие вопросы своей эпохи, которыми жили люди целой исторической полосы.

Таково вообще высшее назначение художника.

Таким образом и с этой стороны — со стороны связи между художником и современностью, — отрицание тенденциозности искусства и художника и утверждение их безыдейной и внеисторической природы противоречит всему опыту, всем законам искусства.

Наша советская литература — самая идейная литература в мире. И литература, и творцы ее — советские писатели, гордятся своей тенденциозностью, ибо, повторим еще раз в заключение, эта тенденциозность совпадает с самыми глубокими и жизненными интересами человечества.

По областным изданиям<sup>1</sup>

Еще недавно в Уральских изданиях большое место занимали произведения московских и ленинградских писателей. Эвакуированные вернулись, и теперь уральская литература обходится в основном своими собственными силами. Силы эти не маленькие, и они растут. Очередная книга свердловского альманаха представляет значительный интерес.

Лучшее в отделе художественной прозы — сказ П. П. Бажова «Чугунная бабушка». Прекрасный образ — эта бабушка «вовсе преклонных лет», которая «сидит день-денской за пряжей» «все на одном месте, у кадушки с водой», «сухонькими пальцами нитку подкручивает». И судьба той чугунной фигурки, модель для которой слепил с этой бабушки мастер Василий Торокин, — замечательная и поучительная судьба.

Одно замечание, вернее, вопрос.

«Можно сказать», «понимаешь», «видишь», «значит», «известно», «оно и выходит», «как говорится», опять «известно», «значит», «скажем», «милачок», «вот ты и смекай». Автор подчеркивает, он как будто напоминает читателю: это — сказ, а не рассказ, это не пишется, а говорится. Но ведь сказ говорит за себя сам, и нужны ли такие напоминания?

Ведь тут же, рядом, подлинно разговорная речь, очень живая и непринужденная. Например — о враге Торокина, немецкой тетке. «Каролинке на это вежливоенько и говорят: — Видать, вы, мадам, без понятия в этом деле. Или о каролинкином памятнике: «Крылья большие, а легкости нет...» И дальше, превосходное в своей меткости, насмешливое истолкование этого памятника: «Ангел яичко снес да и думает: то ли садиться, то ли подождать?»

Г. Н. Бояджиева мы знаем и ценим как серьезной, вдумчивой театроведа. Но его беллетристический опыт («Зеленый пружовик») трудно признать удачным.

Есть литературные произведения, в которых тот или иной профессиональный тип переоценивается, изображается с какой-то умиленной и сентиментальной восторженностью. Эта восторженность относится отнюдь не к каждой профессии. Так изображаются преимущественно работники науки и искусства. Сколько, например, написано таких умиленных рассказов о профессорах (обязательно пожилых, седовласых, розовошеких, благодушных, обяза-

тельно чуть-чуть наивных). В рассказе т. Бояджиева с таким умилением изображены актеры.

Актерская бригада приехала на фронт. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что в этом рассказе не столько актеры живут и работают для фронта, сколько фронт существует ради них, для того чтобы восхищаться и умиляться ими. Полковник, отдыхая за чайным столом, рассказывает актрисе о расстреле дезертира только для того, чтобы актриса тут же, за чаем, «твердым, решительным голосом» продекламировала монолог Уриэля Акосты.

«Лицо Зои становилось строгим, на нем легли глубокие тени, голос девушки звучал торжественно и глухо» (стр. 25).

Нужно ведь разбираться, что к чему: фронт для искусства, или искусство для фронта. В «Зеленом пружовике» фронт — лишь оправа для театрального бриллианта.

Такая трактовка была бы неправильной даже в том случае, если бы автор вызел действительно образцовых актеров, носителей подлинного искусства. А тут и актеры-то вовсе не бриллиантовые.

«Деревенские частушки — Преображенская и Солнышков».

Преображенская в ярко-желтом сарафане и кумачевой кофте важно прошествовала под руку с Лешей Солнышковым, одетым в узкие пестрядиные штаны и розовую рубаху. Они стали рядом и нарочито бесстрастными головами заглянули о жгучей любви».

«...И, семеня ногами, прошла по кругу. Вслед за нею плелся «милый» с обиженным видом и гнусаво пел...» (стр. 18).

Казалось бы, ясно, чего стоит такой «эстрадный номер», если подойти к нему трезво, педоловому. Казалось бы, ясно, в чем тут дело: просто-напросто этот театр отправил на фронт третьеразрядную халтуру. Очень нехорошо, когда частушка подается в такой невероятной оглуленно-пейзанской инсценировке и костюмировке, в дурацких узких пестрядиных штанах, каких никто никогда не носил, гнусавыми голосами (смейнее, мол, будет). Это неуважение и к зрителю, и к искусству, и к деревенским людям, и к деревенской песне. А т. Бояджиев с умилением пишет и об этой халтурной паре, и о «балеринках» Рае и Тае («танец со смеей»), и о весьма посредственных острогах и «шуточных загадках» конференсье; уверяет даже, что летчики во время боевых полетов, помнят об этих острогах и загадках. Сам т. Бояджиев как театральный критик не может не знать, что все эти «номера» плохие. Но если для нас они плохие, то зачем же думать, что для фронтников они хороши?

Есть прекрасные работающие фронтовые театральные бригады. Для того чтобы их почитать, чтобы отличить хорошее от плохого, нужно отрешиться от этой умиленности.

<sup>1</sup> «Уральский современник». Альманах Свердловского отделения Союза советских писателей. Книга девятая. Огиз. Свердловское областное издательство. 1944. 112 стр. Ц. 5 р.

Истинное достоинство профессии только выиграло бы, если бы представители ее были изображены более спокойно и объективно и так, чтобы читатель видел, что фронт — не оправа, а цель и смысл их работы.

Полезные очерки Ю. Хазановича «На командном пункте» и Ю. Геглинга «Тагильская сталь». На первом очерке остановлюсь подробнее. Хорошее, нужное дело — рассказать о работе диспетчера, но хотелось бы более пристального проникновения в профессиональное существо изображаемой работы. Когда вы говорите о мастерстве (в любой деятельности), вы должны улавливать то, что требует именно мастерства, и отличать эти проявления мастерства от элементарного профессионального умения. Предположим, что, слушая пианиста-виртуоза, вы удивляетесь: «Какой молодец. И как он ухитряется не путать белых клавиш с черными». Но ведь, для того чтобы их не путать, вовсе не обязательно быть виртуозом. И если вы этому удивляетесь, вы не сумеете раскрыть собственно виртуозные черты и моменты этой игры, не сумеете показать, чем виртуоз отличается от заурядного исполнителя. Такие промахи можно обнаружить у многих наших очеркистов, которые имеют склонность удивляться всему подряд — и тому, чему следует, и тому, чему не следует удивляться.

«...Диспетчер знал не только вес поездов и их длину, ему было известно, чем наполнен каждый из вагонов. И это помогло ему найти решение. Он задерживает поезд с балластом, для ремонта пути, следующий на Восток, и пропускает «на проход», без остановки поезд с грузом Наркомата Обороны, поезд, идущий на Запад, на фронт» (стр. 36). Дальше г. Хазанович рассказывает о других, действительно интересных задачах и решениях. Но этот-то случай совершенно обычный. Поезд с балластом или поезд с оборонным грузом для фронта? Тут и задумываться не приходится. Если на место диспетчера посадить человека, вовсе не знакомого с диспетчерским делом, он, конечно, без всяких колебаний «найдет» именно это решение. И для этого вовсе не обязательно знать, «чем наполнен каждый из вагонов».

В том же очерке: «Огромнейшие завидные пространства, благодаря которым наша страна имеет недосыгаемый тыл, грозные пространства, которые тоже успешно воюют с врагом, — обороняются против нас самих, когда встает вопрос о связи фронта с тылом» (стр. 34). Зачем эта «философия пространства»? Ведь воюют-то не наши пространства, а наши люди.

В отделе поэзии особого внимания заслуживают два небольших стихотворения фронтовиков Дружинина и Скваро и стихи погибшего под Сталинградом уральского поэта Владислава Занадворова (жизни и творчеству В. Занадворова посвящена в рассуждаемом сборнике статья А. Ладейщикова).

На развороченные доты  
Легли прожектора лучи,  
И эти темные высоты  
Вдруг стали светлыми в ночи.

А мы в снегу на склонах гольм  
Лежали молча, где легли.  
Не подымали век тяжелых  
И их увидеть не могли.

Но, утверждая наше право,  
За нами встает на горы те  
Всходила воинская слава  
И нас искала в темноте.

Это стихотворение (В. Занадворова) — лучшее, как мне кажется, из стихотворений сборника.

Стихи К. Мурзиди, как всегда, культурные, квалифицированные, порой, быть может, немножко рассудочные.

#### Стихотворение «Мишкины детали»:

...Мишка делал семь деталей,  
Нажал и сделал десять штук.  
.....

На Волгу дымная дорога  
Вела под осень... Крепких рук —  
Рабочих рук нужна подмога,  
И сделал Мишка двадцать штук.

Держитесь там, под Сталинградом,  
Сильнее бейте по врагу.  
Я вам помочь и вдвое рад бы,  
Да жаль — пока что не могу.

А сам подумал: «Что такое,  
Нельзя ребятам отступать.  
Тут все на месте, под рукою...»  
Нажал и сделал двадцать пять (стр. 4).

Такие стихи можно написать и «абстрактно-дедуктивным методом», без встреч, без разговоров, без какого-нибудь личного отношения к реальному, живому «Мишке». А если бы было личное, непосредственное знакомство с газдем, личное, живое отношение, то внутренний мир Мишки и связь этого мира с фронтом выступали бы ярче, богаче, и стихи были бы более конкретными и более глубокими. «Нажал и сделал». Да если даже и пользоваться «абстрактно-дедуктивным методом», — известно ведь, что дело тут не в одном только «нажмиме», но и в «кажаниях» в творческом подходе к труду... Почему бы не рассказать в стихах об этой изобретательской, творческой стороне мишкиных усилий?

Из двух стихотворений Б. Михайлова одно («О любви») сугубо неудачное.

Хорошо составлен исторический отдел.

«Как мой отец, так и дед и прадед работали в Висерских железных рудниках. Отец зарабатывал 10—12 рублей в месяц. Мать вынуждена была ходить по богатым людям, десятилетний брат работал батраком у коновозчика, а я помогал матери справляться по дому и нянчить ребят.

Когда мне было девять лет, неожиданно погиб отец. Он упал в шахту и разбился насмерть. Со смертью отца положение семьи стало отчаянным. Брат зарабатывал 20 — 25 коп. в день, да мать рубли полтора в неделю.

Года четыре мы с трудом перебивались с хлеба на воду. На пятый я пошел работать на рудник. Это было в половине 30-х годов...»

Так начинаются воспоминания П. П. Ермакова «Из недавнего прошлого». Не знаю, подвергались ли они какой-нибудь литературной обработке. Очень часто такие воспоминания доходят до читателя «заредигированными до бесчувствия», так что исчезают все следы авторской индивидуальности, языка, стиля. Здесь, во всем слухе, мы ощущаем эту ин-



дивидуальность и испытываем к автору симпатию и уважение. О труде горнорабочих старого Урала Ермаков рассказывает увлекательно, с множеством характернейших подробностей, эпизодов, бытовых черт, с сердечной памятью о тех, кто вместе с ним мучился на этой каторге.

Проф. В. В. Данилевский (очерк «Екатеринбургская грань») собрал и систематизировал богатый архивный материал о работе уральских горняков XVIII столетия за пределами Урала (в частности, на Алтае). Перед нами — замечательные люди и замечательные дела. Но литературная форма этого интереснейшего исследования могла бы быть более целостной и органичной. Автор ищет, повидимому, красочной и выразительной речи, обращается иногда к чуть-чуть стилизованным оборотам («в песнях звучат слова о подвигах отважных»), но он не замечает тяжеловесности таких, например, синтаксических нагромождений (посчитайте, сколько раз вам придется останавливаться и переводить дух):

«Простое, но волевое лицо, зоркий и властный взгляд, величавое спокойствие и уверенность в своих силах отлично запечатлены на полотне художником, воспроизведшим одного из выдающихся деятелей века Елизаветы II именно таким, как обрисовываются его совершенные и занесенные в документы дела о служебной жизни генерал-поручика Порошина, прибывшего с Урала на Алтай в 1748 году в должности асессора и именно в связи с работой на Алтае, поднявшегося на высшие ступени в обществе тех дней» (стр. 91). Тяжело. И что значит: «совершенные... дела о служебной жизни»? А если тут другая связь, и «дела» — не именительный падеж множественного числа, а родительный единственного (документы дела о служебной жизни), то к чему тогда относятся слова «совершенные и занесенные»?

«...О многих сторонах труда, проведенного русскими людьми на Урале...» (стр. 86), «...о том труде для родины, который был выполнен людьми Урала...» (стр. 86), «Великий труд

выполнили в XVIII веке люди Урала...» (стр. 89), «...Он выполнил великий труд для страны» (стр. 93), «Труд... сочетался с таким же трудом, проведенным ими на территории, лежащей к западу...» (стр. 101), «Труд людей Урала для родины, выполненный на огромном пространстве...» (стр. 104). Нельзя об этом действительно огромном труде говорить такими монотонно повторяющимися оборотами: труд выполненный, труд проведенный... От «песни о подвигах отважных» это очень далеко и больше похоже на какой-то ведомственный отчет.

«Всматриваясь в выполненные отдельными деятелями чертежи, разбирая на них подписи, свидетельствующие изображенное, еще больше оформлялись линии лиц и характеров, прочно вошедших в старую алтайскую жизнь» (стр. 90). Эта фраза построена по тому же самому принципу, что знаменитая запись о слетевшей шляпе в чеховской жалобной книге. Следовательно бы внимательнее отредактировать этот очерк. Русская историография имеет высокие литературные традиции, которые ко многому обязывают.

Содержательна и очень живо написана статья К. Рождественской «Дороги в Сибирь» — о маршрутах сношений с Сибирью от XVI века до наших дней.

В отделе «Литература и искусство», кроме упомянутой статьи А. Ладейникова, помещена статья И. Эйгеса «Короленко на Урале». И. Эйгес интересно и обстоятельно раскрывает значение пермского периода жизни и творчества Короленко.

Отмеченные выше недочеты (их легко можно было бы заметить и устранить при более внимательной редакторской правке) не определяют лица сборника. Материал, за немногими исключениями, вполне доброкачественный, а в значительной своей части очень ценный. Правильно определена линия: опираясь преимущественно на свое, местное, областное, находить в этом областном общезначимое, важное, интересное для всей страны. Книгу можно считать серьезным достижением издательства и Свердловского отделения ССП.



## Телешов и его „Записки“

**Записки писателя**<sup>1</sup> — шестидесятая книга Николая Дмитриевича Телешова.

Она вышла ко дню, когда ее автор, награжденный орденом Трудового Красного Знамени, праздновал редчайший из юбилеев: шестьдесят лет литературной деятельности.

Эту деятельность Н. Д. Телешов начал семнадцатилетним юношей. Он родился 11 ноября 1867 года, а в 1884 году в московском журнале «Радуга» было напечатано первое его стихотворение.

В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году! Тогда еще писали Салтыков, Островский, Лев Толстой. Юноша Телешов еще был прилежным читателем салтыковских «Отечественных записок», еще восторженно рукоплескал Островскому на первом представлении последней его комедии «Не от мира сего» и трепетно пожимал руку Льву Толстому в его хамовническом доме. Тогда еще много писали, пользуясь большим влиянием, Глеб Успенский и Н. Н. Златовратский, приветливо встретивший первые рассказы Телешова. Тогда еще не было в литературе Антона Чехова, а существовал лишь веселый Антоша Чехонте, писавший в юмористических журналах. Тогда еще Горький (он был на год моложе Телешова) не был писателем, а проходил тяжкий курс своих «университетов» жестокого труда и нужды.

Телешов был участником того периода русской литературы, который выдвинул Чехова, одним из писателей, которые группировались вокруг художественного и идейного знамени Горького.

Телешов не дает в «Записках» своей жизненной и творческой автобиографии.

«Записки писателя» Телешова — это воспоминания не о том, как Я был писателем, а о том, как Мы были писателями, — Мы, от прославленного Чехова до никому неведомого поэта-самоучки, как были писателями люди одного времени, одной страны, объединенные любовью к литературе, удостоенные чести быть писателями. Это чрезвычайно важно для Телешова: одной любви, одной чести. В своих «Записках», обнимающих больше полвека русской литературы, Телешов мог бы говорить о сотнях писателей, с которыми встречался на жизненном пути, но говорит он только о тех, в любви которых к литературе он уверен, в чести, с которой они носили звание писателя, он убежден, — и он обходит молчанием многих, с кем, несомненно, встречался в жизни и литературе. Вот почему наряду с главами, посвященными Чехову, Горькому, Мамину-Сибиряку, у него есть глава, посвященная безвест-

ному Алексею Ивановичу Слюзову, которого никто не знает, но о котором Телешов знает, как беззаветно любил литературу этот нищий поэт 80-х годов, как самоотверженно собирал он вокруг своих сборников таких же, как он, писателей из народа, — и вот почему в «Записках» же Телешова нет не только глав, но даже строчек об иных писателях, чьи имена были достаточно широко известны в 1880—1900-х годах.

«Записки» Телешова — это книга воспоминаний о товариществе и дружбе по писательству, о писательстве как общем, радостном и трудном, культурном деле.

Телешов в «Записках» с теплым вниманием рассказывает о «поэтах из народа» — о рабочих, крестьянах, ремесленниках, чья деятельность прошла вне поля зрения историков литературы, но одушевлена была глубоким убеждением, выраженным одним из поэтов-горемык:

Вековечный застой разбивается,  
Будет грамотен русский народ,  
А где в небе заря занимается,  
Там и красное солнце взойдет.

Для Телешова литература всегда была не личным, а общим делом, где у каждого писателя есть своя доля труда, большая или маленькая, но необходимая для общей удачи дела литературы. Немудрено, что Телешов особенно внимателен к прошлому, особенно щедр на воспоминания становится тогда, когда может вести речь о писательских объединениях, о литературных кружках, о всевозможных начинаниях писательской общечественности, в которых он всегда принимал большое и деятельное участие. К числу наиболее интересных и ценных частей «Записок писателя» принадлежат главы «Писательские кружки», «Среда», рассказ о суриковском кружке.

Н. Д. Телешов был основателем писательского объединения «Среда», просуществовавшего более двадцати лет и включавшего таких писателей, как Горький, Вересаев, Бунин, Л. Андреев, Серафимович, Скиталец и др. С большим сочувствием относились к «Среде» А. П. Чехов и В. Г. Короленко.

«Как хорошо вы все это устроили и живете, как и надлежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писателей теперь охотников стало много», — так отзывался А. М. Горький о телешовской «Среде» в самый расцвет ее деятельности.

Телешов может с законной гордостью указать в своих «Записках писателя», что первые сборники «Знания», изданные Горьким в преддверии революции 1905 года, сплошь составились из произведений писателей из «Среды». Большинство этих произведений даже прочи-

<sup>1</sup> Н. Телешов. Записки писателя. Воспоминания. М. Гослитиздат, 1944. 306 стр. Цена 7 р.

тано было и обсуждено на собраниях «Среды».

Чехов, только что вернувшийся из поездки на остров Сахалин и сочувственно отнесшийся к первым писательским опытам Телешова, советовал ему:

«Поезжайте на Урал. Перешагните непременно границу Европы. Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете. Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах; и клопы вас будут заедать. Но это хорошо. После скажете мне спасибо».

Чехов, по опыту своей поездки на Сахалин, толкал молодого писателя на писательство как на прямое общественное дело. Телешов послушался Чехова, поехал на Урал, увидел в Сибири переселенческую каторгу и рассказал о ней просто, правдиво, неопровержимо точно и вместе глубоко взволнованно в своих очерках и рассказах, вошедших в три его первые книги — «На тройках», «Повести и рассказы» и «За Урал».

Свою тему о народе и его страданиях Телешов взял не из рук «народников», а из рук самого народа, и оттого в его рассказах из жизни переселенцев, уральских шахтеров, сибирских крестьян нет призвука литературного «народничества». Оттого-то рассказы Телешова были с таким сочувствием встречены теми двумя писателями, с которыми было тогда связано все будущее русской литературы и народно-освободительной темы в ней — сочувствием и признанием А. П. Чехова и А. М. Горького.

Горький ценил в Телешове писателя-общественника, чуждого к тревоге времени. Вот почему в глазах Горького были весьма ценны не только уральские и сибирские рассказы Телешова, но и его рассказы, написанные в эпоху революции 1905 года.

Когда Телешов принес Горькому один из таких рассказов, Алексей Максимович приветствовал его:

«Вот так ловко! У вас полицейский и тот же вынес — повесился от существующего режима... Подразнить таким примером кого следует очень, пожалуй, полезно. Эта ненадежность оплота кое для кого заноза теперь подходящая».

«А что вы скажете, если я напишу про черную сотню и выведу попа, который громит эту черную сотню и уходит в крамолу?»

«Чорт возьми! — задумался Алексей Максимович. — Пожалуй, ловко может получиться. Поп — в крамолу!.. Валяйте!.. Дубасьте их в хвост и в голову» (стр. 13—139).

Повесть Телешова «Крамолы» Горький поместил в одном из сборников «Знания», но ни в один из сборников своих рассказов Телешов уже не мог поместить этой «крамольной» повести о крамолы: повесть могла быть снова издана только после Октябрьской революции.

Прочтя в одном из журналов очерк Телешова, посвященный воспоминаниям о «Среде», Горький писал ему в 1924 году:

«Как вы живете? Что же писать совсем перестали? Читал в «Красной» Н(ови) ваши

воспоминания, славно вы написали, но мало, слишком сжато, мне кажется. Ваша «Среда» имела очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи, и когда я дочитал до конца ваши записки, то подумал: вероятно, они не все опубликовал, что хотел. Так?

Дорогой Н. Д., нет ли у вас лишнего экземпляра книги «На тройках»? Если есть — не пришлите ли? Мне бы она на пользу и для удовольствия нужна.. А и беллетристику не пишите совсем?

Крепко жму руку. Будьте здоровы.

А. Пешков».

Н. Д. Телешовым приведен в его книге (на стр. 90) лишь небольшой отрывок из этого примечательного письма А. М. Горького. Приводим его здесь по автографу, переданному адресатом в Музей им. Горького.

В другом письме к Телешову Горький писал:

«Воспоминания» — читал, был тронут кое-чем, славная вы душа! Пришлите книгу — перечитаю вновь. Сильно мы пожилки, не правда ли?

Крепко жму вашу руку, старый хороший товарищ» (стр. 141).

«Записки писателя» гораздо полнее и обширнее, чем те мемуарные наброски, которые с таким внутренним сочувствием некогда читал Горький в одном из журналов.

Есть в книге Телешова еще одно письмо к нему Горького, написанное в 1909 году. В письме этом Горький, борющийся за реализм и освободительную тему в литературе, радуется тому, что его старый товарищ по писательству, Телешов, одинаково с ним «относится к тогдашней литературной разрухе», и в то же время сетует на то, что ценимый им писатель-реалист низко оценивает себя.

Горький говорит далее замечательные слова: «Почто малодушествовать, сударь мой? Хотелось бы мне поговорить с вами о русской литературе и прошлом ее, где великих писателей было больше, чем мы насчитываем, и где так называемые историками литературы «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни» (стр. 140).

Из всего контекста письма видно, что эти слова о «второстепенных писателях», делавших большое дело, Горький относит к самому Н. Д. Телешову.

Шестидесятилетние итоги своей деятельности Телешов подвел в своей шестидесятой книге — «Записках писателя». Но книга эта обращена не к прошлому, а к будущему. Она кончается замечательным обращением к современному советским писателям. «Мне хочется в заключение сказать молодым силам, пришедшим нам на смену и ставшим у руля, что гляжу на них с надеждой, верю в них и желаю им такой же уверенности в том, что быть русским писателем — есть великое счастье в жизни» (стр. 299).

Об этом счастье правдиво и просто рассказал в своей книге старейший из русских писателей наших дней.

## 1. СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

### 1. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

**КАТАЕВ Валентин. Жена. Повести и рассказы. М.: «Советский писатель». 1944. 237 стр. Цена 9 р.**

Сборник состоит из трех повестей («Жена», «Я, сын трудового народа», «Электрическая машина») и трех небольших рассказов («Флаг», «Сон», «Под Сморгонью»). За исключением «Электрической машины» все эти произведения объединены военным фоном. Центральное место в сборнике занимают повести «Жена» и «Я, сын трудового народа». Вторая из них давно известна нашему читателю. Тем не менее красочный образ солдата Семена Котко, изображение борьбы украинского крестьянства в 1918 году с немецкой оккупацией, с украинскими помещиками и их прихлебателями до сих пор актуальны и привлекают своей поэзией и колоритным, характерным языком.

Повесть «Жена», лишь недавно появившаяся в печати, описывает переживания молодой советской женщины, потерявшей мужа во время отечественной войны. Ни по масштабу изображения общенародных событий, ни по значительности образа героини, повесть «Жена» не может быть поставлена рядом с повестью «Я, сын трудового народа».

Хорош, убедителен рассказ о доблестном поведении гарнизона одного из советских фортов («Флаг»), исполненный героико-патриотического пафоса.

Большой заключительный рассказ «Электрическая машина» выпадает из тематического плана сборника. Сюжет рассказа взят из детского быта в дореволюционной России. Рассказ о страстях и разочарованиях двух мальчиков, написанный со свойственным В. Катаеву живым юмором и характерным диалогом, занимателен, и читатель с удовольствием прочтет его снова.

\* \* \*

**КОЖЕВНИКОВ Вадим. Труженики войны. Рассказы. М.: «Советский писатель». 1944. 133 стр. Цена 3 р. 25 к.**

Сборник «Труженики войны», названный по одному из вошедших в него шестнадцати рассказов, состоит из произведений, опубликованных в «Правде» и других газетах и журналах за годы 1942—1944.

В большинстве рассказов сборника В. Кожевников рисует образы скромных, самоотверженных героев фронта, чей не всегда заметный тяжелый труд нередко становится фундаментом победы.

Мастер разведки Чекарьков, проявляющий

удивительный талант в железном деле наблюдения за врагом на переднем крае («Воинское счастье»), девушка механик-водитель танка, с железным упорством преодолевая трудности связи профессии («Катя Петлюк»), сержант Журочкин, незаменимый специалист по ремонту поврежденных танков на поле боя («Старший сержант») — таковы герои рассказов В. Кожевникова.

Художественный уровень рассказов не одинаков. В лучших вещах сборника автору удается передать ощущение того напряжения сил и умения, которых требует война от ее участников, и создать запоминающиеся образы «тружеников» войны. Но есть в книге и поверхностные, бледно скользящие по теме произведения. Таковы, например, рассказы «Москвичка», «Дарья Гурко». Некоторые рассказы портят трафаретный «псевдоевонный» сказ; таков рассказ «Твердый характер». Эта неудачная сказовая манера портит и интересный рассказ «Воинское счастье». Особняком в сборнике стоит рассказ «Тузаламчи», в котором В. Кожевников рассказывает о своих тувинских впечатлениях.

\* \* \*

**ФИШ Геннадий. День рождения. М.: «Молодая гвардия». 1944. 126 стр. Цена 5 р.**

События, охватывающие повесть Г. Фиша, происходят в июле 1943 г. — в дни Курско-Орловской битвы, но за много сотен километров от Курска и Орла — в партизанском отряде, действующем в лесах Карелии.

Встревоженное дерзкими и отважными операциями отряда немецко-финское командование высылает на расправу с ним карательную экспедицию. По приказу штаба отряд должен выйти из вражеского тыла: слишком неравны силы для добрых боев.

Лишенные связи с советским фронтом, партизаны еще не знают о победе, одержанной на полях центральной России, но ни один из них не забывает, что «здесь мы тоже должны отбивать атаки на Курск». Небольшой отряд оказывается сильнее преследующих его карателей; нанеся им тяжелый урон, он достигает Большой земли.

Не только комсомолец Николай Титов, от лица которого ведется рассказ, и любимая им девушка-партизанка Аня являются здесь главными действующими лицами. Сцены героической гибели командира отряда, партизанки Катя — так же как и смерть Ани — стоят в центре событий.

Подробности партизанского быта, фольклорные мотивы и, наконец, суровая, прекрасная

природа Карелии входят в повесть как органически необходимый элемент, составляющий неразрывное целое с действием.

## 2. ПОЭМЫ, СТИХИ, ПЕСНИ

**ДОЛМАТОВСКИЙ** Евг. Вера в победу. Стихи 1941—1943 гг. М. «Советский писатель». 1944. 126 стр. Цена 3 р.

Даже названия разделов сборника свидетельствуют о том, что стихи эти являются дневником солдата великой отечественной войны, который пережил тяжкий путь отступления, веруя в победу, и пошел победителем на запад. О первом периоде войны написаны стихи «В трудные дни», поэма «Пропал без вести»; в разделе «Лирика» собраны стихи, объединенные одной темой — любви солдата; «Разговор Волги с Демом» — это предвестие заслуженной в тяжелых испытаниях победы, и «Танки идут на запад» — первые стихи о замечательной победе советского воина и человека.

Хотя военные стихи являются несомненным свидетельством роста поэта, тем не менее не лирические стихи — главное в этом сборнике, а поэма «Пропал без вести». Ее содержание — трагедия человека, который раненым попал в фашистский плен, бежал и, переживая непомерные трудности, пребывает к своим. Поэма оказалась значительным явлением советской поэзии.

\* \* \*

**РЫЛЕНКОВ** Николай. Отчий дом. Стихи. М. «Советский писатель». 1944. 136 стр. Цена 3 р.

В книге собраны лирические стихи, написанные поэтом в дни войны, и две небольшие поэмы: «Лесная сторожка» и «Возвращение», имеющие подзаголовок «Дневник 1943 года».

С особенной нежностью пишет поэт о своей родиме Смоленщине и земляках, претерпевших все беды нашествия врага. Выделяются в сборнике стихотворения «Иринка хочет домой», «Земляки». В поэме «Возвращение» автор не избегал обычного для первых эпических произведений об отечественной войне граффариго в изображении событий. Многочисленные диалоги в тексте поэмы иногда риторичны. Герои «Лесной сторожки», лесник Громека и его дочка, уходят к партизанам. Уже ставшие привычными картины сожжения родного дома, ухода в лес, партизанских боев у Рыленкова окрашены особым, теплым, животворящим изображением природы.

Рыленков неоднократно декларирует свою любовь к России, к русскому языку, в стихах его, где нет декларативных заявлений, эта любовь звучит еще явственнее и убедительнее. Тем более непростительны ошибки против языка и смысла, допускаемые поэтом при полной снисходительности редактора.

Таковы строки: «Лес не спрячет от погонь...» — правильное сказать: от погони; «И журавли не протрубили трубы...», что значит такой вопрос: «Кто услышит нас кроме?»

Эти досадные промахи портят впечатление от книги стихов Рыленкова. Хотелось бы видеть более тщательную и чистую работу, к которой, несомненно, способен поэт.

\* \* \*

**БУКОВ** Эмилиян. Весна на Днестре. Перевод с молдавского. М. Гослитиздат. 1944. 63 стр. Цена 1 р.

Борьба за свободную и счастливую Молдавию — вот главная тема стихов Эмилияна Букова.

Пишет ли Буков о легендарных героях прошлого: о Кодряне, победившем жестокого врага Ходжю («Сказ о Кодряне»), или о погибшем смертью храбрых витязе Тобултока, из могилы вызывающем о мести («Тобулток»), или о Штефане, которого родная мать не выпускала в дом до тех пор, пока он не победил врагов («Мать Штефана»); пишет ли он о героях современности, во всех произведениях звучит вера: «и свободу мы вернем, и заслужим славу».

В стихах, посвященных прославленному герою гражданской войны Григорию Котовскому, поэт клянется «горячей пулею, сверкающей сабельным... не быть Молдавии врагом заглавленной».

Большинство стихов сборника написано во время отечественной войны.

Ряд стихов рисует сцены из народной жизни («Хора», «Вышивальщица», «Чарка» и др.); картины природы («Победоносная весна», «Ночи Молдавии», «Черешенка»).

Переводы С. Мар, К. Арzeneвой, С. Олендера, В. Дынник, В. Державина и других, в общем, передают то темпераментный, то мягко-лирический тон поэзии Букова. В книжке имеются краткие биографические сведения об авторе и примечания, содержащие объяснение непонятных слов. Однако слова: флуэр, флинта, каза и некоторые другие оставлены без разъяснения.

\* \* \*

**УКРАИНА НЕПОКОРЕННАЯ.** Народные песни и думы. Перевела Надежда Белинович. М. Гослитиздат. 1944. 64 стр. Цена 2 р.

Небольшая книжечка, скромно изданная. В ней шесть авторов: народные сказительницы Галина Прохоченко и Ганна Перевязко, гуцул-красноармеец В. Козлянок, красноармеец Богдаренко и украинцы М. Дубина и Л. Ничипоренко. В сборнике 21 короткое стихотворение («песни и плачи») и 8 длинных («сказы и думы»). Все произведения созданы в период оккупирования немцами Украины; они глубоко патриотичны и имеют в себе все элементы подлинной народной поэзии.

На первом месте по количеству и по качеству произведений стоит Галина Прохоченко. С большой силой она выразила в стихотворении «Сталин с нами» устоявшую во время страшных испытаний веру советских людей в близкое освобождение. Прохоченко принадлежат две большие вещи: «Дума про Отечественную войну» и «Дума про Зою».

Несомненное эпическое дарование обнаружила сказительница Ганна Перевязко. В сборнике помещены четыре ее сказа: «Сказ про Чапая», «Сказ о золотом пере» (которым написана сталинская Конституция), «Сказ про Опанаса и красную книгу» и «Сказ про двух орлов» (о Ленине и Сталине).

Своеобразны сказы (вернее — сказки), записанные со слов гуцула-красноармейца В. Козлянюка: «Сказ о Миколе Бастелло» и «Сказ о трех Миколах».

Хороши лирико-патриотические песни красноармейца Бондаренко и Л. Ничипоренко.

Существенным недостатком сборника является отсутствие сведений о том, кем, когда

и где сделаны записи текстов на украинском языке. Без этих сведений значение сборника как фольклорного документа неполно. Лучше было бы, если бы составительница сборника расположила стихи по авторам.

Сборник сопровождается небольшой вступительной статьей М. Рыльского.

## II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Новые издания И. А. Крылова и книги о Крылове

**КРЫЛОВ И. А.** Полное собрание сочинений. Том I. М. Гослитиздат. 1944. 487 стр. Цена 12 р.

Полное собрание И. А. Крылова, выпускаемое под общей редакцией Демьяна Бедного при участии Д. Д. Благого, Н. Л. Бродского, Н. Л. Степанова, состоит из трех томов. Первый том включает в себя прозу Крылова, второй — драматургию, третий — стихи и басни. Письма и различные документы, принадлежащие перу Крылова, будут опубликованы также в третьем томе.

Задача настоящего издания — дать читателю исчерпывающее полное собрание крыловских текстов, заново проверенных по автографам и наиболее авторитетным прижизненным публикациям. Издание снабжено кратким историко-литературным и реальным комментарием, а также важнейшими вариантами, извлеченными из рукописей или других печатных редакций.

Вышедший в настоящее время первый том подготовлен к печати и прокомментирован Н. Л. Степановым. Основное его содержание составляет сатирическая проза из журнала «Почта духов», текст которой дается по изданию 1789 г., и повести, памфлеты, фельетоны — «Ночи», «Каиб», «Мысли философа по моде», «Похвальная речь в память моему дедушке» и пр. из журнала «Зритель» 1792 г. и «С.-Петербургский Меркурий» 1793 г. Эти произведения вызывают интерес не только как наиболее яркие страницы в истории русской сатирической журналистики XVIII века; они замечательны и как первые опыты реалистической прозы, возвещающей ряд тем и образцов, с которыми мы встретимся в сатире великих русских писателей-реалистов XIX в.

Существенный интерес представляют и театральные рецензии Крылова, помогающие уяснить его литературно-критические взгляды.

Во втором разделе тома напечатаны редакционные предисловия, извещения и переводы, принадлежащие Крылову, а также ряд произведений, приписываемых Крылову.

Примечания Н. Л. Степанова находятся на надлежащей научной высоте с одним досадным исключением. В примечании к «Речи, в которой жалуется сапожник на жену свою...» Степанов пишет: «Судя по французской транскрипции греческих терминов и по характеру черновика... можно полагать, что здесь мы имеем перевод. В. В. Каллаш считает, что... перед нами не столько перевод, сколько переделка какой-то французской статьи» (стр. 476). В научно выверенном издании следовало быть более точным. Крыловский текст является довольно верным переводом известной пьесы Мармонтеля на античное учение о ри-

сторических фигурах, помещенной в знаменитой «Энциклопедии» XVIII века.

\* \* \*

**КРЫЛОВ И. А.** Басни. Редакция, статьи и примечания Н. Степанова. М. Гослитиздат. 1944. 224 стр. Цена в переплете 6 р.

В сборник включены все басни Крылова, известные по одностороннему изданию басен (СПБ, 1843), подготовленному к печати самим автором. Соответственно этому прижизненному изданию басни объединены в девяти разделах, названных книгами, по крыловской традиции. В сборник вошли известные басни «Пир» и «Пестрые овцы», которые при жизни Крылова не были напечатаны по цензурным обстоятельствам. В приложении даны ранние басни Крылова (не вошедшие в «девять книг») и Dubia — «Обед у медведя» и «Конь», с большим основанием приписываемые Крылову. Критико-биографический очерк Н. Степанова, предпосланный басням, отвечает своему назначению.

В книге помещены иллюстрации художников А. Каневского, А. Лаптева, Г. Еченстова. Переплет работы художника-орденоносца Н. В. Ильина.

\* \* \*

**КРЫЛОВ И. А.** Пьесы. М.-Л. «Искусство», 1944. 330 стр. Цена 25 р.

Крылов-баснописец заслужил Крылова-журналиста и драматурга. Большинство авторов, писавших о театре Крылова, отрицали его талант драматурга. Это традиционное мнение пересмотрено в наши дни, и М. Загорский, автор вступительной статьи «Крылов-драматург» в сборнике «Пьесы», справедливо говорит, что «в истории русского театра он по праву должен быть занесен на первые ее страницы как один из значительнейших русских равных комедийных драматургов, шедших вслед Фонвизину, заложившему прочные основы русского реалистического комедийного театра».

В сборник вошли семь избранных пьес Крылова — от комической оперы «Кофейница», написанной четырнадцатилетним Крыловым, до последней его пьесы «Урок дочкам», относящейся к 1807 году. Кроме них, сборник содержит комедии «Проказыники», «Пирог», «Модная лавка», волшебную оперу «Илья-богатырь» и шуго-трагедию «Подщипа» — шедевр крыловского театра. За пределами сборника остались трагедия «Филомела», оперы «Американцы», «Бешеная семья» и «Сонный порошок» (переведенная Крыловым с итальянского), комедия «Сочинитель в прихожей» и неоконченная комедия «Лентяй». Выбор пьес следует признать удачным, и лишь об отсутствии неоконченной, к сожалению, Крыловым комедии «Лентяй» (до нас дошло

полностью первое действие и четыре явления второго действия) можно пожалеть.

Вступительная статья М. Загорского «Крылов-драматург» по содержанию шире своего заглавия, так как в ней говорится и о Крылове — театральном критике, об его театральных высказываниях в журналах и рецензиях на пьесы.

\*\*\*

**ДУРЫЛИН С. И. А. Крылов. М. Гослитиздат. 1944. 72 стр. Цена 1 р.**

**СТЕПАНОВ Н. И. А. Крылов М. «Советский писатель». 1944. 48 стр. Цена 1 р. 25 к.**

В небольших книжках С. Дурылина и Н. Степанова читатель найдет все необходимые сведения о великом русском писателе: важнейшие биографические данные, краткую характеристику его драматургии и журнально-сатирической деятельности, общую идейно-художественную оценку басенного творчества Крылова, наконец ряд высказываний о писателе, принадлежащих Белинскому, Пушкину, Гоголю.

Указывая на ту историческую роль, какую сыграл Крылов в качестве предшественника и до известной степени учителя Грибоедова и Пушкина, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, оба автора подчеркивают глубочайшую народность крыловского таланта. В Крылове поражает не только его изумительное проникновение в русский народный язык и национальный быт, но и та органическая непосредственность, с которой он постиг и усвоил народную мудрость, передал социально-нравственное мировоззрение русского народа с его ненавистью к произволу, тунеядству, насилию, с его здравым смыслом, любовью к родине, чистотой нравственных идеалов.

Сопадая в своем содержании, названные брошюры разнятся между собой по характеру изложения. Книжка Дурылина дает более полный и богатый деталями облик художника. Благодаря нескольким удачно подобранным чертам читателю становится понятной тесная связь крыловских басен с конкретной исторической действительностью, их породившей.

Н. И. Степанов, в своей книжке, более кратко и сжатой, успешно справляется с поставленной перед ним задачей — дать широким читательским кругам верное представление о

жизни и деятельности гениального русского баснописца.

\*\*\*

**БЕЛИНСКИЙ В. Г. О Крылове. Сборник статей и высказываний. Составила К. М. Малышева. Вступительная статья А. Лаврецкого. М. Гослитиздат. 1944. 72 стр. Цена 1 р.**

Творчество Крылова было предметом неустанный изучения великого критика. Показав роль Крылова в развитии русской литературы и сформулировав классическое определение народности баснописца, Белинский возвращался к его творчеству при решении основных вопросов своей эстетики и литературной теории. По значению, которое занимает творчество Крылова в аргументации основных взглядов «истинного Виссариона», великого баснописца можно сравнить лишь с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым, Лермонтовым.

В «Литературных мечтаниях» — статье, которой начиналась в 1834 году журналистская деятельность Белинского, — Крылов назван «гениальным поэтом русским». Эта высокая оценка писателя-баснописца осталась неизменной на всем протяжении критического пути Белинского, вплоть до его последних статей 1848 года. Но концепция Белинского о Крылове складывается из совокупности всех статей о великом баснописце и высказываний критика о нем в других статьях. Собранные воедино статьи и высказывания Белинского составляют многогранную характеристику Крылова, которая в непрерывном движении мысли гениального автора все время уточняется, углубляется, обогащается.

Сборник статей и высказываний Белинского о Крылове, выпущенный Гослитиздатом к юбилейным крыловским дням, отвечает естественному желанию широких кругов читателей знать эту живую характеристику, которая продолжает оставаться наиболее полной и глубокой в литературе о великом русском баснописце.

Предпосланная сборнику краткая вступительная статья А. Лаврецкого содержит необходимые сведения и указания для понимания суждений Белинского о Крылове. К сожалению, высказывания Белинского лишены ссылок на томы и страницы собрания сочинений критика. Это создает некоторые затруднения читателю.

### III. БИОГРАФИИ И ПОРТРЕТЫ

**ВОСЕМЬ БОГАТЫРЕЙ. Сборник. Предисловие генерал-полковника авиации Н. Шиманова. Составили: полковник В. П. Московский и Н. Рыбак. М. «Молодая гвардия». 1944. 134 стр. Цена 6 р.**

Сборник «Восемь богатырей» рассказывает об отдельных выразительных эпизодах из личной и боевой биографии прославленных летчиков: трижды Героя Советского Союза Алексея Покрышкина и дважды Героев Советского Союза — В. Голубева, Д. Глинка, М. Бондаренко, А. Алелюхина, В. Зайцева, В. Ефремова и П. Покрышева.

Их имена известны всей стране. Слава о многих из героев пронеслась по всему миру.

Очерки о Героях Советского Союза написа-

ли: о Покрышкине — Н. Рыбак, о Голубеве — В. Воеводина, о Глинке — Е. Рысс, о Бондаренко — Эль-Регистан, о Зайцеве — А. Письменный, о Ефремове — Г. Семенович, о Покрышеве — А. Садовский.

Лучшие очерки в книге принадлежат В. Воеводину и А. Садовскому. Очерки иллюстрированы портретами восьми героев.

\*\*\*

**ВОДОВОЗОВ Н. Виссарион Григорьевич Белинский. М. «Молодая гвардия». 1944. 109 стр. Цена 2 р. (В серии «Великие русские люди»).**

Книга Н. Водозова о Белинском удовлетворительно разрешает задачу — познакомить

широкого читателя с биографией великого критика. Если детские годы описаны автором сравнительно бегло, то, начиная со времени пребывания Белинского в университете, Водозов использует большой материал, дает интересные сведения о жизни русского критика.

Желательно было бы, однако, чтобы широкий читатель, на которого рассчитана серия «Великие русские люди», подробнее бы ознакомился с творчеством великого критика. Собственно о критической деятельности Белинского в книге Водозова сказано мало и общо, особенно о статьях, написанных после «Бородинской годовщины», то есть о наиболее ценных работах критика. А между тем широкому читателю нужны более конкретные представления о деятельности великого критика. Для этого можно было бы выделить наиболее значительные статьи, например, обзор русской литературы за 1847 год, статьи о Пушкине.

\* \* \*

**АНЦИФЕРОВ Н. П. — И. С. Тургенев. М. Государственный литературный музей. 1944. 131 стр. Цена 2 р. 25 к.**

В небольшой книге Н. П. Анциферова кратко изложены главные этапы жизни И. С. Тургенева. Основное внимание уделено характеристике творчества писателя, обзору произведений, а также общественно-политическим взглядам Тургенева.

Касаясь вопроса об изображении нигилистов в произведениях Тургенева, Анциферов не дает читателю достаточно четкого представления о противоречивости отношения писателя к новому поколению. Тургенев, как реалист, не проходил мимо основных общественных язв своего времени, но будет ясным преувеличением сказать, что писатель с «горячей симпатией» создает образы нигилистов. Тем более, что через две страницы Анциферов пишет об одиночестве Тургенева, им самим создаваемом. Для выяснения этого сложного вопроса автор книги напрасно ни одним словом не обмолвится об участии Тургенева в некрасовском «Современнике», о происходивших там разногласиях, о разрыве с «Современником».

Патриотизм писателя, его кровная связь со всем русским сочлась у него с любовью к западноевропейской культуре. «Он был в большей мере европейцем, оставаясь русским, чем другой европеец, который, будучи немцем, остался только немцем, а будучи французом, — только французом», — удачно сказал об этой особенности писателя Анциферов.

\* \* \*

**ГУМИЛЕВСКИЙ Лев. Дмитрий Константинович Чернов. М. «Молодая гвардия». 1944. 63 стр. Цена 1 р. (В серии «Великие русские люди»).**

Имя великого русского металлурга Дмитрия Константиновича Чернова не пользуется той широкой известностью, какую справедливо заслужил творец металлографии и металловедения, человек, создавший современные методы термической обработки стали. Литература о нем невелика.

Перед Л. Гумилевским стояла нелегкая задача: биографические данные о Чернове скудны, сведений о его личности в литературе так мало, что пойти по обычному пути авторов популярных биографий едва ли было возможно. Это,

очевидно, и предредило особенности данной книжки: перед нами не столько рассказ о жизни Чернова, сколько рассказ об его открытиях и их значении.

Книжка открывается описанием чествования Чернова на заседании комиссии экспертов-металлургов во время Всемирной выставки в Париже в 1900 году, свидетельствующего о международном признании его научных заслуг, без которых не могло бы развиваться сталелитейное дело. Автор посвящает три главы работе Чернова, сделавшей эпоху в науке, — открытию им в 1868 году «критических точек» закалки стали, так называемых «точек Чернова», внесших переворот в практику термической обработки стали. Одна из следующих глав говорит о другой знаменитой работе Чернова — исследовании кристаллизации стали.

Рассказывается в книжке о негодах, достигших знаменитого металлурга, вынужденно в расцвете сил прервать свою напряженную деятельность на Обуховском заводе и заняться разведкой соляных месторождений в Бахмутском уезде. О разнообразности интересов Чернова свидетельствуют его труды по авиации, изготовлению скрепок (скрепки, сделанные Черновым, знатоки не могли отличить от скрепок работы знаменитых итальянских мастеров). Заканчивается книжка главой «Последние труды и дни Чернова». В ней есть интересный эпизод, характеризующий патриотизм престарелого ученого: он отказался переехать в Англию, несмотря на то, что специально для этой цели был направлен в Ялту, где жил в последние годы Чернов, английский миллионер.

Выпуск в серии «Великие русские люди» книжки о Чернове следует приветствовать, как попытку расширить круг общеизвестных имен замечательных русских деятелей именем ученого, бесспорно великого, но мало известного специалистам. На очереди еще много подобных имен.

\* \* \*

**Проф. КОРОБКОВ Н. Фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский. М. Госполитиздат. 1944. 63 стр. Цена 60 к.**

Первый после Святослава русский полководец, войска которого перешли Дунай (за это он получил наименование «Задунайский»), Петр Александрович Румянцев был выдающимся представителем русского военного искусства. Небольшая книжка проф. Н. Коробкова дает его краткую, живо написанную биографию и очерк его военных заслуг.

В восемнадцать лет полковник, Румянцев успешно действовал во время Семилетней войны, решив своими двумя полками исход сражения под Гросс-Егерсдорфом и применив совершенно новую тактику под Трегтовым. Блестящие победы были одержаны им в русско-турецкой войне 1768—1774 гг. — при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Заключенный в 1774 году чрезвычайно выгодный для России Кучук-Кайнарджийский мир являлся доказательством высоких дипломатических дарований Румянцева.

Но он был не только выдающимся полководцем, но и крупным организатором армии. Изданный им в 1770 году «Обряд службы» возрождал забытые традиции Петра и оказал сильное влияние на Суворова, который называл Румянцева своим учителем.



«Он правильно оценил огромное значение и силу внутренних свойств национальной русской армии, которые могли явиться основой для стратегии и тактики, совершенно отличных от прусского военного искусства».

«Основной предпосылкой блестящих успехов полководческой деятельности Румянцева являлось правильное понимание им характера и качеств русского войска. В противовес западной военной доктрине, рассматривавшей армию как бездушную машину, Румянец, как и гениальные последователи его Суворов и Кутузов, видел в солдатах защитников отечества, верил в их внутренние силы, самоотверженность и доблесть».

#### IV. ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, ДОКУМЕНТЫ

**ЯКОВЛЕВ А. С.** Рассказы из жизни. Литературная редакция М. Белаховой. Рисунки К. Арцеулова. М. Детгиз. 1944. 107 стр. Цена в пер. 8 р.

Стержнем, вокруг которого располагаются автобиографические «Рассказы из жизни», является формирование и рост авиаконструктора — от школьника, построившего игрушечную модель планера, до Героя социалистического труда, создателя самого быстроходного и мощного по огневым средствам истребителя «Яка», ставшего грозным оружием Красной Армии в дни великой отечественной войны. Но в этой талантливой книге, несмотря на скромный, сдер-

Он требовал от командиров заботы о солдатах, уважения к ним, повышения в них чувства собственного достоинства, с тем чтобы «честь, заслуженную полком... каждый солдат на себя переносил».

И армия любила своего главнокомандующего, считая его «прямым солдатом».

Крупному историческому значению Румянцева не соответствует слабое состояние литературы о нем. Последняя биография Румянцева вышла в 1849 году. Книжка проф. Н. Коробкова заполняет существующий пробел, своевременно напоминая советскому читателю об одном из виднейших деятелей русской военной истории.

жанный тон рассказа, дается читателю широкая картина воспитания советского человека. Незаурядный характер автора развивается не изолированно: семья, школа, товарищеский коллектив постоянно сопровождают и поддерживают его. В трудные моменты он всегда находит помощь у партии и правительства.

Особенный интерес представляет рассказ о встречах с И. В. Сталиным. «В нашей литературе найдется не много страниц, так ярко и своеобразно рисующих живой, осязательный, человеческий образ Сталина», — с этими словами Л. Кассиля, написавшего предисловие к «Рассказам о жизни», согласятся все читатели.

#### V. ИСКУССТВО

**ОСТРОВСКИЙ А. Н.** О театре. Записки, речи и письма. Общая редакция и вступительная статья Г. И. Владыкина. Примечания К. Д. Муратовой. М. — Л. Искусство. 1941. 215 стр. Цена 9 р. 50 к.

В рукописном наследии А. Н. Островского сохранилось большое количество ценнейших материалов, раскрывающих его взгляды на драматическое искусство, на подготовку артиста, на материальное положение деятелей русской драматургии. Эту мало изученную область деятельности Островского и освещает выпущенный издательством «Искусство» сборник «О театре». В книгу включены как материалы, уже опубликованные в печати (речи на обедах в честь А. Е. Мартынова и С. В. Васильева, выдержки из писем к А. Д. Мысцовской, «Обращение к Московскому обществу», «Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время», «О театральных школах», «Записка о театральной училище», «Соображения и выводы по поводу Мейнингенской труппы»), так и ряд новых публикаций: «Обстоятельства, препятствующие развитию драматического искусства в России», «Об Артистическом кружке», «Записка об авторских правах драматических писателей», «Записка о причинах упадка драматического театра в Москве», «Записка по поводу проекта «Правил о премиях императорских театров за драматические произведения», «О бенефисах», «Соображения по поводу устройства в Москве театра, независимого от петербургской дирекции и самостоятельного управления», «Автобиографическая заметка», «Мысли о драматическом искусстве», письма к С. А. Геденову, М. Н. Островскому, о постановке «Воеводы» и др.

Введением к книге служит обстоятельная статья Г. Владыкина «Островский и театр». В приложениях даны краткие «Примечания» к каждой публикации, именной указатель и указатель пьес, упоминаемых А. Н. Островским. Внешне книга оформлена прекрасно.

\* \* \*

**Академик АСАФЬЕВ Б. В.** (Игорь Глебов). Николай Андреевич Римский-Корсаков. (1844—1944). М. — Л. Музгиз. 1944. 91 стр. Цена 6 р.

Написанная в увлекательной, доступной и для читателя неспециалиста форме, работа академика Б. В. Асафьева насыщена фактическим материалом и отличается глубиной анализа и яркостью обобщения. Первые две главы книги посвящены общей характеристике творчества композитора, причем автор уделяет значительное внимание не только его связям с русской народной песней и эпосом, но и с народным искусством в целом.

Перед читателем проходят в метких, запоминающихся очерках последовательные этапы творческого пути Римского-Корсакова, обрисовываются наиболее важные черты его музыкального мирозерцания и эстетики.

Особенно живо написана вторая — собственно биографическая часть книги. Построенная в форме объективного рассказа о «трудах и днях» Римского-Корсакова, она в значительной степени обладает свежестью и силой прямого свидетельства современника, которое способно сократить расстояние, отделяющее нас от Римского-Корсакова и его ближайших сподвижников. В работе академика Асафьева Римский-Корсаков прежде всего живой человек и в



то же время крупнейший деятель истории русского музыкального искусства. В этом бесспорно заключается одно из главных достоинств книги и удача ее автора. Немало ценных сведений почерпнет читатель в книге академика Асафьева о педагогической деятельности Римского-Корсакова, о его выступлениях в качестве дирижера, а также об его отношении к труду композитора.

Книга академика Б. В. Асафьева достойным образом отмечает исполнявшийся в 1944 году столетний юбилей со дня рождения великого русского композитора.

\* \* \*

**МАРТЫНОВ И. А. С. Даргомыжский, М. Музгиз. 1944. 32 стр. Цена 1 р. (Серия «Классики русской музыки».)**

Брошюра И. Мартынова построена по общему, впрочем, вполне целесообразному, плану популярных очерков жизни и творчества того или иного музыкального деятеля. Мы находим в ней и чисто биографические данные, и сведения о ранних, мало известных произведениях Даргомыжского, и характеристику творческого окружения композитора.

Центральную часть книги занимают страницы, посвященные «Русалке», которая, по замечанию автора, является «лучшей оперой Даргомыжского, вошедшей в золотой фонд русского музыкального театра». Большое внимание И. Мартынов уделяет также романсам Даргомыжского, в которых последний «дости-

гает редкой гибкости и естественности музыкальной декламации». Мартынов вкратце касается оперы Даргомыжского «Каменный гость» — «явления необычайного», по словам автора. Тем не менее объяснить читателю, в чем заключается необычайность «Каменного гостя» и какие последствия опера имела для дальнейшего развития русской музыки, автору так и не удалось, и это составляет наиболее серьезный дефект его книги. «Каменным гостем» Даргомыжский приблизился к творческому подвигу «Могучей кучки», оставшись формально за ее пределами. Если мы вспомним, как было велико влияние «Каменного гостя» на формирование рецитативного стиля Мусоргского, то станет понятным, какой важный этап истории музыкального реализма в России представляет собой эта опера Даргомыжского. Она является высшей точкой развития его таланта и как бы итогом его неутомимого искания «правды» художественного выражения. К сожалению, брошюра Мартынова об этом умалчивает.

Из менее важных недостатков книги следует отметить то, что биографическая основа, ярко выступающая в начале его очерка и придающая изложению большую живость, в дальнейшем почти выпадает из круга интересов автора, вследствие чего облик Даргомыжского в период зрелости и в последние годы его жизни остается для читателя несколько абстрактным и неясным.

## VI. ИСТОРИЯ

### ИСТОРИЯ АРМЯНСКОГО НАРОДА.

Часть I. С древнейших времен и до конца XVIII века. (Пособие для средних школ.) (Академия наук Армянской ССР. Институт истории). Ереван. Изд-во Академии наук Армянской ССР. 1944. 245 стр. Цена 20 р.

Указанная работа является в сущности не только пособием для средних школ, но первым систематическим курсом истории армянского народа на русском языке. Известно, что русская историческая литература насчитывает пока весьма ограниченное количество систематических курсов по истории народов Советского Союза. В частности, если не считать специальных монографий, вся литература более широкого охвата по истории Армении представлена только трудом Валерия Брюсова «Летопись исторических судеб армянского народа», темой которого является преимущественно древняя Армения. Тем более надо приветствовать инициативу Академии наук Армянской ССР, давшую сжатое и четкое руководство по истории армянского народа в целом. До сих пор эта история была мало доступна русскому читателю. Следует также отметить, что вместе с армянским вариантом, этот труд представляет первый марксистский учебник истории Армении.

Первая часть учебника охватывает громадный период около 4 тысяч лет, от первого упоминания о народах наира, современниках ассирийских завоевателей, до нашествия Ага-Мамед-хана (1795 год). Это не могло не сказаться на изложении, которое зачастую грешит слишком «плотным» набором исторических, этнографических и экономических терминов и

собственных имен. Некоторая диспропорциональность учебника выразилась в том, что отдельные периоды (напр. эпохи Арташесидов и Аршакидов) выросли за счет других, более ранних и более поздних (эпоха Урарту и XVIII века). Сравнительно мало места уделено экономической и социальной истории Армении, а огромное количество сообщаемых фактов создает почти мозаичную пестроту, сильно усложняющую учебник. Сомнительны также отдельные термины: на всем протяжении учебника класс феодалов именуется «дворянами», к которым иной раз причисляются и князья, и храмовые жрецы (стр. 59). Термин «сельская община» в применении к эпохе упадка родового общества (стр. 38) не совсем понятен. Не отгечена роль ирригационного хозяйства. Описание быта палеолитического человека, устройства арабского халифата и т. п. излишни и могли бы иметь место в общих исторических курсах. Указанные недостатки, однако, несколько не снижают ценности всего учебника и огромного масштаба проделанной работы. Армянский народ — один из самых древних народов на территории СССР, и его величественная история, наполненная крупнейшими народными движениями и борьбой за независимость с империями ассирийской, персидской, македонской, римской, византийской, арабской, сельджуцкой, монгольской, османской и новоперсидской, представляет собой грандиозную захватывающую эпопею. На этом фоне особенно ярко выделяется многовековая история культурного вклада армян в человеческую цивилизацию, которой посвящены самые сильные страницы учебника. В книге есть четкая периодизация, она снабжена картами и превосходно подобран-

ными иллюстрациями. Все это делает труд Института истории Армянской академии наук большим вкладом в историографию народов СССР.

\* \* \*

**ПИОТРОВСКИЙ Б. Б.** История и культура Урарту. Ереван. Издательство Академии наук Армянской ССР. 1944. 364 стр. Цена 40 р.

Капитальная монография Б. Б. Пиотровского написана по тому же плану, что и его популярная, сжатая и очень ценная книга под названием «Урарту, древнейшее государство Закавказья», изданная в 1939 г. Гос. Эрмитажем как пособие к курсу истории СССР.

Большая работа начата автором, ленинградским археологом и историком, в условиях блокады 1941—1942 гг. и закончена в Ереване.

Монография «Урарту» дает сводку всего достоверного материала по истории и культуре Ванского царства и является крупнейшим трудом по истории одного из самых древних государственных образований на территории СССР (начало первого тысячелетия до н. э.).

Книга состоит из трех частей. «Первая содержит обзор литературы и источников и изложение истории Ванского царства, вторая дает очерки культуры Урарту, а третья рассматривает вопросы о связях скифов с Закавказьем и Передней Азией и о судьбах урартов после падения Ванского царства» (стр. XI). Пожалуй, для читателя неспециалиста третий раздел является наиболее интересным. Речь идет о племенных конгломератах дославянских племен, живших на территории Южной России, которых Н. Я. Марр считает предшественниками славян, находившимися на яфетической стадии развития.

Систематическая обработка малоизвестного археологического материала дала возможность Б. Б. Пиотровскому восстановить историю царства Урарту. Основным источником по истории Урарту являются клинописные надписи, которых не могли фонетически расшифровать ассириологи, работавшие на базе семитских языков.

Академик Н. Я. Марр разработал эту клинопись на основе кавказских языков, в свете яфетического языкознания и при этом решительно отверг делавшиеся ранее попытки понять структуру урартского языка, «исходя из какого-нибудь одного кавказского языка, и подошел к ванским надписям с нормами, общими для всех яфетических языков Кавказа» (стр. 10).

Автор рассматривает Ванское царство как союз племен Уруатри—Наири—Урарту и, проследив его политические, экономические и культурные судьбы, доводит историю царства до VII в. до н. э., когда оно прекратило свое существование под ударами кочевых племен, известных под условными собирательными именами каммеров и скифов (саков), издревле находившихся в общении с урартами. Племена, входившие в состав Урарту, были переднеазиатским субстратом, из которого впоследствии возникли кавказские народности. В частности, на основе союза племен, входивших в состав Урарту, выросло армянское государство (племена армен и хаик).

В книге дан по первоисточникам огромный археологический, палеографический и лингвистический материал, который позволил автору наиболее полно и точно реконструировать ис-

торию и структуру государства Урарту и вскрыть ряд ошибок, допущенных более ранними исследователями. Книга Б. Б. Пиотровского, несомненно, является ценнейшим вкладом в международную науку по истории переднеазиатских обществ.

\* \* \*

**ГАФУРОВ Б. и ПРОХОРОВ Н.** Таджики — народ в борьбе за свободу и независимость своей родины. Очерки из истории таджиков и Таджикистана. Сталинабад. Госиздат при СНК Тадж. ССР. 1944. 214 стр. Цена 10 р. (Институт истории, литературы и языка тадж. филиала Академии наук СССР.)

«Таджики имеют богатую историю», — отметил товарищ Сталин в своем приветствии, в связи с образованием Таджикистана. Среднеазиатские иранцы являются самыми древними, известными нам земледельцами Средней Азии среди народов, населяющих ее в настоящее время. Поэтому труд Б. Гафурова и Н. Прохорова — первый очерк истории таджикского народа на русском языке.

На страницах этой книги нашла себе место история Бактрии, Парфии, Хорезма, Мазераннахра история борьбы среднеазиатских народов за независимость против Кира, Александра Македонского, Чингиз-хана, китайцев, арабов, монголов и так далее, вплоть до борьбы с немецко-фашистскими ордями, то есть с VI в. до н. э., до 1941 г.

Большим достоинством книги является четкое выделение ее основной темы — борьбы таджиков и их предков за свой национальный и государственный суверенитет — от побочных тем, которые были свойственны старой русской академической литературе, трактовавшей историю «Туркестана» как единого «востоковедного» целого. Но в этом же и недостаток книги, ибо не в меру ограниченная тема сильно сузила в книге социально-экономической и историко-культурный материал — если не считать большого количества страниц, посвященных эпосу и песне. Основной задачей авторы поставили себе изложение фактов, касающихся истории народных войн и восстаний. Зачастую эти факты изложены в книге описательно и не дают конкретной картины истории народа в целом, что делает труд Гафурова и Прохорова в известной мере односторонним. Но надо учесть и большие трудности собирания еще недостаточно разработанного и весьма рассеянного археологического и палеографического, часто многоязычного, материала. Самые факты, основанные на изучении малодоступных документов, будучи добросовестно систематизированы, представляют большой интерес не столько для специалиста, сколько для массового русского читателя, который впервые получает их в сведемном виде, свободными и от узких традиций академического востоковедения и от экзотического беллетризования.

\* \* \*

**РЫКАЧЕВ Я. С.** Гангутское сражение. Историческая повесть. М. — Л. Военмориздат. 1944. 63 стр. Цена 1 р. 20 к.

Гангут — первая большая победа молодого русского флота. Этим сражением заканчивается его «азовский период». Занимается заря русского балтийского флота.

Книга Я. С. Рыкачева, названная автором исторической повестью, но в действительности являющаяся беллетризованным популярным военно-историческим очерком, дает добросовестно нарисованную картину тактики и стратегии этой схватки Петра с превосходящими силами одного из лучших флотов Европы. От отправления флота из Петербурга в мае 1714 г. до триумфального шествия победителей под аркой с надписью «Российский орел не мух ловит», автор ведет читателя через все этапы этой галерной кампании и крайней западной оконечности Финляндии. Книга дает некоторое представление о строительстве флота, о деятельности разведки и обрисовывает обстановку, в которой у швотбенанта (контр-адмирала) Петра Михайлова возникла неожиданная мысль бросить строительство «переволки» через Гангутский перешеек и, пользуясь штилем, который парализовал шведскую линейную эскадру, прорваться к Або бухально «под носом» у шведского адмирала Ватранга и напасть на эскадру Эреншильда, заметную в узком заливе Рилакс.

Весьма красочным языком описывает Я. С. Рыкачев перипетии этого беспримерного в истории абордажного сражения, в котором Петр

дрался рядом с солдатами-десантниками и командирами мелких галер. Выпукло даны в книге портреты сподвижников Петра: Апраксина, Злаевича, Наума Сеяновича, Волкова, Головина.

Политическую обстановку финляндской кампании 1714 г. и стратегическое значение гангутской победы, отдавшей в руки русских Аланд — ключ к берегам Швеции и ворота Стокгольма, — автор обрисовывает вскользь. Книга написана как беллетризованный очерк и далека от документации. Противник показан традиционно-самоуверенным. Моральная подавленность шведских командиров после Полтавы, оказавшая сильнейшее влияние на поведение адмиралов Ватранга, Лидлье и, в особенности, Таубе, автором не подчеркивается. Зато очень ярко показаны «младые матросы» и офицеры Петра, горящие наступательным духом и высоко несущие молодой «андреевский флаг» над водами Балтики, которая еще за несколько лет до Гангута считалась недоступной для «московских мужиков». Язык книги популярный, несколько шаблонный, но живой. Книга Я. С. Рыкачева восполняет пробел, существующий в массовой литературе по истории морских побед Петра I<sup>1</sup>.

## VII. ИСТОРИЯ НАУКИ и ТЕХНИКИ

Академик КОМАРОВ В. Л. Учение о виде у растений. Страница из истории биологии. М.—Л. Изд-во Академии наук СССР. 1944. 244 стр. Цена 10 р. 50 к.

Написанная на тему, на первый взгляд узкую, чисто специальную, книга академика В. Л. Комарова в действительности представляет собой интереснейшую страницу философии естествознания, ибо она посвящена осмыслению одной из основных его категорий.

Нас окружают различные животные и растения. Это знает каждый. Мы называем их: береза, дуб, ель, кошка, мышь, воробей. Может быть задан вопрос: а сколько же их всех? Это и есть вопрос о числе видов живого мира на земле.

Он казался легко разрешимым в додарвинские времена. «Мы столько считаем видов, сколько создало их вначале, бесконечное Существо», — говорил Ламней. Он насчитал их около 8000 для растений и еще меньше (4208) для животных. Дарвин раз навсегда устранил вопрос о сотворении видов. Виды — категория естественно-историческая; они возникают, становятся, существуют и превращаются, порождая все новые.

Поток новых фактов хлынул в науку. Сводки нашего века уже насчитывали до полутора миллионов видов животных, до трехсот тысяч растений. Иной раз раздробление казалось чрезмерным, осторожные призывали вернуться к более ограниченному числу «хороших» видов. Другие, не сумевшие подняться до диалектического представления о текущем, но в то же время реальном виде, объявили, что видов нет — это наша абстракция.

А виды тем не менее существуют. И понять, что они такое, необходимо, чтобы разобратся в многообразии живого мира.

Вот об этом и рассказывается в книге В. Л. Комарова. Первая часть ее посвящена крити-

ческому обзору выдвигавшихся в науку воззрений на проблему вида. Вторая, большая часть, — «факты и обобщения». Она начинается с рассмотрения исходного элемента жизни: особи. Элементарность этого понятия оказывается мнимой. Читатель убеждается в сложности биологического материала, относящегося к явлению особи, отдельной индивидуальности. Внимательно рассмотрена биологическая сущность видов в их реальном существовании — в окружающей среде, неживой и живой; судьбы расселяющихся видов; соотношение категории вида с низшими и высшими категориями.

Читатель как бы оказывается в лаборатории природы, где создаются новые формы жизни. Автор позволяет нам видеть этот самый интимный и самый поразительный творческий процесс. Не в образе засушенного растения из гербария, но в непрерывном движении предстает перед нами вид. Мы убеждены, что различные виды неравноценны: одни узки, закостенелы, другие — в бурном расцвете, постоянно порождают новые живые ветви и все новые хлопоты для систематиков, тщетно пытающихся уловить их своими «диагнозами».

Понятие вида наполняется всем богатством содержания живой жизни, оно становится диалектическим.

Книга академика Комарова, написанная прежде всего для специалистов, оказывается интересной не только для биологов, но для всех, интересующихся общим развитием науки о живом мире, который окружает всех нас и частью которого мы сами являемся.

<sup>1</sup> О книге Н. В. Новикова «Гангут», являющейся, в отличие от книги Я. С. Рыкачева, специальной работой по истории русского флота, в «Октябре» был дан отзыв (1944, № 11-12, стр. 213).

**ПОТЕБНЯ А. А.** Из записок по русской грамматике. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог. М.—Л. Издательство Академии Наук СССР. 1941. 320 стр. Цена 14 р. 50 к. (Академия Наук СССР, Институт языка и мышления имени Н. Я. Марра).

Выпуском IV тома «Из записок по русской грамматике», находившегося в рукописи пятьдесят лет после смерти автора, завершается растянувшееся почти на семьдесят лет (I том появился в печати в 1874 году) издание капитального труда знаменитого русского лингвиста.

Научная деятельность А. А. Потебни, оказавшая большое влияние на последующих ученых, характерна обостренным вниманием к основным теоретическим проблемам языка. Смелость исторического подхода, широка обобщений, большая научная проницательность сохраняют за исследованиями Потебни большое значение и в настоящее время. Ценны труды Потебни проходящей через них идей о неразрывной связи языка и мышления.

Среди трудов Потебни особое место занимает исследование «Из записок по русской грамматике», представляющее собой сокровищницу интереснейших лингвистических наблюдений и содержащее «открытие большой научной значимости: установление на основе огромного фактического материала двух ступеней в исто-

рии грамматической структуры славянских языков».

Содержание IV тома работ Потебни составляют разделы, посвященные глаголу, местоимению, числительному и предлогу, причем, как по объему, так и по значению, центральное место книги занимает глагол. Наибольший интерес представляют главы о происхождении и развитии видов в славянских языках, о наклонениях, временах и залогах, а также помещаемая в приложений небольшая заметка о словорасположении в сочетании аппозитивном.

Книга Потебни тщательно подготовлена к печати Институтом языка и мышления им. Н. Я. Марра. Редактору издания А. В. Ветухову, М. Д. Мальцеву и Ф. П. Филину пришлось проделать большую и трудную работу по установлению последовательности в расположении материала и разбивке отдельных глав на параграфы, т. к. IV том труда Потебни не был подготовлен автором к печати в окончательном виде. К книге приложены тщательно составленные М. Д. Мальцевым указатели — именной и предметный, а также список использованной литературы и сокращений.

Выход в свет IV тома работ Потебни, представляет большой интерес: в первую очередь для специалистов, а затем и для более широких кругов лиц, интересующихся родным языком. Это — большое культурное событие.

## III. ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Адмирал флота ИСАКОВ И. С.** Военно-морской флот СССР в отечественной войне. М.—Л. Военмориздат. 1944. 142 стр. Цена 4 р.

Книга адмирала флота И. С. Исакова — расширенное издание его работы, предварительно опубликованной в журнале «Морской сборник», 1944, №№ 1—4, представляет собой первый в советской литературе очерк действий Военно-морского флота в отечественной войне.

Дав общий обзор развития Отечественной войны на море, автор переходит к описанию действий нашего флота на Балтике, на Северном и на Черноморском театрах военных действий. Последние три главы книги посвящены описанию работ наших речных и озерных флотилий, гражданского и промыслового флотов, как резерва и помощника военного флота.

Описание участия и роли нашего Военно-морского флота в отечественной войне автор заканчивает маем 1944 года (книга подписана к печати 28 июня 1944 года), то есть разгромом немцев в Крыму и изгнанием их из Одессы и портов Днепровско-Бугского лимана.

Особо следует отметить четкий, ясный и выразительный язык книги. Наличие восьми хорошо воспроизведенных рисунков-схем облегчает читателям усвоение материала.

Прекрасная книга адмирала флота И. С. Исакова нуждается в переиздании с учетом позднейших операций нашего флота.

**Генерал-майор ТАЛЕНСКИЙ Н. А.** Первая мировая война, 1914—1918 гг.). (Боевые действия на суше и на море.) М. Госполитиздат. 1944. 125 стр. Цена 2 р. 50 к.

Книга генерал-майора Н. А. Таленского представляет собой сжатый очерк операций первой мировой войны. В предисловии кратко говорится о подготовке и развязывании войны. Планы сторон, мобилизация, стратегическое развертывание вооруженных сил освещены в первой главе. Главы II—V описывают кампании 1914, 1915, 1916 и 1917 годов. В шестой главе автор рассказывает о военном поражении и капитуляции германской коалиции. Наконец в послесловии освещены военные итоги и уроки войны.

Уделяя внимание всем фронтам войны, шедшей, кроме четырех европейских театров, еще и в Африке и Азии, а, кроме того, на морях всей планеты, автор правильно подчеркивает особо важную роль России в победе союзников над Германией.

В 1914 году «несмотря на неудачу, вторжение русских сыграло исключительно важную роль в ходе кампании 1914 г... Победа Антанты на западе в 1914 г. была оплачена кровью русских солдат».

В 1915 году «нерешительный, ограниченный характер наступательных операций Антанты упрочил убеждение германского командования

в незыблемости своего западного фронта, я оно последовательно перебрасывает значительные силы на восточный (русский) фронт, увеличивая там свои силы почти вдвое... Англо-французы закончили кампанию 1915 г. с положительными результатами. Они использовали предоставленную им передышку, накопили необходимые силы и средства для более решительных действий в последующие годы войны».

Справедливо отмечает автор промадную роль Брусиловского прорыва в истории войны. «Брусиловский прорыв в ходе первой мировой войны сыграл решающее значение. Он положил начало перелому в ходе войны. Вместе с наступлением англо-французских войск на Соме он вырвал инициативу из рук немцев. Немецкое командование было вынуждено с конца 1916 г. перейти к стратегической обороне на сухопутных фронтах. Брусиловский прорыв спас от разгрома итальянцев и облегчил положение французов у Вердена... Таким образом была создана крупная стратегическая предпосылка для решающего поражения австро-германской коалиции».

Наконец в 1918 году, во время решающих боев на Западе, немецкое командование вынуждено было держать на Востоке семьдесят дивизий в марте и до пятидесяти летом.

Книга Н. А. Таленского представляет большую ценность. Она снабжена восемнадцатью схемами, значительно помогающими читателю следить за изложением хода операций. Правильное освещение отдельных этапов войны и четкие выводы автора дают возможность составить верную общую картину первой мировой войны. Однако громадный фактический материал, втиснутый в узкие рамки восьми печатных листов, приводит к конспективности и сухости изложения. Книжка Н. А. Таленского при переиздании должна быть расширена, что повысит ее значение для широких читательских кругов.

\* \* \*

**ТОХАЙ Фердинанд. Секретный корпус. Повесть о разведке на всех фронтах. Сокращенный перевод с английского Т. М. Литвиновой. М. Воениздат. 1944. 123 стр. Цена 2 р. 50 к.**

Автор — бывший работник английской разведки — приводит обширный и разнообразный материал из практики работы разведок различных стран во время первой мировой войны. Книга написана в 1920 году и в первый же год выдержала в Англии три издания.

— Это рассказ о войне внутри войны, — говорит автор, — о сражении, скрытом от дневного света, о затаенной безжалостной «битве умов».

В главе «В больших городах» Тохай рассказывает о том, какого огромного напряжения сил требовала борьба с германским шпионажем. В частности, автор сообщает об организации системы наблюдения за подозрительными лицами и за населением городов вообще. Обычно город делился на определенное число контрольных районов, каждый из которых находился под наблюдением старшего офицера разведки. Этот офицер имел в своем распоряжении отряд обученных агентов, кото-

рые в свою очередь руководили «кулачками», вербовавшимися из жителей данного района. Основной принцип подобного наблюдения заключался в том, чтобы контролирующие органы знали каждого обитателя и каждый посторонний человек был бы замечен.

Автор рассказывает, между прочим, об опыте британской контрразведки в области борьбы с немецким шпионажем на территории, освобожденной от немецких войск. Английская и французская агентуры одновременно выявили многих немецких шпионов из числа местных жителей, и по мере продвижения союзников вперед эти вражеские шпионы немедленно арестовывались. В ряде городов были арестованы все женщины, которые сожительствовали с немцами, ибо в каждой из них легко было заподозрить немецкую шпионку. Союзной контрразведке при этом оказало огромную помощь местное население, в основной массе оставшееся верным родине.

Одна из шести глав книги — «Средства связи» — посвящена борьбе британской контрразведки против способов связи германских шпионов. В последней главе, названной автором «Битва умов», приводятся несколько увлекательных эпизодов из области разведки на поле боя.

Книге предпослано содержательное предисловие И. Ермашова.

\* \* \*

**ОРЛОВ Владимир. Подземная гроза. Под общей редакцией генерал-майора М. Мясникова. Рисунки К. Арцеулова и М. Германского. М. Детгиз. 1944. 79 стр. Цена 3 р. 50 к.**

В книге В. Орлова рассказывается об одном из самых распространенных в современной войне видов оружия — минах.

Первый раздел ее — «Сила миллиардов» — знакомит с принципом взрыва и устанавливает его место в ряду различных видов горения, разложения вещества. В разделе «Подземная война» дан краткий очерк развития подземной войны, начиная с древнейших времен, когда пользовались лишь обычными подкопами и подземными ходами при осаде крепостей. Последующий период, начавшийся с открытия пороха, иллюстрируется примерами из русской истории (взятие Казани Иваном Грозным в 1552 г.; оборона Севастополя в 1854—1855 гг.), из истории первой мировой войны и великой отечественной войны (Сталинградская битва).

В разделе «Взрыв в упряжке» объясняются различные способы взрыва; следующий за ним и самый большой раздел «Незримая преграда» содержит характеристику наиболее распространенных в настоящее время видов мин и способов минирования. Работе саперов при разминировании местности, ознакомлению с принципом устройства миноискателей посвящен раздел «Волшебная лоза».

В заключительном разделе «Смертельный удар» рассказывается об искусстве партизана-подорывника, о наиболее эффективных способах размещения взрывчатого вещества при разрушении важных военных объектов в тылу врага.

Книжка снабжена большим количеством рисунков и схематических чертежей.

# Систематический указатель содержания журнала „Октябрь“ за 1944 год

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ

	№№	Стр.		№№	Стр.
Василевская Варда.— Просто любовь . . . . .	7—8	4	Слезкин Юрий.— Бруслов . . . . .	7—8	56
Величко.— Реквием . . . . .	3—4	139	Соболев Леонид.— Дорогами побед . . . . .	5—6	4
Гладков.— Клятва (Земски фрезеровщика Николая Шаронова) . . . . .	1—2	3	Соболев Леонид, Михальцева Ольга,— Родина, корабль, командир . . . . .	11—12	172
Ильенков.— Площадь цветов . . . . .	3—4	64	Толстой С.— Воспоминания об А. П. Чехове . . . . .	3—4	102
Каверин В.— Два камигана (роман), тсм второй . . . . .	5—6	32	Толстой А.— Русский характер (Из рассказов Ивана Сударева) . . . . .	7—8	144
	1—2	44	Тренев К. А.— Полководец . . . . .	3—4	98
	7—8	102	Тренев Виталий.— Поединок . . . . .	11—12	46
	11—12	3	Федоров И. В.— Письма А. П. Чехова . . . . .	3—4	91
Письма А. П. Чехова . . . . .	7—8	131	Чаковский А.— Это было в Ленинграде . . . . .	7—8	131
Полевой Б.— Одна из встреч . . . . .	9	6	Чехов А. П.— Письма А. И. Курприну, А. М. Федорову, К. М. Фофанову, Н. М. Ежову . . . . .	9	6
Полевой Б.— Переправа . . . . .	3—4	142	Шишков Вяч.— Емельян Пугачев . . . . .	7—8	131
Полевой Б.— От Белгорода до Карпат . . . . .	3—4	143		1—2	118
Попов П.— Письма А. П. Чехова . . . . .	11—12	136		5—6	94
Попов Иван.— Жар-птица . . . . .	7—8	131		9	63
Сергеев-Ценский С. Н.— Вице-адмирал Нахимов . . . . .	10	3		11—12	78
Симонов К.— Два письма из Гарнополя . . . . .	3—4	5	Штепенко А.— Особое задание . . . . .	5—6	57
	3—4	132			

## ПОЭЗИЯ

Абашидзе Григор.— Победоносный Кавказ . . . . .	1—2	35	Лисин Александр.— Городок . . . . .	7—8	147
Бауков И.— Песнь об Отраде . . . . .	11—12	37	Межелайтис Эдуардас.— «Дремлет лес литовский» . . . . .	10	58
Берггольц О.— Из цикла «Возвращение» . . . . .			Рыленков Николай.— Лето . . . . .	9	1
Браун Николай.— «Не опомнишься — войдет...» . . . . .	3—4	63	Рыльский Максим.— Ленин . . . . .	1—2	1
Возняк А.— После дождя . . . . .	7—8	147	Рыльский Максим.— Праздник . . . . .	10	1
Вурган Самед.— Победа . . . . .	7—8	146	Сельвинский Илья.— Баллада о Лааре . . . . .	7—8	131
Зарьян Н.— Зашестьме Кира; Отчий дом . . . . .	9	107	Софронов Анатолий.— Случай с Саввой . . . . .	3—4	88
Исаковский М.— Рассказ про Степана и про смерть . . . . .	1—2	116	Софронов Анатолий.— На кирпичном заводе; Полюнок; «Как в первый день войны над степью знойной...» . . . . .	10	99
Исаковский М.— Возвращение; Лучше нету того цветку; Ласточка . . . . .	7—8	54	Сурков А.— Сестра нашей славы — весна; Рассказ гвардейца . . . . .	3—4	2
Исаковский М.— Слово об отчизне; Две лирические песни . . . . .	11—12	1	Сурков А.— За Днепром; Современник; Застольная песня . . . . .	3—4	3
Комаров Петр.— На краю России; Хинганский родник; Топтугары . . . . .	5—6	55	Сурков А.— Четвертое лето . . . . .	9	4
Кулешов Аркадий.— Комсомольский билет . . . . .	1—2	117	Табидзе Галактион.— Привет герою . . . . .	3—4	98
Кулешов Аркадий.— Освобождение . . . . .	7—8	100	Чиковани Симон.— Песнь о Давиде Гурамишвили . . . . .	5—6	89

	№№	Стр.		№№	Стр.
Шубин Павел.— За Новгородом . . . . .	1—2	34	Щипачев Степан.— Домик в Шушенском . . . . .	7—8	1
Шубин Павел.— Благодарность вождя; Карелия . . . . .	5—6	1	Яшин Александр.— В Крыму . . . . .	3—4	1
Шубин Павел.— На Вермане; Усамого моря; Верность; Полмига . . . . .	5—6	2	Яшин Александр.— Севастополь; После боя; Очень много солнечного света . . . . .	5—6	144
Щипачев Степан.— Передний край . . . . .	1—2	43			

### ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Александр В.— По областным изданиям . . . . .	9	128	Леушева С.— Сталинское племя . . . . .	1—2	155
Берггольц Ольга.— Ленинградский опыт . . . . .	1—2	150	Логинов А.— Молодое пополнение рабочего класса . . . . .	10	111
Богословский Н.— Плоды невежества . . . . .	7—8	171	Лундберг Евг.— Перекличка в веках . . . . .	5—6	173
Броз-Тито Иосип.— Борьба народов поработенной Югославии . . . . .	3—4	146	Морозов М.— Переводы С. Маршак . . . . .	11—12	210
Брун В.— Образ хирурга . . . . .	5—6	169	Морозов М.— Чехов в оценке английской и американской критики . . . . .	7—8	162
Герасимов Е.— Герои фронта о героях романа . . . . .	3—4	167	Мотылева Т.— Английские и американские романы о войне . . . . .	1—2	159
Дитякин В. Д.— Болгарская народная поэзия . . . . .	11—12	205	Мотылева Т.— Джон Б. Пристли и война . . . . .	10	128
Замятин Н.— Размах наступательных операций Красной Армии . . . . .	11—12	184	Наркевич А.— Характеры и поступки . . . . .	3—4	173
Заглавский Д.— Утопия Чехова . . . . .	7—8	156	Нечасек Франтишек.— Чешская литература и Россия . . . . .	9	108
Ибаррури Долорес.— Испанские пособия гитлеровского разбоя . . . . .	7—8	148	Перцов В.— Писатель и его герой в дни войны . . . . .	5—6	152
Исаковский М.— О советской песне . . . . .	9	115	Перцов В.— Повесть о Сталинграде . . . . .	9	121
Калитин Н.— Знамя бригады . . . . .	3—4	170	Рождественская Н.— Новое издание «Малахитовой шкатулки» . . . . .	1—2	153
Книжные новинки . . . . .	3—4	184	Розенталь М.— О героизме и поэзии труда . . . . .	5—6	146
	5—6	179	Розенталь М.— Книжка о Беллинском . . . . .	9	126
	7—8	174	Рубакин Александр.— Франция заговорила . . . . .	3—4	157
	10	133	Сергиевский И.— Ленинградский год . . . . .	3—4	160
	11—12	214	Сидоров А.— «Порт-Артур» . . . . .	11—12	196
Кружков В.— Основные черты классической русской философии . . . . .	10	100	Стамбулов В.— Счет к автору . . . . .	7—8	168
Крымова Н.— 66 писем из Осло . . . . .	5—6	177			
Лаврецкий А.— Поэт всеславянской демократии . . . . .	3—4	177			

## Содержание

	Стр.
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Сын полка, <i>повесть</i> . . . . .	1
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Аэростат, <i>стихи</i> . . . . .	69
Ф. ПАНФЕРОВ — Война за мир, <i>роман</i> . . . . .	70
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Строки любви, <i>стихи</i> . . . . .	112
ВАС. ГРОССМАН — Анюта, <i>рассказ</i> . . . . .	114
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Восход солнца, <i>Встреча, стихи</i> . . . . .	124
АНВАР АДЖИЕВ — «Родная! В разлуке—забыться б сном...», <i>стихи</i> . . . . .	126

### ПУБЛИЦИСТИКА

В. КОЛАРОВ — Болгарский народ в борьбе за новую Болгарию . . . . .	127
--	-----

### ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. КРИТИКА

М. НЕЧКИНА — Рождение «Горя от ума» . . . . .	141
М. РОЗЕНТАЛЬ — Об идейности и тенденциозности искусства . . . . .	152
В. АЛЕКСАНДРОВ — По областным изданиям . . . . .	165
С. ДУРЫЛИН — Н. Д. Телешов и его «Записки» . . . . .	165
Книжные новинки . . . . .	167
Указатель к журналу «Октябрь» за 1944 год . . . . .	178

---

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРО,  
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ,  
М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь).

---

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский, 2/10, тел. К-3-44-22.

---

20-й год издания. Тираж 25 000 экз. Подписано к печати 5/III—45 г,  
А 13050. Печ. л. 11,25. Уч.-авт. л. 22,5. В печ. л. 80 500 экз. Ц. 10 руб. Зак. 133.

---

Типография газеты «Правда» имени Сталина. Москва, ул. «Правды», 24.